



Елена  
Чижова

Премия  
«Русский Букер»

# Время женщин

Лучший роман  
на русском языке 2009

Проза: женский род

Елена  
ЧИЖОВА

Время  
женщин

Романы

АСТ  
Астрель  
Москва

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Ч59

*Дизайн переплета – Василий Половецк  
(дизайн-студия «Графит»)*

*В оформлении переплета использован фрагмент  
картины Пауля Модерзон-Беккер «Девочка со скрещенными руками»  
Фото автора – Наталья Чайка*

**Чижова, Е.С.**

Ч59      **Время женщин: романы / Елена Чижова. — М.: АСТ :  
Астрель, 2011. — 348, [4] с.**

ISBN 978-5-17-065697-4 (ООО «Издательство АСТ»)  
ISBN 978-5-271-26989-9 (ООО «Издательство Астрель»)

Елена Чижова – коренная петербурженка, автор пяти романов, последний – «Время женщин» – был удостоен премии «РУССКИЙ БУКЕР».

Судьба главной героини романа – жесткий парафраз на тему народного фильма «Москва слезам не верит». Тихую лимитчицу Антонину соблазняет питерский «стиляга», она рождает от него дочь и вскоре умирает, доверив девочку трем питерским старухам «из бывших», соседкам по коммунальной квартире, – Ариадне, Гликерии и Евдокии. О них, о «той» жизни – хрупкой, ушедшей, но удивительно настоящей – и ведет рассказ выросшая дочь героини, художница...

В книгу также вошел роман «Крошки Цахес».

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Подписано в печать с готовых диапозитивов заказчика 18.10.10.  
Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага офсетная. Печать высокая с ФПФ.  
Усл. печ. л. 18,48. Доп. тираж 7000 экз. Заказ 1741.

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93. том 2; 953000 – книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

ISBN 978-5-17-065697-4 (ООО «Издательство АСТ»)  
ISBN 978-5-271-26989-9 (ООО «Издательство Астрель»)  
ISBN 978-985-16-8429-4 (ООО «Харвест»)

© Чижова Е.С.  
© ООО «Издательство Астрель»

# Время женщин

*Мое первое воспоминание: снег... Ворота, тощая белая лошадь. Мы с бабушками бредем за телегой, а лошадь большая, только почему-то грязная. А еще оглобли – длинные, волокутся по снегу. В телеге что-то темное. Бабушки говорят: гроб. Это слово я знаю, но все равно удивляюсь, ведь гроб должен быть стеклянный. Тогда бы все увидели, что мама спит, но скоро проснется. Я это знаю, только не могу рассказать...*

*В детстве я не умела разговаривать. Мама водила по врачам, показывала разным специалистам, но все без толку: причины так и не нашли. Лет до семи я молчала, а потом заговорила, хоть сама этого не помню. Бабушки тоже не запомнили – даже самых первых слов. Конечно, я их спрашивала, а они отвечали, что я всегда все понимала и рисовала картинки – вот им и казалось, будто я с ними разговариваю. Привыкли отвечать за меня. Сами спросят, сами и ответят.. Раньше мои картинки лежали в коробке. Жаль, что они не сохранились: тогда я бы все вспомнила. А так не помню. Даже маминого лица.*

*Бабушка Гликерия говорила, что у нас была фотография, маленькая, на паспорт, а потом ее потеряли, когда заказывали портрет. Железный, для кладбища. Он тоже*

*пропал. Может быть, отчим так и не собрался съездить, а Зинаида выбросила — как и мои картинки.*

*Я еще долго не любила зиму: тревожилась, когда падал снег. Думала о маме... Мне казалось, ей очень холодно — в летнем платье... Потом это прошло, но тревога осталась, словно в детстве, которое стерлось из памяти, было что-то страшное, о чем мне уже не узнать...*

# I

## Мать

Лук крошу, а сама киваю: старухам виднее — пора так пора. А чего скажешь? Строгие. Где уж мне против них?..

Прежде-то нажилась в общежитии, в тесноте, да не в обиде — комната на восемь коек. А нынче — вольно... Спасибо месткомовским. Зоя Ивановна так и сказала: «Чего уж теперь... Разве дите виновато? Родила так родила — обратно не пихнешь. У нас ведь как? Мать всему голова: и напоит, и накормит. Ну и что — без мужа? Нынче и таким помощь и почет. У Сытина, мастера с шестого, прибавление: двое у них теперь. Значит, отдельная двухкомнатная полагается. Вот и вселяйся на их место».

Деять с половиной метров — сама себе барыня. Вот бы мать-покойница хоть одним глазком...

Им-то чего: «Не ты первая, не ты последняя. И помни: ребеночек наш, заводской. Значит, общий. Для власти падчериц нету. Так что не сомневайся: ясли, сад, подрастет — лагерь. Да и ты, небось, не одна — в коллективе. А вот таишься зря. Не ветром же надуло. Таких кобелей, да мигом в ежовые рукавицы!»

Смолчала. Больше не спрашивали.

Думала, хорошо, что город. Вон их — ходят по улицам. Тыщи и тыщи.

Не то что деревня. Там бы прознали — все мужики наперечет...

Если б с завода, может бы, и открылась... Зоя Ивановна больно ласкова. А так — чего скажешь? Только имя и знаю. Ни адреса, ни фамилии...

Евдокия бровью повела:

— Масло постное кончается.

Гляжу, куда там... Кончилось. На самом дне остатки. Пьют они его, что ли? На той неделе брала.

— А лук-то?.. — оглядываюсь. — Обжарить ведь надо.

— Так ты, — учит, — на маргарине обжарь.

Сам красивый был, статный. А не поймешь его. Выражался чудно — по-городскому.

«Вы, — обращается, — девушка, давно ждете?» Кивнула, а сама молчу: неловко с незнакомым. Вроде и вежливый, а все равно. Постоял-постоял, снова спрашивает: «Это вы к Деду Морозу собрались?»

«Как это?» — даже удивилась.

«А мешок у вас, — кивает, — вместительный. Для подарков?» Смешно мне стало. «Какие, — улыбаюсь, — подарки! На рынок, за картошкой». Тут он брови поднял: «На рынок? — переспрашивает. — С мешком?»

«Так, — объясняю ему, — воскресенье. На всю комнату взять». — «На комнату? — головой качает. — А как же — на прихожую? Голодной останется? Или комната у вас добрая, поделится со всеми?..»

Тыльной стороной смахнула луковые слезки. Улыбнулась тайком.

Мешаю, мешаю... Все ж таки плохо на маргарине. Брызгает во все стороны. Руку всю ошпарила. Евдокия и тут наставляет:

— Мылом хозяйственным помажь.



Постоял-постоял, к фонарю пошел. А ноги длинные, как у журавля. Ходит, притопывает. На часы глянул: «И сколько ж нам ждать?» Терпения у него нету, замерз, видно. И ботинки тоненькие, на рыбьем меху. «Да скоро теперь, — утешаю. — Я вон давно стою...»

«Не-ет. Гиблое это дело, — оглядывается. — Стоим-стоим, а народу никого». — «Так спят же». — «Спят? — переспрашивает. — Правильно. Вот и мне бы так, дураку...»

Да уж, думаю. И лицо какое-то мятое. Видать, гуляли всю ночь. А перегаром не несет. Наши мужики как с вечера выпьют, прям до обеда перегар.

«А вы, — с духом собралась, — рано-то... Тоже, видать, по делу?» — «А как же... — глаз прищурил. — Проснулся и — на рынок. За картошкой». — «Ой!» — обрадовалась. А он оглядел меня и говорит: «Удивляюсь я, девушка. Вы что ж это, в Америке учились?»

«Почему, — напугалась, — в Америке? В деревне. Малые Половцы». Брови свел: «В нашей, — уточняет, — в советской? А главного не помните: куда коллектив, туда и я».

«Какой коллектив?» — совсем сбилась. «А мы с вами? — меется. — Граждане, собравшиеся на остановке... В сложившихся обстоятельствах предлагаю взять такси...»

В гости к себе привел. Квартира большая, просторная.

«А где же все?» — спрашиваю. «А все, — говорит, — на даче. В смысле, предки».

Как же это, думаю, на даче? Зима ведь...

«А где же, — оглядываюсь, — соседи?» — «Увы, — руками развел. — Этого добра не держим. Живем, как при коммунизме».

Зашла. И правда. Богато живут. Стол письменный, книжки по стенкам расставлены. Над диваном мужик бородатый. Кофта на нем вязаная. Висит в рамке. «А это кто ж?» —

«Да, — рукой махнул, — есть тут один». Может, догадываюсь, тоже из предков. Под бородой разве поймешь...

Посидели, кофе сварил. Чашки тонкие, белые, прямо пить страшно. Не дай бог ручка отломится. «Сахар, — подвигает, — клади». Глотнула, прямо сморщилась. Две ложечки положила, а все равно горько.

«Черный кофе, — говорит, — на любителя. Распробовать надо. А ты не горюй, привыкнешь». Глоточек отпил, отставил. Сам-то, видать, не больно привык...

И вина ведь не пили, а я будто пьяная. Голос его слушаю. Не знаю, как и случилось... Видно, затмение на меня нашло...

Ящик дернула, нащупала терку. Теперь морковину потереть... Лук шкварчит, шкварчит... Выключила конфорку. А рука-то ноет. Воду отвернула — сунула под кран...

На неделе в кино позвал. А я и рада. Девкам нашим завидовала: парочками гуляют. «Ко мне, — объясняет, — нельзя. Предки с дачи примчались. Наслушались радио». Сам хмурый какой-то.

Приходим, а там комедия. «Карнавальная ночь».

«Вот хорошо, — говорю. — Нашим всем понравилось». Пожал плечом.

Из кино выходим. Я-то радуюсь, а он — туча тучей. «Что, — удивилась, — не понравилось? А мне — прямо очень... Вот нам бы так... Хорошая у них жизнь, как в сказке».

«Кончились сказки, — усмехается. — Про Венгрию слышала?..» — «Про какую Венгрию? По телевизору, что ли? Так знаю. На политинформации объясняли: враждебные элементы... Против нас чего-то надумали. И чего им там не живется?»

Гляжу, а у него рот дернулся — как плетью ожгло. Глаза мутные — не мертвые, не живые. Будто рыбы. Рукой махнул, пошел...

Побежать за ним?.. А сама стою. Так и стояла, пока не скрылся...

— Ой, забыла! Я ж вам — постного сахарку.

Это они любят. Цветной, самодельный. Распустишь с вареньем, постоит, схватится — вроде карамели. Ножом поддела. Пусть клюют.

Так-то всегда с колотым. Не дай бог песок подать. Щипчики маленькие, блестящие. Старинные. Теперь таких нету. Колют звонко, меленько. Возьмут кусочек и — в рот. Прихлебнут и сосут. Раньше думала, жалеют. Что ж, на сахар не зарабатую? Нет, отвечают, так вкуснее. И девку, поди ж ты, приучили. Сахарницу придвинешь — отодвигает...

Въезжала, девки стращали: «Как еще уживешься, с соседями!» В общежитии-то свои. А тут — чужая, деревенская, с дитем. Поди, говорят, с женой Сытинской посоветуйся: может, чего дельное скажет.

Нашла ее. «Ты, — говорит, — старух не бойся. Главное дело, поставь себя: пусть не думают, что хозяйки. В кухне мое место займешь — я хорошее отбила, у окна. А так, если что, возьми да прикрикни: по углам и расползутся. Жалко, мужика у тебя нету — моего-то боялись...»

Въехала. Ничего, тихие старухи. А все равно боязно. Сытина-то баба здоровая, поперек себя шире. Гаркнет, хоть святых выноси.

Первое время тишком старалась. Утром в одеялко закрутишь, коляска под лестницей — на замке. Замок тяжелый, на цепочке. Коляску завод подарил, замок сама купила — в хозяйственном. Вниз — бегом, замок отопрешь, под матрасик на дно засунешь и наверх — за ребенком. Погрузились и — метель, не метель — в ясли. Бросишь нянкам — и на работу. Ясли свои, заводские. Все одно — душа болит. Бывало, надо во вторую, мастер попросит. К ночи приходишь — нянечка де-

журная. Разбудит, замотает, принесет. Все бы ничего — хворать стала. Зоя Ивановна утешала: «Все дети болеют, и твоя отболеет».

Ясли на балансе — завод персоналу доплачивает. Да и мамки к праздникам носят — кто конфеток, кто чулки. Носить-то носила, а как спросишь? Грудничков много, а нянька одна. То мокрая наорется, то животик схватит. Умаялась с больничного на больничный. И выписывали, конечно, по среднему: разве сравнишь, когда с выработки.

Сперва ничего. Температура подымется, лекарства накапаешь. День-другой, и спадает. Потом уж судороги начались. Посинеет, закатится вся. Глаза мутные, белые. Всё, сердце замрет, кончается. Решилась в деревню отдать. Мать еще жива была. Тут старухи и явились. Легли костями.

У самих — никого. Мужья-дети сгнули, поумирали. И внуков нету. Иди, говорят, работай. Неужто не вырастим вторым?

Так и повелось: сама на работу, с работы — по магазинам, там отстоять, тут отстоять, и дома вроде прислуги. Постирать на всех, убрать, стоговить. Пенсии у них — слезы. Свои приходится докладывать. Зато дите как принцесса. Почитай, три няньки на одну — и присмотрена, и причесана. Гуляют, книжки читают. Учат, кому сказать, по-французски.

Девка умная — одно слово, городская. Картинки всё рисует. Буквам в четыре года выучилась. Понимает все. Только не говорит. Пять лет, шестой, а все молчком.

Так ведь сама и виновата. Молчала до последнего, пока живот не полез. Беременных-то у нас переводят. Принесешь с консультации справку, заберут из вредного. Кого в уборщицы поставят, кого на склад. Мужним — что? Они в своем праве. А тут — как признаешься? Стыд...

Раньше, до указа — ни-ни. Не убереглась — рожай. Да девок наших разве удержишь — чуть что, тайно избавлялись. Одна, говорили, прямо заладила. Мужики смеялись: вот паразитка, цельную бригаду извела. А ей хоть бы что — отле-

жится и опять за свое. А две, рассказывали, померли. Вроде заражение крови. Указ-то вышел — теперь пожалуйста: ходи хоть каждый год. Страшно, конечно: по живому режут. Да делать нечего — решилась.

В больницу пришла, а доктор: «Поздно. Срок большой. Теперь рожай».

Таблеток в аптеке купила. Выпью, думаю, может, скину. Неделю пила. Куда там...

Три года исполнилось, повела в поликлинику. Докторша рот смотрела, картинки на столе раскладывала. Так, говорит, все нормально. Слышит. Понимает. Это у нее задержка развития. Ждать надо — может, заговорит.

Сказала, профессор есть в Москве. Ехать, снова деньги. А где ж их взять, думаю? И так от зарплаты до аванса...

По первости плакала все: ох, вырастет уродом... Ни в школу, ни в лагерь. А главное, без семьи. Кто ее замуж возьмет — немую? Век прокукует пустоцветом. Разве что немного найдет, себе под стать.

Старухи, спасибо им, утешали. На все божья воля. Придет время, заговорит. А бывает, идешь по улице. Кругом дети чужие — разговорчивые. Сердце кровью обольется. Отвернешься, слезы сглотнешь.

Старухи наставляют: там, на работе-то — молчи. Спросят, отвечай: хорошо все. У людей языки длинные, дурные. Все беды от языков. В глаза посочувствуют, а меж собой, кто их знает? Ославят. Оговорят.

— Щи кислые будете?

Будут. Суп полезно. Вчера хороший кусочек взяла — в гастрономе, на площади. Грудинка. Это они любят, с жирком. А то еще с косточкой. Хорошо, когда мозговая. «Мозги, — велят, — ребенку выбей. Мы уж чего...»

— В тазах у меня... Там, в углу. Бельишко замочено. Теперь уж вечером постираю, после смены.

Про старух ведь так и не знают. Сказала: мать выписала из деревни, она и смотрит. Зоя Ивановна тоже спрашивала. Нет, говорю, дома не болеет. А она: пока ясельная — ничего, подрастет, в садик надо — в коллектив. Дескать, в школу пойдет, трудно будет. С непривычки. Подумала-подумала, может, и вправду с детьми-то свободнее. Разыграется, разговорится. Старухи не дали. Пусть, говорят, дома. Успеет намучиться. Теперь вот новое удумали: в театр.

На елку, что ли, спрашиваю? Так я взяла. Билетики в цеху раздавали, всем детным. Вынула, показала им. Сбоку талончик на подарок: Дед Мороз конфетки выдает, сласти всякие, вафли. Мороз Морозом, а завод, конечно, доплачивает. В цеху говорили, хороший. И шоколадка вложена. Мы-то не покупаем. И понятия такого не имеет. Когда батончиков соевых, когда карамелек...

Поглядели: нет. За подарком сама сходишь. А она не пойдет. Ей в другой — в Мариинский. И билета не надо — так пропустят. Там у них товарка знакомая. Вместе в церковь ходят. И проведет, и посадит, и присмотрит. Тоже одинокая: ни детей, ни внуков.

Костюмчик купить велели: шерстяной, китайский. Кофточка на пуговицах, рейтузики и шапка. Все дети, говорят, носят. Дорогой, поди, рублей шесть. И ленты в косы. Шелковые, под цвет.

Может, капроновых, спрашиваю. Нет, говорят, нельзя. От капронов концы секутся. Дома-то с вязочками ходит. Вязочки мягонькие. Бабки из старых тряпок рвут.

\* \* \*

К раннему чаю собирались на кухне. Тут, пока дите не проснулось, решали все важное — строили планы. День открывался затемно, как долгий век. Дневное время, дальняя

дорога, катилось с оглядкой на полосатые версты — раз навсегда.

В девять — встать, одеться, умыться. В десять сказка по радио. В два часа — обед. После обеда тихий час: спи, не спи, а полежать надо.

Меж верстами, в зависимости от погоды, занимались делами. Важнейшее — прогулка. Тут время не суетилось: подчинялось годовому кругу — по-деревенски.

В скверик у Львиного мостика ходили по весне. Весной в садах слякотно — закрывают на просушку. К Никольскому — осенью: под дубами, у ограды, полно желудей. В октябре облетали клены. Ходишь, шуршишь листиками... К ноябрьским — первый снег.

Зимой — тоже к Николе, или в Солдатский садик. Горка высоко-окая... Дети в очередь съезжают — кто так, кто на санках. Санки-то есть. Старые, хорошие. Да свою-то не больно пускали. И гулять приучились в сторонке, подальше от людей. С чужими детьми — беда: «Ой, а девочка ваша что — глухонемая?» Летом свободнее — кто в деревню, кто по лагерям.

Тут, за столом, едва получив ребенка на руки, пришли к согласию: первым долгом — покрестить. Тайком, не докладываясь матери. В этих делах мать — сторона. Слава богу, в Никольском звонарь знакомый. Сам глухой, а все понимает. Согласился переговорить с батюшкой, позвать на дом.

По метрикам значилась Сюзанной. Имечко басурманское, прости Господи. В прежние времена срамных девок кликали, чтоб заступниц святых не позорить. А теперь мать родная выбрала — кличку собачью...

Думали-думали, листали Святцы. Имен хороших не счесть, но первое попавшее не выберешь. Отец Иннокентий сказал: ищите сообразно метрике. Хоть по смыслу, хоть по заглавной букве.

Гликерия чего надумала: может, говорит, Серафимой... Нет. Решили в честь Софии.

Вечерами, при матери, избегали по имени: *ей*, для *нее*, *она*. Днем обращались ласково — Софьюшка. Меж собой — Софья.

Батюшка спрашивает: может, среди вас Вера есть, или Любовь, или Надежда? Ее бы и хорошо в крестные, чтобы Ангела вместе праздновать. Головами покачали: нету. Ни Любви, ни Надежды, ни Веры. Пока решали, чуть не перессорились. Крестная, конечно, одна. Она и перед Богом в ответе. Крестная — родня, а другие, выходит, кто — чужие? Отец Иннокентий примирил. Бог, говорит, со всех вас по очереди спросит. Которая первая пред Ним предстанет, той первой и отвечать.

И смех и грех: болячками стали мериться. У кого сердце больное, у кого ноги еле ходят. Отец Иннокентий говорит: человек сроков своих не знает. Бывает, Господь молодых-здоровых прибирает, а старых-больных не трогает. Разве проникнешь в Его замыслы? Согласились. Вспомнили молодых-здоровых. Своих.

Рубашечка крестильная у Евдокии Тимофевны нашлась. Долежала в комод ева с каких времен. От Василия, сына старшего. Его уж и кости истлели, а рубашечка жива.

Материя тонкая, невесомая: ангельское облачение. Кружева вот только слежались, будто палое перо. Внуку не пригодилась. Сын с невесткой не дали: у нас, дескать, своя вера.

Сын-то в начальники вышел. «Я, — гордился, — нынешним не чета. С самой Гражданской с большевиками».

Тайком побоялась. Жизни их навредить.

Новую жизнь, смеются, строим, а вы, мамаша, норовите. Тащите в царское прошлое. Вроде на обратную дорогу. Нету пути обратного, а религия ваша — опий.

И чего выдумывают? Опий-то в аптеке продается — выпишывают, когда от боли. И невестка — туда же. Вы, мамаша, вокруг себя оглянитесь. А мне, говорю, поздно оглядываться.



Вы и оглядывайтесь. Вам этой жизнью жить. Не успели оглянуться, пришли за ними. Так и сгнули — в своем коммунизме. Спасибо, хоть внука не забрали: *та* бабка взяла.

Месяца два прошло, на Троицу: гостинец припасла, поехала. Улучила минутку, пока мальчонка на дворе бегал, завела разговор. Давай, мол, хоть вместе сходим. Нехристом вырастет. Грех-то какой. *Та* напугалась: «Что ты, что ты! Прознают, мигом придут. В детдом ведь закроют. Там и сгинет».

Она и повезла в эвакуацию. Разбомбили их под Лугой. Значит, первой пред Ним предстала — ей первой и отвечать.

Рубашечку приготовили, постирали. Кружева ветхие — разложили на полотенце. Пока стирали, побелели вроде. А высохли, все одно — желтизна. Прокипятить бы... Да тоже побоялись: жизнь прошла — расплзется в руках.

Водички согрели заранее. Батюшка говорит: ну, решайте и девочку свою облачайте. Принесли, надели на Софьюшку. Евдокия как стояла, лицом помертвела: легко ли сына-младенца увидеть воскресшим... Потом ничего, совладала с собой. Только нельзя, говорит, мне в крестные. Как погляжу на рубашечку, душа чернеет. Ты уж давай, Ариадна. У тебя все — слава богу: муж — на Первой, сын — на Второй, внуки с невесткой в блокаду померли. Все по-людски.

Где ж, отвечает, по-людски, если во рвах лежат. Пусть уж Гликерия: она не рожала. Граф ее, муж невенчаный, от революции сбежал. Кто его знает, может и теперь живой.

Ладно, решили. Ариадне виднее. Куда нам за ней... Образованная. По молодости и за границей пожила.

Гликерия — восприемницей, обе другие за бабушкой подтягивают. Отец Иннокентий говорит: тихо пойте, чтоб никто не услышал. Кому слушать-то, отвечаем, нет никого.

Отслужил хорошо, не пропускал, не частил. Софьюшка-умница глазками моргает, прислушивается внимательно, будто понимает.

Только раз расплакалась, когда Гликерия отрицалась бевсов. Евдокия на Ариадну глянула, будто полоснула ножом.

Сели чай пить. Батюшка улыбается: грешен, говорит, чаевник отчаянный. Люблю душу побаловать — с сахарком, да вприкуску. Самовары ведерные вспомнили. На конфорках не то. Кипяток жидкий выходит, без вкуса. В самоваре густо кипит.

К причастию, говорит, сами глядите — как получится. Ничего, отвечаем, теперь-то что, принесем.

\* \* \*

Погодка хорошая. Морозно, сухо. Чуть потеплеет — самое время гулять. Во двор выглянули — белым-бело. А дворника и не видно. Раньше, бывало, до рассвета с лопатой выходит. Нынешние совсем разбаловались. Посидели, старое повспоминали.

Ариадна первой опомнилась. В кладовку пошла, чулочки сухие снять. Евдокия за кашей направилась: мать с ночи сварила, сунула под подушку. Из-под подушки каша рассыпчатая. Гречинка к гречинке. Другую и не станет: ни манную, ни овсянку. Евдокия ворчит: в садах-то что попало суют. Греча — дорогая, еще и достань поди. Хорошо, Антонине на производстве выписывают. По два кило в месяц: на саму и на ребенка.

Ариадна одела, вывела. Софьюшка приучена — сама к крашу идет. Гликерия с ковшиком наготове. Летом в трубах тепленькая. А зимой греть приходится, чтоб на ручки слить.

Евдокия командует: ну, отдыхайте. Пусть ребенок в спокойе поест.

Поела и — за чай. Попила, чашку отставила. Креститься, боже упаси, не учим. Матери опасаемся. Вдруг увидит.

После завтрака Гликерия за пяльцы сажает. Шить-то рано, а вышивать — в самый раз. И гладью, и узелком, и вперед-

иглой. Утренний урок — лепесток желтенький. Пока не завершит, не отдаст.

Трудится, а Гликерия ей рассказывает: то про святых, то про Богородицу заведет.

Потом Ариаднин черед: сказку читать. У ней свои, французские. Книжка пухлая, с картинками. Как только в блокаду не спалили... Дочитает и за вопросы примется: сама спросит, сама и ответит. Чудно́ говорит — по-французски. А то и ошибется нарочно: проверяет — поняла ли? Софьюшка нахмурится, головкой качает. Пальцем в книжке указывает — не так, дескать.

Евдокия раз увидела: «Неужто и читать знает, или так — наугад тычет?» Ариадна обиделась: «Почему наугад? Я когда читаю, пальцем вожу по строкам, чтобы она тоже следила. А буквы давно знает. Я еще весной показала».

«А ну-ка, — Евдокия удивляется, — задай какое слово. Пусть в книжке разыщет».

Софья улыбнулась хитренько, глазками по строчкам побежала — два раза нашла.

«Да ну вас! — радуется Евдокия. — Кто ж вас, грамотных, проверит — сговорились, поди!»

Софьюшка носик морщит. Смеется, значит.

\* \* \*

Радио большое, черное — у Евдокии в комнате висит. Софья приходит, встает на стульчик. Включит, прикиннет ухом. Тихонько, чтобы бабушкам не мешать.

— С вечера не спала, вот чего-то и вспомнилось: раньше конфетки были в коробках. Которые так насыпаны, которые — в золото обернуты. Откроешь, внутри щипчики серебряные. Иван Сергеич часто покупал — баловал меня.

Глаза веселые, улыбается, будто помолодела.

— Вот и разбаловал, гляжу, — Евдокия губы поджала. — Ишь, чего вспомнила: конфеты в золоте...

— Да разве ж я, — сморщилась, — по конфетам...

Евдокия сидит. Губы сухие тонкие. Прямо в ниточку свела.

— Вчера, на Офицерской, гляжу, опять копают. Яму огромную вырыли, пар из нее — клубами. Сбоку мостки, по краю треноги выставили. Софью веду, батюшки, нечистая сила: из-под земли-то голоса. Кто ж это там — в кипятке? Глянула: мужики. Двое, морды грязные, под трубой ковыряются. Так и смеются еще: «Чего, бабка, напугалась?» Напугаешься тут. Бесы, прости Господи! Роют, роют. Скоро насквозь расковыряют. Не сидится им на земле.

— На Офицерской-то — где? — Гликерия сахарку наколола, высыпала в блюдо. Сама ма-аленькая. Как воробышек.

— Да тут, за углом. Как она у них? Декабристов.

Гликерия сахарок сосет — задумалась:

— Декабристы-то эти когда прославились? В революцию или в войну?

— Бог с тобой. — Ариадна плечиком пожимает. — Это же еще в прошлом веке. Декабрьское восстание восемьсот двадцать пятого года. Против крепостного права.

Образованная. Книжки читает. Цельная полка у ней.

— А-а, — Гликерия головой покачала, — вон оно когда... То-то я не упомяну. Это матери моей волю дали. Наши-то все из крепостных. Да мать-то тоже не больно радовалась. С господами, говорит, лучше. Те выгадали, кто в город ходил, на заработки. Так они и раньше свободно. В прежние времена везде платили. И барину хватало отдать, и семье.

— Вот и перед войной, — Евдокия за щеку взялась, — тоже все рыли. Иду как-то, думаю — и чего роют? Ох, ведь дороются. Невестке сказала. А та губы дует: трубы, говорит, прокладывают. При царе, говорит, не заботились, чтобы во всех домах — вода.

— А мать рассказывала, барин наш хороший был, добрый. И замуж силком не выдавал. Отец-то кузнецом у меня. Вот они с матерью приходят. А барин — ничего... Благословил их. Молодые долго еще ходили — благословения спрашивали. Уж и воля была, а все равно...

— Чего это, говорю, не заботились? У нас с прежних времен кран. И вода чистая, ничем не воняла. А мы, невестка мечтает, везде трубы поменяем. И поезда под землей пустим. Смеется...

— Раньше, до войны, — Гликерия вспоминает, — часто смеялись...

Евдокия сморщилась:

— Уж это они мастера. То смеются, то землю роют...

— Господи, — Ариадна вздыхает, — сколько же рвов безымянных... Как представлю, сколько с блокады осталось...

— С блокады!.. А канал?

Гликерия перекрестилась:

— Народу больно много. Одни роют, другие в землю ложатся.

— Кабы так... — Евдокия чашкой пристукнула. — Думают, другим вырыли. А потом, глядь, выходит — себе... Ладно. — Клеенку разгладила. — С вами сидеть — греха набираться. Зуб, едитская сила, ноет. И рот-то пустой, совсем зубов не осталось, а всё болят...

Рейтузы из толстой шерсти. Гликерия кофту старую распустила, связала в две нитки. Валенки с галошами, беленькие. Теперь черные валяют. В голенищах не согнуть, не разогнуть — ходи как в колодке. Под шапку — платочек хлопчатый; завяжут, спросят: не туго? Пальто новое, теплое. Евдокия свое перелицевала. Драповое, ватин в два слоя проложила. У самой другое есть — на ее век хватит.

— Мы уж в Никольский, — повязалась, концы заправила. — Санки не давайте — пешком дойдем.

Ариадна дверь закрывает:

— Мимо пойдете, обрати внимание: может быть, елки привезли...

Лестница широкая, пологая. На каждом пролете две квартиры. Дом-то старый, а от прежнего один грот остался. Большевики не добрались. Тритоны, раковины морские — все в неприкосновенности. Софья идет, всякий раз оглянется. Любит сказки.

Ариадна когда еще заметила. Раньше ведь как: сидит, слушает, лишь бы читали. Хоть Красную Шапочку, хоть Буратину этого, хоть Бабу-ягу. А теперь выучилась — сама книжку несет: раскроет, подает Ариадне. Читай, дескать, про девочку, про Русалочку. Ариадна уж измучилась: сил нет. Сколько можно одно и то же читать... Ты ведь, говорит, наизусть знаешь. А она нахмурится, глазки слезами нальются: пальцем указывает — читай. Ариадна и хитрить пробовала: то одно выпустит, то другое. Куда там! Выросла. Теперь разве обманешь...

Гликерия первая догадалась. Это она, душа ангельская, про немоту свою понимает. Русалочка эта вроде ей чета. Только та-то хоть ведает, за что речи лишилась. А наша разве знает...

Перед домом сквер. За ним памятник: к площади передом, к нам — задом. В теплый день дети по перилам лазают. Зимой перила скользкие, леденелые. От него за угол свернем — вон они, купола.

Бабушка за спину взялась. Постоим, говорит, чуток. Прямо с утра немеет, как не своя. Стоит, кругом оглядывается.

— Вот бы, — шепчет, — лет двадцать еще пожить...

*Рядом иду, а сама думаю: старенькая, зачем ей столько?*

— Поглядеть, чем у них дело кончится.

*У кого это — у них?*

Евдокия будто расслышала, буркнула сердито:

— У них, у этих... Большевиков. Ладно, — говорит, — ты, знай, молчи. А бабуку старую не слушай. Под ноги лучше гляди, чтоб не упасть... Сперва в церковь, мне свечку поставить надо. День у меня плохой — годовщина нехорошая. Потом уж к колокольне прогуляемся. По каналу кружок сделаем и — домой.

Снизу сумрачно. Верхний храм нарядный. По лесенке взойдешь, красота неопишная: золотом убрано, куда ни глянь.

Младенцем была, носили к причастию. Теперь боимся. Опять церкви рушат. Нейдется им, аспидам. После войны стихли вроде. Теперь снова взялись...

Бабушка Евдокия в церкви строгая.

— Вот, — учит, — там алтарь. Перед ним ворота царские: отворят, все насквозь видать. Батюшки в алтаре ходят, словно праведники по небу. Вечером служба начнется — паникадила зажгут. Свет тихий, благостный. Оглянешься, душа радуется: золото горит, вспыхивает — так жаром и обольется.

Сходит, принесет свечек, потом за руку возьмет, подведет.

— Свечку, — говорит, — подтопи с исподнего конца. Крепко ставь, чтоб не упала. А глазами не шарь. Прямо на лик гляди. Теперь крестись, пока никто не видит. Да не так, горе: пальцы плотно сложи, сведи в щепотку. Проси Богородицу за души загубленные, грешные. Меня не слушала, может, к бессловесной снизойдет...

Лики строгие, темные. Огни под ними пляшут, бьются на свечах. Бабушка Евдокия говорит:

— Души живые теплятся. Прогорят, старуха черная явится: сметет огарки в подол. Вот и мы так: погорим-погорим и погаснем. Свечи-то до конца сгорают, а люди, бывает, и не до огарков.

С бабушкой Гликерией лучше ходить. С ней к Николаю-угоднику: «Молись, — учит, — Софьюшка, за странствующих и путешествующих».

Он и в комнате у нее. А под ним огонь — в красной чашке. Бабушка подойдет. Стоит, разговаривает. Шепчет, шепчет. А он молчит. Видно, не умеет говорить.

«Николай, — рассказывает, — Святитель за всех заступается. Кто по морю плавает, кто в лесу заблудится — вот он на путь и наставляет. Во тюрьмах сидящих посещает, в болезни лежащих исцеляет...»

К иконе подведет — объяснит: «Вот, гляди. Вся жизнь человеческая представлена. И на этом свете, и на том. Там-то у них светло. В середине Господь сидит, а по сторонам его — праведники. Жизни прошлой не помнят: по-новому наслаждаются. А зачем им помнить? У них теперь другое, свое...

А внизу-то, — пугает, — ад. Тут уж муки: плач и скрежет зубовый. В аду, небось, грешники. Только Он и к ним спустится — снизойдет. Грешники всякие бывают: кто — закоренелый, а кто и по неразумию. Жизнь, — вздыхает, — как только не складывается — в особенности, пока молодая...»

*Из церкви вышли, пошли вдоль канала. А там уж дом страшный: дядьки огромные стоят. Бабушка говорит: истуканы, медные лбы. Мимо идем, глянула украдкой: вон ножищи какие. Наступят, прямо раздавят*

Кружком обошли, и — дома.

— Ну, — бабушка Гликерия раздеться помогает, — где были, что видели?



— Где ж мы с тобой были? — бабушка Евдокия отвечает. — В церкви, скажи, были, потом по каналу прошли.

— Ну, и как там? Морозно на улице? Намерзлись, поди?

Галоши сняли, валенки к батарее приткнули — пусть сохнут.

— Что это ты хмурая такая? — бабушка Ариадна показала, встала у притолоки.

— Да знамо что. Истуканов этих боится, — Евдокия платок разматывает. — Сколько ни говори, как об стену горох.

— Это же статуи, — Ариадна головой качает. — Разве можно их бояться?

За руку взяла, к себе ведет.

— Я же тебе рассказывала. Называются атланты. Их скульпторы сделали из камня. Сказка такая, будто бы они землю держат. А внутри — полые. Пустые. Там только проволока, чтобы крепче держалось.

На столе карандаш, книжка взрослая, раскрытая. Подле нее листков пачка. Бабушка Ариадна по одному дает — рисовать.

— Порисуй, пока обед греется.

Ушла.

*Сверху облако. Под облаком дом большой. Внизу канал длинный. Вдоль него загородка. Перед домом эти стоят — огромные. Головы черные, страшные. Внутри проволока. Пальцы большие топырятся — возьмут и уйдут с места...*

Карандаш отложила, прислушалась: нет, не зовут. Снова карандаш взяла. Буквы большие, корявые. Вывела:

### БОЛШЕВИКИ

— Что притихла? Рисуешь? — бабушка Ариадна заглядывает. К столу звать. — Ну, покажи, что ты там нарисовала?..

Господи боже мой... — Пальцами рот прикрыла. Схватила листок, из комнаты пошла.

Бабушка Евдокия заходит, глядит грозно:

— Ты чего ж это, девка, удумала? Ума, никак, решилась?

И себя, и всех погубишь. Глупости какие писать!

Нахмурилась, пальцем пригрозила:

— Гляди у меня!

\* \* \*

— Ты, Евдокия Тимофеевна, все-таки следи за собой. Твоих ведь речей наслушалась. А представь себе, заговорит?.. Да, не дай бог, еще в школе... — Ариадна петли подхватывает, дуемает вслух.

— Ох, грехи наши тяжкие, — Гликерия вздыхает.

— При чем здесь наши грехи?

— Уж и не знаю, — Гликерия петли считает, — что и лучше.

При нашей-то жизни: языкастой или уж так, молчком.

— Чего ей в школе-то? И так, небось, грамотная, — Евдокия вступает виновато. — Я вон три класса окончила — на всю жизнь хватило. А наша-то и по русскому, и по французскому. Считать научится — вот с нее и хватит.

— Ты, Евдокия, сама подумай: как это можно — без школы? Не заговорит — в особую направят, — Ариадна шепчет, будто опасается кого.

— Ну уж нет, — голос возвысила, — в такую-то не отдам. Костью лягу. Нечего ей там делать.

— То-то они костей твоих напугались, — Гликерия на дверь оглядывается. — Явятся, утащат силком...

*За окном тихо. На стеклах цветы заплетаются. Шкаф зеркальный в углу. Глаза закрыла — страшно. Будто крадется кто-то, грозит утащить...*

*Голоса сухие, слабые, едва проникают. Бабушка Гликерия кофту вяжет — обещала на праздник. Кофта теплая, синяя. «Из старой, — говорит, — выросла, так мы ее распустим. Ниточек красных прибавим. Вот и в школу можно идти»...*

Распускать весело: нитка бежит, вьется, выскальзывает из петель. Гликерия за нитку дергает, Ариадна напротив сидит, наматывает. Как порвется, концы найдет, свяжет узелком. Комки пухлые, мягкие, старыми петельками завитые. Постирают — на веревку вешают, под каждый — мешочек с песком. Это чтобы петли выпрямить. А то новое начнешь, а старые петли и не лягут. А так — нитка гладкая, только рваная очень. Свяжут, вывернут — вся изнанка в узелках...

\* \* \*

С работы пришла.

— Ну вот, съездила я в Гостиный. Спросила у них. Были, говорят, костюмчики, да все разобрали. А тут еще заказы с производства. Вот я и думаю: может, и наш местком заказал?

Картошек набрала, подстелила газетку. Руки за день устали: нож не держат. Ох, думаю, нехорошо мне последнее время. Утром иду — ничего вроде. А потом как подступит. И от еды ворбит, тошнит...

— В воскресенье не забудьте — в контору нам, опять за мукой стоять. Зайду, узнаю: а вдруг запись с вечера? Говорили, в одни руки по два кило. Гвозди еще накалить. Прошлый год поленилась, погнила мука. Вы уж на воскресенье приготовьтесь, оденьтесь потеплее. Часа два выстоять придется, а может, и все три.

Про дите смолчала. Все равно не пустят: нечего, мол, по очередям толкаться. Другие-то ничего: младенцев и тех тащат. А как же? Сколько явилось, на тех по счету и дают.

Ополоснула картошку, поставила. Шкурки теперь выбросить. С черной лестницы холодом несет.

*На лестнице ведра помойные — стоят по углам. Мама шкурки картофельные выносит, в ведро бросает. Ведро полное, шкурки и высыпаются. Выглянешь, бабушка Евдокия сердится: «Куда, — кричит, — любопытная Варвара? Или Ворона Вороновича не боишься? Смотри, подкараулит...»*

*Ворон ночами прилетает, помойную еду клюет. Разворошит, поклюет шкурки и дальше полетел...*

Пошла, по полкам пошарила.

— Нету, — говорю, — гвоздей. Снова на помойку тащиться.

— Ты, — Евдокия объясняет, — доски потолще ищи: в тонких гвозди-то мелкие, неподходящие. — Сегодня уж не пойдут — темно. До воскресенья есть время — успею прокалить.

*Плита черная, огромная. Спереди дверка железная — поленья пихать. На дверке засов кованый. Поленьями набьют — на засов заложат. Огонь в печи кряхтит, бушует. В щелку заглянешь — языки завиваются, так жаром и пышут. Близко-то страшно: Баба-яга подкрадется, живьем в печь пихнет...*

*Прокалят, достают щипцами. Гвоздья кривые, красные: остынут, в банки мучные запикивают, чтобы мука не погнила.*

Картошку слила — ужинать сели. Сами картошки с постным маслицем, Сюзанне — сырок в обертке. Нечего, говорят, картошкой наминаться. Вырастет, успеет еще.

— Барыню, — смеюсь, — рóстите: может, икры ей паюсной купить?

Поужинали — из кухни пошли. Теперь читать примутся. Ну, думаю, пусть...

Бабушка Гликерия книжку отложила.

— Глаза, — говорит, — у меня болят. Слабые стали. К вечеру совсем слезятся. Сегодня так расскажу, что помню.

«В некотором царстве, в другом государстве жили-были король с королевой. Жили они дружно, только судьба их не баловала: не было у них детей. Они уж и всякую надежду потеряли, да бог милостив, послал наконец девочку. Обрадовались, имя красивое выбрали. Приглашают гостей...»

Ох, только теперь и заметила: детское в общем тазу замочила. Хорошо, старухи не видели — отдельно велят стирать. «Взрослая грязь едкая. За целую жизнь копится. Как ни мойся, дочиста не отмоешь». Ладно, может, им и виднее. Сколько лет в Максимилиановской проработали. Няньками в приёжном покое.

Вперед Евдокия устроилась. Потом других переманила. Так и дежурили — сутки через двое. В больнице удобно. Работа хорошая, легкая: примешь больного, белье казенное выдашь — снова седи. И сыта весь день. Кормят из больничного котла. Помыться если опять же. А еще и белье постельное: возьмешь комплект, застелешь. И грязное стирать не надо. Снесешь, сдашь сестре-хозяйке. Вот бы в общежитии так — а то сами стирали, для себя...

«...А колдунья та злая была. Страсть не любила, когда про нее забывают. Как прознает об этом, пакости принимается выдумывать: лишь бы по ее воле было. Король с королевой феям кланяются, за дары щедрые благодарят. Только сели за столы, слышат, гром небесный раздался: карета черная едет,

вороном запряженная. Тот глазами бесстыжими шарит, кле-  
кочет по-своему. Колдунья из кареты выходит и — прямоком  
к колыбели. Без меня обойтись задумали? Ужо! Пальцем гро-  
зит. Я вам свой подарочек приготовила: пусть, говорит, жи-  
вет, пока не вырастет, а как вырастет, спицей ядовитой уко-  
лется — вмиг и померет...»

Тру, тру... Мыло склизкое, так и норовит выпрыгнуть. Бе-  
лое вскипятить: тя-янешь бак на плиту. Остынет, снова про-  
полоскать, потом уж — в синьку. Натягаешься, живот прямо  
схватит. Раньше-то ничего: полежишь, отходит. А последнее  
время — кровь. Немного. Денек-другой помажет. Подклады-  
вать все равно приходится. Тряпки эти отдельно стираю.

В подвале, во дворе общая прачечная. Которые хозяйки —  
туда ходят. Вначале тоже ходила. Потом зареклась. Жар, ду-  
хота, котлы эти огромные. Пусть уж те, у кого коммуналки.  
На общей кухне много не настираешь. Мне-то хорошо: стару-  
хи рано ложатся, почитай, до ночи себе хозяйка...

«...Заплакал король, заплакала королева, а первая фея за-  
навеску поднимает, выходит на белый свет. Это она заранее  
спряталась, чтобы колдовство злое застигнуть. Не плачьте,  
утешает, король с королевой: все равно по ее воле не будет.  
Мало у меня сил, чтобы колдовство отменить, но и сидеть  
сложу руки не стану: свое заклятье наложу. Пусть девочка ва-  
ша как вырастет, ядовитой спицей уколется — этого не мино-  
вать. Уколется, упадет замертво, но сама не умрет — только  
заснет надолго. А как пробьет ее час, глаза и откроются. Тут  
она навек проснется...»

Бабушка Евдокия в комнату заглядывает:

— Начитались? Теперь и спать пора. Огонь-то зажечь те-  
бе? — Кнопку у ночника нашарила. — Не уснешь, небось, без  
огня.

Фонарик белый, на нем узоры красные — будто домик. По бокам феи нарисованы, на маковке петушок золотой...

Постирала. Белье выкрутила. Всю кухню завесила. Хорошо, думаю, ночью. Тихо. Выглянешь — все окошки погашены. Будто и нет никого...

У Гостиного, почудилось, *его* встретила. Сердце прямо ахнуло. Удивилась только: важный стал. В шапке пыжиковой. Обогнала, глянула потихоньку. Гляжу — нет. И чего это я... Другой он. А какой другой? Так-то и не скажешь. Нет у меня таких слов.

Сколько лет прошло — лицо забывать стала. Говорят, в дочери проявится, поневоле вспомнишь. Особенно если в него. Пока что трудно сказать: вроде в мать мою, покойницу. А другой раз сядет, щечку этак подопрет, глаза к потолку — ну вылитый он. Лицом вроде и не похожа, а повадку переняла. Отродясь отца не видывала, а все будто помнит. А если заговорит? Неужто тоже как он? Опять ведь не пойму половину... Опомнилась: да пусть хоть как, хоть совсем на французском. Лишь бы заговорила...

В этих делах кругом непонятно. Девкой была, чудесам дивилась. Мать с отцом общие, а дети разными получаются. Один работающий, спину не разгибает, другой — лодырь, каких мало... Учителку в деревне спрашивала: как же так выходит? Не знаю, говорит. Все от природы.

Беременная ходила, тоже думала. К Зое Ивановне подступалась. «Всё, — отвечает, — от воспитания. Что вложишь, то и выйдет. Проворонишь, в отца своего вырастет, засранца». — «Чего уж, — говорю, — пенять теперь. Отец отцом, а я и сама виновата». Мать сколько раз остерегала. Разве учила — с первым встречным гулять?..

А еще, думаю, от имени много зависит. Взять хоть мое: Тонька да Тонька. Я тогда еще решила: если мальчик, в деда назову — мужикам все одно. А девочка —

пусть с детства красивое имя слышит. Может, жизни моей не повторит.

По закону ведь как: отчество любое пиши. Зоя Ивановна советовала: «По деду записывай, по своему отцу». Ну не знаю, думаю: нехорошо как-то, не по-людски. Пусть уж по правде будет. Так и записала.

Старухи, те по-своему рассуждают: «Что народилось, то и вырастет. Случается, и на елке яблоко завяжется, а бывает, и на яблоне — шишка». — «Что же, спрашиваю, тогда стараться, за дитем доглядывать: ежели уж, к примеру, шишка, яблоком не станет». — «Нет, — соглашаются, — не станет. А если яблоко, тут уж от людей зависит: дичком кислым останется или соком садовым нальется»...

*Зажмурилась: клубки цветные катаются... Все нитки у них спутались. Бабушки концы подхватывают, связывают узелками... Занавеска на окошке колышется: фея за ней спряталась — злую колдунью ждет. А та Воронов Вороновичей запрягла, по улицам едет: мимо церкви, вдоль канала, к самому черному дому... Большевики на них глядят, радуются. Пустыми пальцами шевелят..*

\* \* \*

— Вчера, — Ариадна жалуется, — совсем не спалось.

— Да уж слышала я, как ты у себя колобродила. Все слышно за стенкой.

— Пить очень хотелось, — оправдывается. — Сохнет в горле. Два раза вставала. Попью, лягу. Ничего не помогает.

— Пустую, что ли? Взяла бы, хоть валерьянки накапала. Или корвалолу.

— Лежу, думаю... Вот бы внук мой, Алешенька, пожил... Софья ему по годам — дочка.



— Ох, — Гликерия сахару кускового досыпает, — ладно, молчит пока. А заговорит — про отца ведь спросит.

Евдокия губы поджала:

— Пусть у матери своей спрашивает — мать-то на что?

Ариадна оглядывается, щипчики ищет.

— Сколько лет прошло... Так ни разу не появился. Видно, непорядочный человек.

— А может, помер уже?..

— Помрет он, жди-дожидайся, — Евдокия сухарь макает, размачивает. — Такие-то кобелины долго живут.

— Да ладно тебе, — Гликерия за него заступается. — А вдруг с того света любитесь, какая дочь у него выросла.

— Любуется он... — Губы поджала. — Чем так-то любоваться, помог бы девке: упросил — пусть бы заговорила.

— Ну разве можно так, — Ариадна страдает. — Сами не знаете, что говорите. Дикость какая-то.

— Одичаешь тут, — Евдокия губами пожевала. — Счастье, что ты у нас культурная... Пропали б без твоего-то ума.

— Антонина говорит — пропал он... Пошел и исчез, — Гликерия глаза опустила, уткнулась в чашку. — Вот я и думаю... Чего он вдруг исчез? Мало ли что?..

— Глупости мелешь, — Евдокия волком зыркнула. — Это ж когда было? В те-то годы, наоборот, выпускали. Кто выжил, многие и вернулись. Не то что... — Совсем рассердилась. Отложила сухарь.

*Какой отец? Кого это выпускали? К кому вернулся?*

— Ну, — бабушка Евдокия оборачивается, — закончилась твоя сказка? Вот и слезай со своего стульчика. А ты ишь, уши развесила! Привыкла к разговорам взрослым прислушиваться... А нечего тут слушать. Поди, у себя побудь.

К себе побежала.

*Это же про ту девочку. Которая в шкафу живет.*

*Створку распахнешь — является: стоит, смотрит. У нас и платья одинаковые — бабушка Гликерия шьет. И комната на нашу похожа: стол, занавеска, стены желтые. Только кровать одна — другой нету. Зато дверь у них. А еще лесенка. Отец ее по лесенке возвращается, из-за двери смотрит. Полюбуется на нее и снова уходит.*

*У них квартира маленькая: зачем им? — бабушек-то нету. Бабушки здесь, со мной живут. А мама ее не спит и не готовит. Только волосы перед зеркалом причесывает. Причешется и тоже уйдет..*

— Ну, чего, — бабушка Евдокия заглядывает, — опять перед зеркалом крутишься? Ох, гляди — вырастешь вертихвосткой...

Подошла, прикрыла створку:

— На улицу пора собираться. С бабушкой Ариадной пойдешь.

\* \* \*

К ограде подходим, а там замок висит. И горка пустая — никаких детей нету. А в садике люди одинаковые. Ходят, лопатами снег гребут.

— Боже мой! — бабушка Ариадна заглядывает. — Солдат сколько... Пойдем, голубушка моя, к мостику, на львов посмотрим, полюбуемся. Львы хорошие, смиренные. Сидят, караулят. Внук мой Алешенька тоже их любил. Николенька, младший, не запомнил. А старший должен помнить. Мы с ним часто ходили, как с тобой. Он все про нас помнит. Вот вырастешь, то-

же про него вспомни. Я умру, никого у него не останется: только ты одна...

Домой пришли. Поели, попили — отдыхать пора. Бабушка Гликерия одеяло подоткнула:

— Вот и спи, голубка. Праздник скоро. Надо бы игрушечки елочные проверить, вдруг побились. А побились — тоже не беда. Мы с тобой ниточек возьмем, корзиночек цветных навяжем. Мама подарок принесет, а мы конфетки-то в корзиночки и положим. Зачем нам эти шары?..

*Картошкой пахнет. Сковородка в кухне шкварчит.*

— Солдаты там. Снег сегодня убирают, — Ариадна в сковороде помешала, от плиты обернулась. — У нас в саду тоже батарея стояла. Артиллерийская. Я ведь сначала радовалась: думала, так и прослужит рядом с домом. Первое время забегал. Прибежит, тушенки принесет. Сначала ведь хорошо их снабжали. А потом, в сентябре, — всё. Батарею в Залив перебросили, на форты. А он меня утешал: «Ничего, мама... От Ленинграда близко. Скоро в увольнение отпустят». Письма часто писал. А потом смолк. Последний раз в феврале пришло: младший уже умер. А старший пожил еще — они потом, с невесткой, на следующий год...

Кивают, слушают. В который раз рассказывает, а всё вроде внове.

— А кабы не умер никто, — Евдокия хлеба нарезала, — чем бы кормиться стали? Вон, глядите, с войны уж сколько прошло — а все муки не хватает. Вот и считайте — нас теперь четверо, значит, восемь кило дадут. А так твоих-то всех собери, да моих прибавь — сколько бы понадобилось? Снова голод.

— Ой, не говори, — Гликерия хлебушка взяла. — Весной-то прошлой, помните, у многих погнила. Жучок в ней завелся.

Как идешь мимо, пакеты мучные валяются. Вся помойка засыпана. Белым-бело... Хранить, видно, не умеют. Наберут, наберут, а гвоздями и не проложат. Так-то бы и три года пролежала.

— До революции ихней, — Евдокия губы морщит, — гвоздями, небось, не прокладывали. А всем хватало мук.

— До революции, — Ариадна голову опустила, — народ тоже страдал. Не так, конечно... По-своему. Но все равно многие мучились.

— Мучились они! — Евдокия головой крутит. — От безделья они мучились, вот и все ихнее мученье. Кто работал, тот и не мучился.

— Полно, — Гликерия рукой махнула, — жизнь ведь прошла. Чего уж теперь?..

— Так мне-то, — утихает, — ничего. Мне на том свете мук не надо. Софью вот только жалко... Ей еще жить.

— А я вот иногда лежу, думаю: если б склады не разбомбили, может быть, и хватило бы мук... По радио говорили: огромный запас сделан...

Евдокия тарелки собрала. Смолчала.

*Вода льется, льется — значит, тарелки моют. Теперь в комнату пойдут, нитки мотать.*

\* \* \*

— Ну гляди, сперва донышко.

Пальцы ловкие, крючок так и прыгает — разве уследишь?

— Теперь стенки подыдем, свяжем по кругу.

Сверху каемка синяя, а к ней — ручка. За ручку на елку вешают.

— Помнишь, — бабушка Гликерия спрашивает, — какие у нас там игрушки?

*Шары цветные, рыбки, звери разные из картона. Еще птички стеклянные — голуби. А вместо лапок у них крючки. Это чтоб за елку цепляться. У церкви тоже голуби: только другие, важные. Ходят, с боку на бок переваливаются. Их крупной кормят. Пшена принесут, насыплют. Вот они слетаются и клюют.*

*Там, у церкви, старик страшный. Ездит на санках. А санки у него сломанные, совсем без спинки. Сам короткий, ноги пустые, вместо рук крючки воткнутые, из железа. Он их из проволоки согнул — крючками в землю упирается, сам себя толкает. Бабушка Гликерия сердилась: «Чего смотришь? Отвернись. Это — инвалид. Таким с войны пришел. Раньше много их было. Один теперь остался: другие-то поумирали, должно. Отмучились, голуби. Отдыхают на том свете».*

*А... Догадалась... Это они здесь страшные, а там — уже голуби. На том свете елку им поставили. Вот они на ней и сидят. Не мучаются, крючками за ветки схватились. Голубям рук-то не надо. Теперь у них клювы выросли: конфеты из корзинок клюют.*

Бабушка нитку закрепила, растянула на пальцах.

— Ну вот, — говорит, — все и готово. Можно крахмалить. А вечером сяду, еще корзиночку свяжу.

Отложила, за свою работу взялась. Ближко посмотришь — крестики одни разноцветные.

— А ты, — велит, — подальше-то отступи. Издалека яснее видать.

И правда, смотрю: конь, а на нем всадник с копьём.

Бабушка говорит:

— Вот он, Святой Егорий, отца моего заступник. Ты рядышком садись, вышивай свой цветочек, а я тебе про него расскажу.

«Было это в Ерусалиме, во святом граде. А посторон святого града — три царства беззаконные: Содом-город, Гомор-город и третье — безымянное. Вот Господь глядел-глядел на беззакония и послал Содом и Гомор сквозь землю. А на третье царство напустил змея лютого. Приползает змей на соборную площадь и кричит страшным голосом: подавайте мне по человеку с каждого города! И осталось у них совсем мало людей...»

Нитку откусила, разглядывает.

— Тут, — обещает, — змей еще будет. Закончу, тебе подарю. А когда умру, память моя останется. У себя в комнате повесишь.

Бабушка Евдокия послушала:

— А я, — говорит, — скатерть тебе старинную оставлю. Полотно крепкое, камчатное, по кайме — розы. Гости придут, на стол накроешь — то-то они удивятся. А ты и объяснишь: бабушкино, мол, приданое.

Бабушка Ариадна услышала, к себе в комнату манит. Побежала за ней. А она на дверь оглядывается и говорит:

— Я тоже тебе подарок приготовила. Сережки старинные, бриллиантовые. Родительская память. Все в войну обменяли — только они и остались. В ушки тебе вденем. Ни у кого таких не будет. Вырастешь, в зеркало посмотришь, меня и вспомнишь.

*Умрут, к той девочке отправятся, с ней будут жить. Девочка их встретит, обрадуется. Только комнатка у нее маленькая — жить тесно. Пусть и комнаты их умрут — чтобы всем разместиться...*

— Что ж ты, — бабушка Ариадна говорит, — печалишься? Рано горе горевать. Мы ведь поживем еще, сколько Бог положит. А ты, пока молодая, хорошо живи, про нас не думай.

Мы сами о тебе думать будем, любоваться. И жизнь твоя будет долгая... Ну, ступай на кухню. Пора молоко пить.

*Пошла, а сама думаю: где ж им на том свете обедать? Надо, чтобы и кухня умерла.*

\* \*

Бабушка Ариадна через ситечко процедила: на, говорит, пей. К молоку пряник. Глазурь сухая, звездочками крошится, будто снежок.

*Пряники из муки пекут. На том свете муки нету — значит, и пряников... Что же они там кушают? Наверное, суп...*

Дверь в прихожей хлопнула, замок хрустит. Бабушка Гликерия заглядывает:

— Беги, встречай мать.

А мама сама заходит. К столу села, пригорюнилась:

— Сил моих больше нету... Все помойки облазала: только две доски и нашла. Вчера надо было — сегодня-то все хватились, растаскали... И гвозди кривые, ржавые — еле выдрала. Сейчас, — волосы поправила, — отдышусь... Почек купить ведь думала. Рассольничек сделать. До гастронома дошла, а зарплата-то в пятницу. Так-то бы и хватило, да шесть рублей отложено, вдруг костюмчик принесут. Зоя Иванна обещала... Да, вот еще: на той неделе самая работа — план горит. Я мастеру сказала: если что, сверхурочно прихвачу. Сверхурочные к тридцатому выплатят. Я вот и думаю: вина бы надо на праздник. Муки получим, пирогов напеку. С картошкой или, может, с капустой. У нас одна тоже: торт, мол, куплю, в «Севере». Я и подумала: может, и нам? А потом думаю: нет. Баловство. Лучше сосисок

взять или сыру. На праздник-то можно. Винегрет еще накрошу. Селедки с лучком. Встретим не хуже людей.

Евдокия говорит:

— Ребенку разве можно без супа? Ты хоть постного ей свари: картошечки нарежь, морковки. Молочком и забелим. До пятницы долго еще...

— Нам, — Ариадна оправдывается, — в четверг пенсию принесут.

— Господи, — прямо расстроилась даже, — да разве я про это? Со свехурочными так рублей восемьдесят выйдет. Прокрутимся. Ладно, — говорю, — пойду, полежу часок. Вы уж сами ужинайте. Устала...

— Селедочки-то хорошо... — Гликерия в пустую кастрюлю заглядывает. — Просолиться.

— Ты, — Евдокия сердится, — транжирка у нас известная: тебе лишь бы деньги трынкать.

Голова плохая — тяжелая. Продуло меня, что ли?

Легла. Плохо, думаю. Последнее время совсем будто мертвая. Хожу, делаю, а внутри пусто... Зима больно тянется. Прямо не дожить до лета...

\* \* \*

Зою Ивановну в перерыве нашла, спросила про костюмчик. А она и говорит: «Разговор к тебе есть. Зайди после смены».

Обратно иду, жена Сытинская навстречу.

— Ну, как живешь-поживаешь? Эти-то не сдохли еще, старые ведьмы? С мамашей твоей ничего, ладят?

— Да, хорошо, — говорю, — живем.

— Ты смотри, потачек им не давай. Я вот жила, не давала. И не гляди, что старые — еще и нас переживут. Ох, попили мо-



ей кровушки. Володька маленький был. Чуть что — являются. «Уймите, — мол, — вашего мальчика, чтобы он в прихожей не кричал». — «Ага, — говорю, — может, ему и рот заклеить?» А Евдокия эта, злыдня: «Вот, — шипит, — и заклейте». — «Может, — говорю, — нам и всем рты-то позаклеивать? Руками объясняться, вроде немых? Лучше б, — говорю, — за своими детьми глядела, чем чужих гонять». Гляжу — молчит. А чего ей сказать? Ей сказать нечего. Я-то все про нее знаю, соседка снизу рассказывала: старший у ней — еще до войны расстреляли, а младший и того хуже — тюремщиком ведь служил. Ох, замуж бы тебе, Антонина... Второго родишь, завод квартиру предоставит. Иначе так и не выберешься — из ихнего болота. Ишь, суки старорежимные!.. Мы когда еще получили... Въехали. Сколько лет прошло, а поверишь, до сих пор снится. Проснусь, прямо мокрая вся. А потом лежу и думаю: нету же их больше. Одни теперь живем. А внутри-то щемит, щемит: господи, думаю, вот же он — рай...

Все-таки сучка эта Сытина. Живет как у Христа за пазухой, а все туда же — тюремщик... Лишь бы сына чужого огорить. И не боится. Свои ж сыны подрастают. А если их кто оговорит?..

Смена закончилась, в местком поднялась.

Зоя Иванна приглашает:

— Садись, Антонина. Что ж ты с дитем своим делаешь? Девке шесть скоро, через два года — в школу. Ладно, болела, пока маленькая. Так теперь вроде и выровнялась, а все с бабкой сидит. Нормальные детки в садик ходят. Вон внуки у меня: и рисуют, и песни поют, и стишки рассказывают. Мать-то у тебя неграмотная — как к школе подготовит?

— Да нет, — оправдываюсь, — ничего: Сюзанночка и буквы все знает. Читает помаленьку.

— То-то, — говорит, — что помаленьку. А в садике учителя специальные, спектакли ставят. Раз в неделю музыкальное

занятие. Разве сравнить? Недавно и в театр кукольный водили, на Седьмое ноября — под праздник. А как они к празднику готовились! Песенки, речевки разучивали. И питание в садике диетическое, разнообразное. Ты ж пойми: девочка твоя — не деревенская. Ей в городе жить.

— Спасибо, — говорю, — подумую.

— Ты, — торопит, — скорее думай. Время уйдет — упустишь.

— Как там, — все-таки решилась спросить, — костюмчик?..

— Ты, — хмурится, — Антонина, вроде и не мать, а мачеха. Тебе дело говорят, а ты — про всякую ерунду. Вот вырастет девка старорежимная, локти станешь кусать, да уж поздно. Ладно, иди пока... А костюмчик обещали. К послезавтра, сказали, посмотрят. Может, еще и есть на складе. Мы ж их к ноябрьским заказывали — я и внукам брала...

Обратно иду, думаю: немоту-то от них скрыла. А ну как всплывет? У нас в цеху тоже одна была. На кислотках до последнего работала, живот себе перетягивала, чтобы поменьше видно. А мальчонка родился — сперва вроде здоровый. А потом глядят, а он и ходит плохо, и голова какая-то большая. Утешали сначала: ничего, может, выровняется. А потом пошло... Водянку мозга определили, который год по больницам... К ним попади только — затаскают по врачам. Совсем загубят девку. Нет уж, решаю. Не отдам. Живем хорошо, не хуже других. Ишь, театры у них... Так наша тоже пойдет в Мариинский. Обещали же — на балет. А праздники... Так и мы праздник устроим — елку нарядим, поглядим еще, чья лучше... Господи, думаю, а все равно страшно. Вдруг да отымут?..

Через дорогу пошла, а сердце бьется, колотится.

Бабки-то умные, конечно... Так ведь и Зоя неглупая: правду говорит. Они-то свое прожили. А жизнь другая настала — чего они знают?..

Домой пришла. Разговор начинаю:

— У нас в цеху в очередь некоторые встали — на телевизор.

Триста сорок восемь рублей.

— Старыми? — Ариадна уточняет.

— Да какое, — говорю, — новыми.

— Батюшки! — Гликерия руками всплеснула. — По-старому три с половиной тыщи.

— Телевизор-то, — говорю, — тоже новый, без линзы, показывает как в кино. Может, и нам встать? А что? Передачи бывают хорошие: и взрослым, и для детей. Пока ждем, помаленьку и накопим: если каждый месяц откладывать — рублей хоть по тридцать. К Евдокии Тимофеевне поставим: вроде свой красный уголок. Вечером сядете, будете новости глядеть: где да что в мире происходит. В Америке там или... в Венгрии... И Сюзанночка посмотрит — ей же в школу идти...

Молчат.

— Ну, — говорю, — думайте пока. Сюзанночка радио любит, а телевизор еще и лучше.

Евдокия ворчит:

— Газеты, радио — все им мало. Теперь телевизор выдумали. Скоро в яйцо куриное заберутся.

— Зачем же так, — Ариадна ее укоряет. — Разве плохо передачу хорошую посмотреть?

— А ты, гляжу, за долгую жизнь не насмотрелась... А мне уж хватит. Сын мой тоже. Газеты все читал. «Надо, — говорит, — мамаша, всегда быть в курсе». Ага, думаю... Только курс-то ихний известный: читай, не читай — все одно не минует.

— Тебя послушать, до сих пор бы жили в каменном веке. Так лучину бы и жгли.

— Ну и жгли бы, — Евдокия плечами пожимает. — Кому она мешала — лучина-то?

Мама в комнату заглядывает:

— А ну-ка иди, я печку разожгла. На огонек полюбуешься.

Побежала, маленький стульчик приставила, села против дверцы.

Мама говорит:

— Гляди, осторожно. Близо не подвигайся. Вот телевизор купим — тогда уж нагладишься. В телевизоре тоже как будто дверца, только другая, стеклянная. Называется экран. В электричество включают, глядь, а там огонек занимается, как звездочка, а потом вдруг вспыхнет, и картинки разные бегут: чудеса... Показывают, рассказывают: где, да что, да как людям живется. Другие-то смотрят, а сами ума набираются. Вот и ты насмотришься, а потом и в школу пойдешь. Учительница тебя спросит: «Встань, Беспалова Сюзанна, ответь: знаешь ли, что такое кукольный театр?» А ты и ответишь: «Конечно, знаю. Я по телевизору видела. Там куколки такие хорошие. Которые из дерева, а которые из тряпок. Вот им пальцы внутрь-то засунут, а они знай представляются: то плачут, то смеются. Как живые». Тут она обрадуется: «Садись, — скажет, — Сюзанна Беспалова. Ставлю тебе пятерку». А дети тоже удивятся: «Надо же! В детский садик не ходила, а сама все знает»...

Мама дверку распахнула, кочергой в печке шевелит. А жар от печки горячий, прямо в глаза бьет. Дверку заложила, глазки рукой вытирает.

— Ничего, — плачет, — не бойся. Все хорошо у нас будет. Ну, поди к бабушкам...

— Ну, — бабушка Евдокия пуговички расстегивает, — и на чем вы с бабушкой Гликерией остановились? Ох, — вздыхает, — голова моя садовая, ничего не помнит. А... — говорит, — вспомнила. Мачеха-то ее из дома выгнала. Пусть, мол, в лесу пропадает.

Платьице на спинку повесила, сама на краешек села.

«Вот она живет в лесу, а у мачехи этой было зеркало, да не простое, а волшебное. Глянешь в него, всю страну видать: что, да где, да кто как поживает. Вот мачеха его и спрашивает: “Как там моя падчерица? Неужто без меня хорошо живет?” А зеркало как вспыхнет: “Хорошо, — отвечает, — ей живется. Живет, не тужит. День ото дня краше становится”. Тут мачеха озлилась, бабу кухонную зовет. “Поди, — велит, — вырядись странницей, а я тебе платье красивое дам, ядом его напитаю — ты моей падчерице его и подари”. Баба платочек повязала, женщиной доброй прикинулась, да в лес этот и пошла.

Вот охотники возвращаются, а в доме что-то неладно. Входят, а сестрица их на полу распростерши. Лежит, не дышит. Долго они глядели-присматривались, а про платье и не подумали. Чтобы его снять. Погоревали, да делать нечего: смастерили гроб стеклянный на железных цепях. Девушка в нем лежит, сама будто живая. А мачеха никак не уймется, снова страну свою оглядывает — зеркало пытается: “Что ж там моя падчерица? Навсегда ль умерла?..”»

— Спишь, что ли? Ну и ладно, вот и спи пока...

\* \* \*

— Ну, — Евдокия начинает, — думайте с этим телевизором.

Утро раннее, серенькое. «У микрофона Мария Григорьевна Петрова». Величают по отчеству, а голосок слабенький, детский, будто и жизни не жила. Таким-то голоском в самый раз сказки рассказывать.

Софья на стульчике замерла — слушает.

— Да дорого больно, — сомневается Гликерия, — прямо и не знаешь...

— Другие ведь как-то покупают. Антонина говорит, в очереди стоят.

— Так, может, денег у них много? Куры, видать, не клюют.

— Откуда?.. — Гликерия рукой машет. — Теперь господ нету: на зарплату живут либо на пенсию.

— Не скажи, — Евдокия бутылку взяла, молока в чай плеснула. — Помнишь, в сорок четвертом-то? Блокаду едва сняли — бабу к нам привезли. Сама толстая, сытая... — Чаю хлебнула, сморщилась, будто кисло ей.

— Скисло, что ли? — Гликерия напугалась.

Молчит. Уткнулась в чашку.

— А мальчонка у ней еле живой родился. Доктор определил — жиром своим задушила. Муж еще к ней ходил, по всему видать — знатный. Передачи носил бога-атые. Вот она закрывается под одеялом и жрет.

— Помню, — Гликерия вздыхает, — как же не помнить: колбасой-то как пахло... Несешь передачу, голова крúгом — хоть в обморок вались. Выписываться стала, я ей одежу принесла, а она мне ломтик сует — вроде в благодарность. Вышла я, в уборной от всех закрылась — проглотила. Кусочек-то махонький. И часа ведь не прошло — вырвало. Прямо куском и вышел. Что же это со мной, думаю? Неужто человеческую еду не принимаю? Привыкла к жмыху...

— Человеческую... — Евдокия опять морщится. — Какая ж она человеческая? Люди-то хлеб ели... Ну маргарин когда. А то ведь и клей обойный. И хорошо еще, если клей. В первую зиму кончился. Сосед у меня, мальчонка, так и вовсе уголь грыз. Достанет из печки и грызет. Так и помер с головешкой. Рука мерзлая, а сам-то держит, держит... Разжали едва. И рот черным измазанный... Колбаса у ней, видать, испортилась, вот она гнилье и отдала.

— Ох как пахло! — Гликерия будто и не слышит. — А после войны-то, когда в магазине появилась, я ведь до-олго не могла. Как понюхаю колбасу, прямо изнутри подступает... Ох, — опомнилась, — не к столу...

Ариадна хитрая, разговор переводит:

— Соломона Захаровича помнишь?

— Ну как же! — А сама смеется мелко, аж покраснела.

— Еще бы, — Евдокия фыркает, — ей не помнить! У них же в войну — шуры-муры...

— Да какие там! — машет. — Что он, что я — живые покойники. Так... Разве — поговорить...

— А после войны? — Ариадна в чашке мешает, глаза отвела притворно.

— Виделись, — кивает. — Замуж меня звал. Жена у него погибла — к матери перед самой войной поехала. В Белоруссию, что ли... А обратно и не вырвалась — осталась под немцем.

— Ну а ты чего? — Евдокия жевать бросила, слушает.

— Так детки у него. Двое. Подумала, подумала. Не пошла на детей. Мужик-то он неплохой, и врач уж очень хороший. А все равно не решилась. Жалела его — это правда. Он когда еще говорил: вот войдут в Ленинград, меня с девочками первыми расстреляют. Я еще, дура, не верила: думала, все под немцем одинаковые.

— Ихняя нация, — Евдокия сердится, — хоть от немца... А наша все больше — от себя. Воистину сами себе — первый враг. Чужие-то только задумать успеют, а мы уж, глядь, и сделали. Против немцев-то мы — герои. Вот бы так — против себя...

— Ну как же можно! — Ариадна прямо расстроилась. — Сама не знаешь, что говоришь. Грех с немцами сравнивать!..

— А ты, — ворчит, — прислушайся. Ежели своего ума не хватает... Ладно. Хватит чаевничать. Ребенку гулять пора.

На улице совсем распогодилось.

— Ну, — бабушка Евдокия спрашивает, — дойдем до мостика? Поглядим, вдруг елки привезли?

Подходим, а с той стороны — загородка. За ней елки, лапами топорщатся. Дядька чужой караулит.

Елки худые, тощие. Иглы на землю рассыпались. В лесу другие, пушистые — как на картинке.

Бабушка говорит:

— Ох и елки! Откуда ж они берутся такие — палки одни... Уж не знаю, — сомневается, — что и делать. Может, взять, пока народу мало. А то с работы пойдут и эти расхватают.

Дядька калитку открыл: «Выбирайте».

Ходим меж елок, смотрим. Бабушка Евдокия сердится:

— Елки-то мертвые... В прошлом году, что ли, срубили?.. — Выбрала вроде. — Эту, — велит, — давай.

Дядька ловкий: петлю на елку набросил, спеленал. На санки кинул — везите.

— Вот, — бабушка говорит, — дотащим с тобой, под лестницу и спрячем: мне на этаж не поднять. Мать с работы вернется, пусть сама тянет...

— Ну, — бабушка Гликерия встречает, — где ходили, что видели?

— Елку, скажи, купили, под лестницей спрятали. Насилу и выбрали. Иголки так и сыпятся, будто год у них пролежала.

В комнату пошла, цветные карандаши достаю. Бабушка Ариадна кивает:

— Молодец. Елочку красивую нарисуй.

*Красивая елка, пушистая. На ветках шары большие, корзиночки конфетные. А между ними инвалиды безногие — на крючках. Им на том свете не больно. Висят, не мучаются, отдыхают..*

*Только место внизу осталось. Канал пририсовала. Решетка у него черная, и мы с бабушкой идем. А в санках у нас елка спеленатая, мертвая: год как пролежала. Это с того света отдали: сами поспразднуют и нам отдают. Глаза зажмурила — буквы большие вижу. Нет. Нельзя писать. Опять заругают.*



В кухню побежала. Бабушка Ариадна говорит:

— Очень красивая картинка! Все правильно: елку привезли, теперь разукрасим.

— Господи, — бабушка Евдокия заглядывает, — чего это у тебя там, в санках? Будто покойник какой. Чего, — говорит, — улыбаешься? Вот так-то и возили в блокаду. В рогожу завернут, на санки положат и везут. Идешь, смотришь: маленький, значит, ребеночек. Сколько их в первую зиму-то свезли...

— Во вторую, — Ариадна вздыхает, — не меньше.

— Больше, — ворчит, — меньше... Кто ж их тогда считал...

\* \* \*

— Да-а, — Евдокия головой качает, — хорош...

— Там еще красненький был, да я этот выбрала. — Мама на диване разложила, любитесь.

Бабушки стоят, кивают:

— Еще бы! Красный — ни в какое сравнение.

— Шерстка мягонькая, — мама рукой гладит, — прямо как теленочек. Мы ведь до войны корову держали. Потом зарезать пришлось.

— Вот тебе и китайцы... — бабушка Евдокия вздыхает. — Раньше-то и не слышно про них: все японцы, да японцы. А они, гляди-ка, чему научились.

— Как это — не слышно! — бабушка Ариадна застывает. — Китайцы — народ древний. Почти пятьдесят веков.

— Вот-вот... Еще пятьдесят пройдет, глядь, и мы чему-нибудь научимся.

— Да нешто не умели! — бабушка Гликерия руками всплеснула. — Всё мы умели! Раньше какую красоту делали: и вышивки золотые, и кружева... Блузки плетеные, шляпки, рубашки шелковые, подзоры — графиня моя, покойница, нашу работу предпочитала...

— Ой, — вспомнила, — ленты-то! Я же ленты еще купила.

— Прямо и не знаю, — бабушка Гликерия ленты разглаживает, — форменная принцесса... Самой-то как, нравится?

— Ладно, — мама говорит, — вы уж наряжайтесь, а я картошки почищу.

— Ну, — бабушка Евдокия командует, — скидай платье.

— Вот, — Гликерия в кухню выводит, — пусть мать-то полюбуется.

— Батюшки! — изумляюсь. — Чья же это девочка такая в костюмчике — и не узнать! Неужто доченька моя рóдная?

— Она, — Гликерия радуется, — она. Вот ленты в голову вплетем, тогда и в театр можно.

Картошку слила, ужинать сели.

— Ну что там, — спрашиваю, — решили про телевизор?

— Решили, — Евдокия за всех отвечает, — вставай.

— А я вот, — створку оконную распахнула: холодно между окон — масло хорошо стоит. — По Гостиному шла, отдел у них большой — ткани. Ох, и материалов! И шерсть, и ситец, и штапель... Может, и мне какое сварганить, фланелевое? Мое-то совсем старое — светится на локтях.

— Что ж, — Евдокия отвечает, — дело хозяйское. Разбогата, гляжу.

— Ладно, — опомнилась, — это ж я так, на будущее.

— Да чего это я! — Евдокия спохватилась. — Совсем из головы вон. Елку сегодня купили. Под лестницей на санках привязана. Ты уж сходи, забери.

Посуду помыла, прислушалась: уснули вроде... Ладно, передохну маленько, потом уж притащу. Глаза закрыла: матери эти висят. И женщины ходят — щупают. Вроде сами и не молоденькие, а одеты хорошо. Видно, мужья зарабатывают.

Одна-то особенно. На пальто себе выбирала. Сама в шубе, а еще и на пальто. С родственницей, видать, пришли. Тоже богатая. Советуются. Подошла, посмотрела: батюшки, восемнадцать рублей за метр. Что ж это, зарплаты у них такие — по эдакой цене покупать?..

Вниз спустилась, а там — темень. Вот паразиты, думаю! Снова лампочку вышибли. Парни дворовые, хулиганят... Влезла под лестницу, нашарила. Все руки себе исколола.

Гликерия в комнату зашла. Стоит, мнется.

— Чего хотела-то... Фланель эта — почем, например, за метр?

— Так, разная, — отвечаю. — Которая с цветами да поплотнее — дорогая. По два сорок пять.

— Новыми?

— Конечно, — говорю. — Теперь всё — новыми.

Стоит, губами шевелит:

— Три метра — семь рублей, считай... А та, другая, что пожиже?

— Пожиже-то, — отвечаю, — бумазея, по рубль сорок. Совсем внатруску и маркая очень.

— Ты вот что, — в юбке пошарила, кошелек достает. — Теперь у меня рубль восемьдесят только. Пенсию на днях принесут. Съезди, купи два отреза, сама выбери, которая лучше. А я сошью — и тебе, и себе. Одинаковой только возьми: лоскутки останутся, передничек еще соберу.

— Сюзанночке? Ей-то, — говорю, — зачем? Неужто с детства к венуку прилаживать?

— А с какого же еще? Вырастет — поздно будет. Меня вон с каких в белошвейки готовили...

Смолчала, а сама думаю: женщин этих, небось, не приучали. Вот и выросли барынями. Жизнь-то, она зоркая — с самого детства примечает...

Спать ложиться стала, а сама считаю: костюмчик дорого встал. Думала, рублей шесть, а тут — девять восемьдесят. Считай, все десять. Снова сверхурочные придется... Мастер уж и смеется: «Ох, и жадная ты, Беспалова! И сама вроде получаешь, и премии опять же, и у матери твоей пенсия — неужто не хватает? Девку свою на золоте, что ли, кормишь?» — «Ага, — отвечаю, — Игнатий Михалыч, на золоте да на серебре». Кому это объяснишь, что четверо на шее? «Принцессу, — говорит, — рбстишь? Ты уж, — говорит, — прости, если не так скажу. Женщина ты молодая. Может, и замуж выйдешь. Это ведь как случай подвернется. А семья любому нужна». — «Да кому я, — смеюсь, — сдалась? Немолодая, да с таким привеском?» — «Не скажи, — хмурится. — Вон Николай с гальваники. Я уж давно замечаю — приглядывается он к тебе. А чего? Мужик он хороший, скромный: не курит, не пьет почти. Вот я и говорю: ты хоть голову, что ли, прибери, оденься как следует, а то ходишь — чумичка чумичкой. Вдруг и сладится у вас...»

Вот-вот, думаю: вдруг — под рундук...

Створку распахнула, а зеркало плохое, мутное, едва видеть. И лицо-то у меня серое, и синь под глазами. «Что ж это, — гадаю, — за Николай такой?» Вроде всех перебрала с гальваники. А нет, не вспомню...

*Глаза открыла — мама у створки стоит, причесывается. Снова на тот свет собирается. Там хорошо, празднично...*

*Расческу отложила. Вытерла слезки...*

\* \* \*

— Может, — бабушка Ариадна кряхтит, — в землю бы и лучше? Насадить на крестовину и — в песок.

— С крестовиной-то разве пихнешь? Ведерко больно маленькое, — бабушка Евдокия елку держит, примеривается. — Песочку на дно подсыпем и — ладно. Как запрошлый год.

— Ты-то хоть уйди, не крутись, — бабушка Гликерия отгоняет, — ручки себе наколешь.

*Иголки так и сыпятся. Нагнулась, с полу подняла. Иголка рыжая, ржавая. Будто гвоздик маленький...*

— Батюшки! — Гликерия вскрикнула. — Смотрите, палец себе распорол!

— Йодом надо, йодом! — Евдокия к шкафчику кинулась. — Елка-то грязная, незнамо где валялась...

Намазали, бинтом замотали. Бабушка Ариадна к дивану повела:

— Сиди смирно.

*Сижу, глаза закрыла. А палец наколотый болит. Вот засну, думаю. А иголка эта ядовитая. Через сто лет проснусь...*

*Бабушка как говорила? Через двадцать лет кончится. Проснусь, а ничего нету. Только эти лежат, огромные, каменные. На куски рассыпались, ногами пустыми шевелят. А ведьма злая в карете едет. Глядь, а куски-то рассыпанные — никак не объедешь... Палку свою взяла, Ворона Вороновича погоняет. А он и рад бы, да проволоки железные торчат. Тащит, тащит, а они за ноги цепляются... А ведьма ему кричит: «Взлетай!» Вот он крылья распустил. Летит, сверху смотрит: девочка уколота спит. А вокруг пусто: все на тот свет ушли, и бабушки, и мама... Проснется, оглянется: одна она осталась. И нету у нее никого...*

— Батюшки-светы, — бабушка Евдокия елку бросила, ко мне идет. — И чего это ты расплакалась? Кто ж тебя обидел?

Полно, голубок, слезы лить. Болит пальчик-то? — Села, обнимает.

— Это она думает: наказали ее.

— Да кто ж тебя накажет? Посиди, — говорит, — тихонечко. Пальчик пройдет, станем елку наряжать.

*Бабушка Евдокия пахнет сухо, сладко. Уткнешься — и не страшно. Ничего, что одна. Я к ним на тот свет приду. Поживу маленько и приду...*

— Ну вот, — бабушка Евдокия говорит, — и высохли твои слезы. Слезай-ка с дивана, тапки надевай...

— Ох, — Гликерия озирается. — А на ноги что? У нее ж тапочки, да валенки, да ботики старые — на осень. А в театр туфельки надо — в валенках-то не пустят. У барыни моей, ох, и туфли были! Вышитые... Я и вышивала.

— Правда, — Евдокия задумалась. — Невестка в туфлях ходила. Тоже барыня... Бурки-то не наденет. В своем магазине брали — для партийных. Я ей: «Хорошо, — говорю, — живете. Будто особые. Видать, из другого места родились». А она мне: «Это, — мол, — за партийные заслуги». А я: «Ну-ну, гуляйте, пока воля ваша. Все, вишь, у вас особое. Кроме смерти». А она смеется: «Нам, — дескать, — смерть не ко времени... Ну ее к богу, эту вашу смерть»...

— Была б у меня колодочка, мигом бы сварганила, — Гликерия раздумывает, прикидывает. — Кожи только найти на подошву. Хоть бы какой кусочек».

— Во-во, — Евдокия опять недовольна. — Тебе волю дай — и станок ткацкий притащишь... Матери сказать надо. Пусть в магазине посмотрит. Мало ли, может, всем теперь продают...

— Гостиный, — Ариадна вступает, — большой. У отца магазин был. Бывало, покупатель чем-нибудь интересуется, а в магазине этого нету, так они на склад сходят, посмотрят. Склад тоже близко — прямо за Думой...

— Баловство все, — Евдокия как отрезала. — И в валенках посидит. В театре в вашем... Я-то про другое думаю: Антонина, ох, неспроста завела! Про платье-то про это. Как бы с кем не снюхалась... А то гляди...

— Ну и что такого? — Гликерия заступается. — Дело молодое — ниткой не зашьешь.

— Если что, пусть к мужу уходит, лишь бы Софья с нами осталась, — Ариадна шарик серебряный взяла.

— К мужу! — Евдокия головой крутит. — Это б еще полбеда... А в подоле принесет?

— Так объяснить надо. По умному сделает — ничего и не будет, — Гликерия корзиночку отложила, за птичку взялась.

— Ты-то откуда знаешь?

— Так чего? Дело ведь нехитрое. Мне Соломон Захарыч все разъяснил.

— Ну?! — Евдокия руками всплеснула. — Давай-ка и нам разъясни.

*Шепчутся, шепчутся. Ничего не разобрать.*

— Да-а... Ну ты, Гликерия, и шлюха...

— А ты у нас, — бабушка Гликерия покраснелась, — жизнь прожила, а все гляжу — девка.

— Девка — не девка, а себя соблюдала. Родила, сколько бог послал.

— А я вот, может, и радуюсь, что нету у меня детей. Чего на смерть рожать?

— Дура ты! — Евдокия аж притопнула. — Баба-то бездетная — пустоцвет.

— Ничего, — платок с головы сняла, волосы пригладила. — Господь, Он ведь все видит: внучку послал на старость. Правда, — оборачивается, — Софьюшка?

*Правда. Как в сказке про Снегурочку... Она еще в небо улетела, когда с детьми чужими играла. Они в лесу соби-*

*раются, песни свои поют. Про кораблик, про синие ночи. По радио всегда передают. А в яме костер горит, жар подымается. Снегурочка тоже сперва боялась: не буду, думает, прыгать. А пионеры кричат: прыгай, прыгай! Она и прыгнула...*

Евдокия стул подолом обмела.

— Может, — говорит, — и твоя правда. Рожаем, а не знаем, как им потом пропадать...

*За стол села, бумажки перекладывает. И монеток целая горка. Которые помельче — серебряные, а другие, побольше — рыжие. Это такая пенсия. Почтальонка приносит. Сама большая, ноги у нее толстые, и сумка через плечо. Приходит и сразу в комнату. Везде наследит, а бабушки ее не ругают.*

Евдокия сидит, прикидывает:

— Не привыкну к новым-то деньгам. Обещались, будто не потеряем. А теперь гляжу: раньше рублей пятнадцать за елку платили, а этот год — два. Если старыми, вроде пять рублей переплачиваем. Вот я и думаю: то ли я дура непонятная, то ли они шибко умные — мимо рта не пронесут...

— Хлебушек-то ничего, — Гликерия вступается, — слава богу, не вырос. Как был рубль сорок, так и есть. Четырнадцать копеек по-новому.

— Ну поглядим еще, — кошелек закрывает, — как оно дальше пойдет.

\* \* \*

Молоко в перерыв выдали. Бутылку взяла и — в раздевалку. Как раз мимо гальваники. Заглянула, будто бы случайно. Вспомнила его: невзрачный такой. Тоже меня заметил. «Ну



и ладно, — думаю, — мне-то чего... Заглянула и заглянула: за погляд денег не берут»...

Молоко в сумку спрятала. Сегодня можно, Федосьевна на проходной. Она баба хорошая: по сумкам у нас не шарит. Другие чуть не ощупывают. Выносить-то нельзя. Сами, велят, пейте. Кто бездетные или замужние — сами и пьют. Раньше тоже пила, а последнее время воротит. Прямо тошнит от этого молока...

За проходную вышла, гляжу: догоняет. «Как, — спрашивает, — дела?» — «Дела, — говорю, — все при мне — сами собой не переделаются». — «А чего ж неприветная такая, раз дела твои при тебе?» — «Да устала чего-то, — отвечаю. — После смены, так прямо сил никаких». — «Так, — смеется, — значит, отдохнуть пора. В кино-то любишь ходить?» — «В кино, — говорю, — я уж находилась». А сама думаю: на всю жизнь.

«Зря ты, — пеняет, — Антонина. Я к тебе не как-нибудь, по-хорошему». — «Ну, — говорю, — прощай покуда. Мне в Гостиный».

На троллейбус села, а в окошко гляжу: вон он стоит. Рукой мне машет. Не то чтобы, думаю, невзрачный: улыбнется — вроде и ничего себе.

По Невскому еду, а сама все думаю: уж покупать, так чего поярче. Или, может, цветами... Вон Надька Казанкина летом-то явилась — цветы крупные, оранжевые. Рукой проведешь: чистый шелк. Штапель, еще хвастала. И по подолу — кайма. Господи, вспомнила, мне же одинаковой наказали: Гликерия в цветах не наденет.

Штапель, конечно, дороже. Надьку сегодня видела, да постеснялась спросить. Совсем на смех подымет: бабе под тридцать, а туда же — в штапели наряжаться. Потом-то отговорюсь как-нибудь: мать, совру, подарила. Не откажешься от материна подарка.

Да вон же он висит! Подойти, думаю, прицениться.

Гляжу, женщина нарядная, с продавщицей разговаривают:

— Если на платье, тогда, конечно, «Аврору». Лучше ничего нету — чистая шерсть. Дорого, но и сносу не будет. Сто лет пронесите, а все как новое. На платья ее, на юбки берут, мужчинам на костюмы.

Мимо прошла, на цену глянула — аж в глазах потемнело: двадцать шесть рублей. Неужто, думаю, новыми?

А женщина нарядная кивает:

— Пожалуй, темно-зеленой возьму. Два с половиной метра.

Продавщица улыбается, будто себе на платье выбрала. Принесла, пустила по прилавку. Материя-то огнем горит, светится прямо. Ну и пусть, думаю... А я штапелья куплю.

— Все, — ко мне повернулась, — вывешено. — Плечиком пожалала: — Выбирайте. Вам, — оглядела меня, — нарядное или на каждый день?

«Нарядное, — думаю — нарядное».

— Нет, — отвечаю, — на каждый день.

Приблизилась, а штапель этот: три двадцать. «И пусть, — не решаюсь пока. — Гликерии не стану признаваться, а разницу сама доложу». Стою — глаза разбегаются: вроде все нарядные.

— Мне, — указываю, — на два платья режьте. Вон в этот цветочек.

Домой вернулась.

— Ну, — Гликерия торопит, — разворачивай.

Развернула, по кровати раскинула: цветочки маленькие, маки. Пестрят по синему полю. Гликерия как увидела — за сердце взялась:

— Ох, — вздыхает, — красота неопишуемая — хоть сейчас помирай. Завтра же, — обещает, — начну. Мерки только снимем. А ты вот чего...

— Чего, — удивилась, — пуговиц, что ли, купить?

— Нет, — головой качает, — есть у меня пуговицы. Завтра машинку достану, мигом сошью.

— Может, — засомневалась, — нехорошо одинаковые... Вроде как из детского дома.

— Батюшки, — на меня машет. — Да неужто я носить стану? Это ты носи.

— Зачем же шить, если носить не будете?

— А как же, — говорит, — в старье? В старье, небось, не предстанешь. Вот сошью, в шкафчик к себе запрячу. Пусть пока полежит. У меня уж все приготовлено: и подушечка, и подзор.

«Господи, — думаю, — как же я платье это надену? Молчала бы уж лучше... А то будто и мне — в гроб. Знать бы, разной материи купила. Ох, — вспомнила. — Она ж и передничек собиралась, Сюзанночке, из лоскутков. Ну уж нет! Я-то еще ладно, а ребенка — не дам. Сошьет — на помойку выкину или — еще лучше — спалю. Будто и не было. Нечего ей ходить в гробовом».

— Я ведь чего хотела... — стоит, не уходит. — Жизнь наша, она ведь по-всякому складывается. Пока молодая. Мало ли, кто-нибудь понравится или ты ему. В жизни всяко бывает, а головы не теряй. Одну, бог даст, мы уж вырастим, а более не в силах. Вот и слушай: мало ли, до чего у вас дойдет, а ты ук-сусу загодя купи или аспирину. В воде раствори. Возьми клочок ваты — ниткой перемотай да в воду эту и окуни. Вату-то заранее пихнешь, а нитка длинная — наружу высовывается. Вот кончится у вас, а ты помни: минутку-другую подожди да и вытягивай наружу. Поняла ли? — спрашивает.

Я глаза опустила. Киваю: «Поняла».

Стою, а сама думаю: «Батюшки, стыд-то какой... Кто ж это все выдумывает? Неужто и другие пользуются? Нет, — думаю, — не может этого быть...»

На кухню вышла, а самой глаз не поднять.

— Вы, — говорю, — молоко-то перелейте.

Сюзанночка за столом сидит, сырок свой разворачивает. Любит эти — творожные.

Евдокия обернулась:

— Возня с этими бутылками. И страху натерпишься, пока через проходную-то. Взяла бы хоть, что ли, грелку. Пробкой закрутила, пихнула под платье — и иди свободно. В блокаду вон, рассказывали, одна на хлебзаводе работала, так теста под груди налепит и идет. Охрана по бокам прохлопает, а под грудь не догадывались. Обоих детей спасла.

— Так, — сомневаюсь, — резиной завоняется, разве станете пить?

— Ничего, — рукой машет, — не баре. Прокипятим, и выдохнется. На кашу-то и сгодится, а ребенку магазинного купишь.

\* \* \*

Баня далеко, на Фонарном переулке. Зимой лед, сугробы страшенные — старухам не дойти... Так-то ничего: и раковина тут, и плита. Газом прогреем, на плите ведра кипят. Снизу бадейка с холодной. Грязную в раковину сливаю, тоже удобно. А в бане устаю. Пока всех перемоешь — ни жива ни мертва сделаешься. Дома всяко лучше...

Ведра греться поставила.

— Готовьтесь, — говорю. — А я постельное поменяю.

Раз в две недели меняем — не настираешься чаще.

Гликерия пошла, посмотрела:

— Пододеяльник вроде не грязный. Ты наволочку мне только смени да простынь.

Стелить стала, прямо как ожгло. Разговор-то она завела... Неужто прознали бабки? Нет же ничего...

Бабушка Евдокия зовет:

— Иди, голубок, голову расчешем, а то после бани высохнут — одни колтуны. В воскресенье-то в театр — не забыла.

Бабушка Ариадна отвечает:

— Конечно, помнит. Про принцессу Аврору. Поваренок помнишь какой! Так и заснул у плиты...

Мама чистое белье несет:

— Принцесса... А я и не поняла сперва: в Гостином шерсть продают — тоже «Аврора». Прямо, говорят, сносу нет. На сто лет обещают...

Грязное белье собрала, ушла.

Бабушка Евдокия гребенку отложила — прядки разбирает.

— Ишь, — ворчит, — на сто лет, значит... На век цельный рассчитывают. Ладно, поглядим... Царское-то разворуют, а дальше чего делать?.. Ну, что вертись? Смирно стой, не вертись!

В кухне жара — белый пар от ведер. Конфорки горят. Лампа под потолком желтая — еле видно. Качается на шнуре. По потолку тени, как крылья. Окна темные, потные, змейки по стеклам.

— Ну давай, — мама ковшик взяла, воду в ведре шевелит. Плеснула на плиту — она и шипит, как змея... — Вперед голову над тазом. Ох, — жалуется, — волосы какие густые — в одной воде не промыть. Вырастешь, гляди, береги — отхватить-то недолго. Вон девки у нас в цеху — все поотрезали, завивку модную навертели: перманент. Раз сделаешь, другой, а потом и полезут клочьями. В коротких-то ничего нету — ни памяти, ни силы. Раньше ведь как говорили: короткий волос — короткая память. А зачем тебе короткая? У тебя до-олгая будет...

Окатила, в корыто поставила, мочалкой мыльной трет.

Бабушка Евдокия заглядывает:

— Ох, и натопила! Ну, скоро у вас? Я уж все приготовила — одевать.

— А мы и заканчиваем... Разок ополоснемся — и будет с нас. Эх, с гуся вода, а с Сюзаночки худоба! — подхватила, на табуретку поставила. Полотенцем вытирает, дышит часто. — Вот вам девочка чистенькая — принимайте.

Ковшиком корыто вычерпала, ополоснула.

— Ну, решайтесь, которая первая.

Евдокия говорит:

— Одну, уложу — потом уж. Пусть Гликерия сперва.

Пришла, разделась. Худая, все ребра наружу. Над тазом склонилась, титьки тряпочками висят. Глядеть страшно, прямо как смерть. Сколько лет мою, а все не привыкну. Мать-то, покойница, жилистая была. Городские эти — будто выболевшие.

Голову подняла.

— Чего, — спрашивает, — смотришь? Сама такая будешь, как время придет. Так-то день за днем, они и тянутся вроде. Обернешься — вон же она стоит, смерть. Всякий день Господа молю, пусть бы прибрал в одночасье...

— Кушать, — утешаю, — вам надо. Что ж вы такое: все чай да чай...

— Да я, — дышит тяжело, — кушаю, только тело уже не принимает. Зажилась, видно, на свете — девочка одна и держит.

Бабушка Евдокия кровать распахнула.

— Ложись, — говорит, — пока. Из театра в воскресенье вернешься, а там и Новый год. Наступит, глядь, а у нас уж все готово. Мать пирогов обещала. Мучки новой получим, напекет. Пирожки мягкие, сами в рот прыгают. А за ним и другой праздник — Рождество... А дальше и весна близко — жаворонков станем печь. Напекем, в церковь с тобой ходим: надо и нищих угостить. Не все, как мы, счастливые, чтобы умереть в спокойе. Таких-то мало...

*В церковь пойдём, а эти, с ножищами каменными, на-  
встречу: идут, смеются. «Вон, — пустыми пальцами  
тыкают, — нищенка, а была — принцесса. Мы, — хвас-  
тают, — все у нее украли». А бабушка ее пожалеет, жа-  
воронка даст...*

— Я-то, — бабушка Евдокия жалуется, — грешница. Мно-  
гих возненавидела. Вот Он и держит меня, не пускает поме-  
реть. Дождается, видно, пока сердце мое отмякнет, будто ка-  
кой сухарь. На тот свет-то надо размякши, а как, — гово-  
рит, — забудешь? Душа-то, небось, не тело: мылом не  
отмыть...

— Ты, Тонечка, — Ариадна просит, — спину мне потри хо-  
рошенько, а то самой не достать.

«Господи, — думаю, — спина у ней, видно, чешется — сов-  
сем нежная кожа».

— Вы, — говорю, — Ариадна Кузьминишна, сами не расче-  
сывайте — вон следы от ногтей...

Вытерлась, голову полотенцем завертела — к себе пошла.  
Евдокия заходит:

— Проветрить тут надо. — Носом повела: — Грязью быстро  
пахнет. Страсть не люблю эту вонь...

— Как же, — спрашиваю, — откроем? Вмиг с улицы высту-  
дит. Кашель еще подхватите — на улице-то мороз.

— Ладно, — рукой махнула, — так помоюсь. Я уж сама по-  
тру, ты только слей.

Разделась. Вроде и в теле, да, гляжу, ослабла совсем. Про-  
шлый год крепче была. Сливаю, спрашиваю:

— Как же вы в больнице терпели, если грязью человече-  
ской брезгаете? Больные-то сильнее воняют.

— Да там, — отвечает, — холодно. На холоде и вонь  
слабже...

Всех намыла, в комнату пошла, прилегла на кровать. «Вот платье-то будет, может, и я в театр схожу. Сколько лет в городе живу, а ведь так ни разу и не бывала».

Сюзанночка не ворохнется. Намылась, крепко спит.

\* \* \*

— Вот, гляди, — бабушка Гликерия мешочек подает, — тут тебе и сахарок, и булочки кусочек. Проголодаешься, скушай, только смотри, потихоньку, чтобы другим не мешать. А мало ли бабушка Аглая чего предложит, так ты откажись. Кто их знает, какая у них еда, в этих театрах...

Шапочка мягонькая. Рейтузы розовые из-под пальто. Бабушка Евдокия говорит

— Отведу и вернусь.

— Вы уж не спутайте, — мама боится. — Прошлый раз в конторе давали, теперь — в подвал пойдем.

Двери высокие, деревянные... Зашли, а бабушка Аглая поджидает.

— Ну, — приглашает, — идем со мной, я тебя на лучшие места посажу — как принцессу.

Коридор длинный.

— Пошли, — за руку ведет, — в директорскую ложу попробуем. Только сходим за сцену. С ведущей договориться.

По лесенке поднялись.

— Осторожно, — говорит, — чтобы не споткнуться.

Голову подняла, а наверху веревки толстые: шевелятся, будто змеи... И дядька страшный навстречу. Борода рыжая, растрепанная...

— Это, — объясняет, — артист. Много их тут ходит.

Гляжу, стена мимо ползет. Артисты эти ухватились: кричат, тянут.



Бабушка Аглая говорит:

— Это у них декорация. Видишь, деревья нарисованы и дом большой. Вот заснут все, а лес этот и поднимется. Все кругом зарастет — сама увидишь...

Женщина в уголке сидит, в платок закуталась.

— Вот, Александра Дмитриевна, — бабушка Аглая в спину меня подталкивает. — Внучка моя. Двоюродная. Позвольте в директорскую ложу...

На меня поглядела:

— Хорошая девочка... Первый раз в театре?

Бабушка Аглая к ней склоняется, шепчет, шепчет, на горло свое показывает. Болит у нее, верно.

Женщина в книжку заглянула.

— Боже мой... — Головкой качает. — Конечно, сажайте, Аглая Михайловна. Утром никого не ждем...

Комнатка маленькая, стулья красные стоят, между ними столик. На столике коробка нарядная.

— Возьми конфетку, — бабушка Аглая угощает. — Да не стесняйся. Очень вкусный шоколад. Вчера за гостями закрыла — одну попробовала. Прямо тает во рту...

*Конфету в рот сунула — разжевала. Сладко во рту. Наружу выглянула, а там огни горят. Люстра на потолке, будто елка. И стены такие высокие... А балконы все золотые, прямо до потолка. Всюду люди. Сидят, бу-мажками белыми обмахиваются...*

*Свет гаснет, гаснет... Занавес движется, дрожит...*

*Девочку маленькую вынесли, кладут в колыбельку. Феи нежные, прозрачные. Платья у них как перышки, а за спиной — крылья. Танцуют, крыльшками трепещут... А музыка вокруг темная. Вон же она... колдунья... Вороны Вороновичи везут, карету перед собой толкают. Ручищи у них когтистые. А она из кареты вылезла — прыгает, грозит...*

В подвал спустились. Народу как сельдей в бочке. Тетка сквозь очередь пробивается — номера на руках пишет. «Мне, — говорю, — на обеих пишете — у нас запаздывает одна». — «Видали, запаздывает у них... Вовремя приходит надо: так-то все себе понапишут...»

Стены низкие. Окошки фанерой заколочены. Душно — не продохнуть. Впереди ребенок заплакал. Ариадна платок сняла — испарину со лба стирает. «Часа три, — шепчет, — стоим»...

Голова у меня болит, будто гвозди в нее заколачивают. Голоса громкие, никак не уймутся...

«Да как я приведу — он у меня лежачий!» — «А вы бы справку заранее — из поликлиники. Дескать, не встает. Я вот взяла. Обещали по справке». — «Мы на 6-й Советской жили — там-то знали нас, выдавали безо всяких...» — «Мало ли что — на Советской...» — «В конторе, там хоть свободнее — совсем задохнемся». — «А к ноябрьским на улице стояли — замерзли». — «Теперь вот спаримся — в такой-то духоте».

Вперед поглядела: головы одни. И сзади совсем напирают. Обернулась, Евдокия к нам пробивается — платок совсем сбившись. «Ну как? — спрашиваю. — Не плакала?» — «Чего ж ей, — едва дышит, — плакать... С охотой пошла»...

К столу приблизились — тетка пальцем тычет, считает. «Четверо? — переспрашивает. — Пятеро же по книге. Ребенок еще прописан. Болеет, что ли?» Ариадна кивает: «Болеет». — «А справка у вас есть? Без справки и не надейтесь, не выдам». — «Какая ж справка, — Евдокия вступает, — воскресенье сегодня. Врач-то не ходит». — «Ходит — не ходит... Чай, не помирает у вас. Закутали бы да привели». — «А это уж, — Евдокия говорит, — наше дело. Ты свое знай — выдавай».

«Ишь, болеет она...»

Соседка нижняя — сзади нас.

«Видела, — говорит, — сегодня. Вон, — на Евдокию пальцем указывает, — девчонку-то вела. Врут, врут... Изоврались все. И чего врать-то?» — «А ты, — Евдокия к ней оборачивается, — рот-то свой засмольчи. Тебя, небось, не спросили». — «Вида-али, — так и вскинется, — сука, блядь, рот мой, вишь, не нравится! На себя погляди да на выbledков своих: им-то рты поганые позабили, гляди, и до тебя доберутся! Под корень вас, под корень — под нож!» — «А ты, — Евдокия чернеет, — на целый век изготовилась — вроде тебе-то не помирать...» — «Я-то помру-у, да дети-внуки останутся, а твои в могиле гниют. Ну? Где они? Нетути...» — Пальцы выпростала, вертит...

Пакеты бумажные, большие. В две сумки нагрнула — так сподручнее. На улицу выходим — у Евдокии губы синие: стоит, воздух ловит. «Тошно, — жалуется, — голову сжимает, и ноги не свои...» — «Господи, — говорю, — Евдокия Тимофевна, на всякую дуру мучиться... Главное, муку взяли». Стоит, за трубу держится — черная совсем...

*Музыка слабая, бежит ручейком. Занавес подняли. Хорошо на том свете. Выходят, на паперти у себя рассаживаются. Конфет шоколадных накушались и рады. Неужто и этот с ними? Ох, жду, сейчас на санках своих приедет...*

*Да вон же он, голубь. Высокий, синий. А руки у него — крылья. Перьями все покрылись. Он как прыгнет! Значит, и ноги отрасли. Только клюва пока нету... А зачем им клювы? Руки-то тоже отрасли...*

*Гости танцуют, кружатся... Платья на них шелковые, алмазами убранные. По краям камня сверкают. Принцесса меж ними ходит — улыбается. Про жизнь свою прошлую не помнит. Проснулась и забыла...*

## II

### Дочь

Я старалась вспомнить, но память упиралась в глухую стену: ворота, грязно-белая лошадь, темный деревянный гроб. Платья я тоже не запомнила, но у бабушки Гликерии было такое же, вот мне и кажется, будто я помню.

А еще я боялась, что не стану настоящим художником. Так говорила Лариса Евгеньевна: настоящий художник должен помнить самое раннее детство.

Тогда я бы все рисовала по-другому, а так меня всегда ругали: за нарушенную перспективу, за то, что не добиваюсь портретного сходства, за неясность замысла. Лариса Евгеньевна учила, что замысел должен быть четким и ясным, чтобы ни у кого не возникло вопросов, особенно у приемной комиссии. К ее замечаниям я прислушивалась: верила, что она желает мне добра. В сущности, так и было. Она учила меня художественным приемам, правила конкурсные работы — я очень страдала, но не решалась возразить. Разве я могла сказать, что ее правка все портит, нарушает самое главное, ведь она была моей учительницей. Если бы не Лариса Евгеньевна, мне не удалось бы поступить.

Никакая комиссия не признала бы работы, в которой нарушена перспектива, как будто мир поделен надвое: верх и низ. Однажды, когда во Дворце готовили выставку, я попыталась объяснить, что вижу линию, которая идет от края до края — по самой середине листа. То, что внизу, должно оставаться мелким: для этого и нужна перспектива, чтобы оно уходило вдаль. Но там, наверху, все поворачивается, подступает ближе, чтобы мы видели, как оно всплывает обратно — из глубины. Если нарисовать по правилам, так, как полагается, все важное станет плоским — уйдет в землю.

Лариса Евгеньевна выслушала, а потом позвонила бабушкам, и бабушка Евдокия меня ругала: зачем болтаю глупости, возьмут и свезут на Пряжку. Сперва я ей не поверила, но потом бабушка Ариадна рассказала, что Лариса опасается нервного расстройства и, если это в ближайшее время не прекратится, советует показать меня психиатру, иначе им самим придется вмешаться.

После того случая я молчала, рисовала правильные картинки, с которыми и поступила в Мухинское училище.

Потом я еще долго боялась, так что настоящие работы появились позже, когда я стала выставляться на квартирных выставках. Там они уже никого не удивляли.

В те времена многие увлеклись иконописью, спорили о каноне, о ликах, о небесной дуге. Изучали старые приемы, пытались понять, почему художник использует ту или иную краску: киноварь, золотистую охру или разбеленный краплак... Оказывается, это тоже определялось канонами: я помню, как рассказывал Гриша, — мне до сих пор нравятся его ранние работы. Он искал ракурс, отображающий картину мира — такой же точный, как у византийцев, которые видели вселенную как храм. Жаль, что потом он увлекся инсталляцией, но тогда мы обо всем разговаривали, и я пыталась объяснить, почему канон не имеет отношения к моей жизни — мне трудно следовать традициям, в которых нет ничего личного: своей памяти...

Гриша возражал, говорил, что я преувеличиваю значение личного, и это мешает делу.

Я старалась изучить древние традиции, но они казались мне мертвыми, пока я не увидела одну египетскую картинку. Женщина на берегу ручья. Эта картинка меня поразила, ведь обычно египетские художники изображали батальные сцены, всемогущих фараонов. Их специально рисовали огромными, а остальных маленькими, чтобы у зрителя складывалось впечатление, будто они распоряжаются своими подданными: их жизнью и смертью.

А тут — просто женщина на коленях: ползет по берегу ручья. Сначала я подумала, что она тоже жена фараона: сверху была надпись иероглифами — я не могла прочитать. А потом нашла перевод. Душа усопшей пьет воду в потустороннем мире. Я все время о ней думала, когда готовила к выставке свою первую работу. Нарочно сделала ее черно-белой. Грише моя работа понравилась, он даже придумал мне прозвище: Ручеек. Я еще решила, что из-за фамилии, но он сказал, что фамилия — не главное. Ему просто понравилась женщина, написанная в египетской традиции: по их канону фигура и лицо изображались в боковом ракурсе, а глаза смотрели вперед... Как будто жили сами по себе, независимо от тела. Гриша говорил, что я нашла точный образ.

А однажды к нам пришел Алеша Рубашкин, совершенно бледный, и сказал, будто слышал своими ушами: москвичей, которых давили бульдозером, собираются посадить. Конечно, не сразу, а тихой сапой, а потом Гриша выпил лишнего и стал кричать, что ему осточертели старые большевички и большевички, когда ж эта чертовщина кончится?..

Не знаю, что мне пришло в голову, наверное, я хотела его утешить и вдруг сказала, что обязательно кончится, правда, не скоро, а через семь лет... Алеша обрадовался, принялся считать на пальцах: получилось в восемьдесят третьем. А Гриша стал мрачный и говорит: «Нет, Сюзбн... Оно никогда не кончится», — и вскоре уехал в Америку. А через много лет мы встретились на выставке, и оказалось, он помнит ту давнишнюю историю: «Надо же, и ошиблась-то на пару лет... Признайся, Ручеек, откуда ты знала?..»

Конечно, это была шутка: откуда мне было знать? Гриша и раньше меня ругал, говорил, что в нашей стране нельзя не интересоваться политикой, а я отвечала, что ему просто повезло с родителями, они не боялись рассказывать, а мои бабушки молчали. Даже друг с другом ни о чем *таком* не разговаривали: только о домашних делах.

Гриша звал меня с собой, говорил, что я талантливая хужница, а здесь мой талант зачахнет, но я не решилась. Мне очень хотелось с ним уехать, но что-то удерживало: мне казалось, если уеду, так и не узнаю правды. Почему у меня не было отца? Как случилось, что они расстались и мама вышла замуж за отчима? Ведь здесь же нет никакой политики, но бабушки все равно молчали.

Конечно, я могла спросить Николая Никифоровича, но как-то не решилась. Думала, все равно не знает правды, а если и знает, не расскажет. Не говоря уж о Зинаиде Ивановне: у нее каждое слово — ложь. Разве я не помню, как она кричала бабушкам, что это мама женила на себе Николая, а бабушки, старые ведьмы, еще и колдовали, только ничего бы у них не вышло, если бы не хитрый еврей... Вмешался и все придумал.

Какой еврей? Откуда она взяла эти сказки? У бабушек вообще никого не было: ни знакомых, ни родных...

### III

## Мать

«В некотором царстве, не в нашем государстве жил-был царь Иван Васильевич, у него был большой сын Василий-царевич, а второй был сын Димитрий-царевич. Вот вырос старший, так надо его женить. Ну, нашли наконец невесту хорошую, работающую, да только успели повенчать, он наутро и исчез. Приходит Димитрий-царевич к отцу и говорит: “Благослови меня, отец родной. Поеду на поиски брата”. Тот, делать нечего, — благословил.

Оседлал коня да в путь и отправился. День едет, другой едет — одна степь. Снегом голым покрытая. Подъезжает, глядь, а там шатер: сам белый, и вокруг белым-бело — раски-

нули среди снега. А в шатре Василий-царевич, брат его рѳдный — спит-поспит мертвым сном. Вот Димитрий-царевич и думает: “Убью-ка я его сонного, а все добро да невесту его хорошую себе и заберу”. Сказано — сделано: убил он, значит, своего брата, косточки его закопал да обратно направился. Только пальчик ему напоследок отрубил...»

Мама в уголке сидит, прислушивается.

— Господи, — говорит, — какая страшная сказка. На ночь бы, может, и не надо...

Бабушка Евдокия губы поджала:

— Страшная — не страшная... Какая уж есть. Других-то не знаю. Что мне сказывали, то и я говорю... Ладно, — поднялась, — засыпай покуда...

Только уснула, опять приходит.

— Вставай, — зовет.

На кухню повела — прямо в рубашке.

— Садись вон, — говорит, — покушай. Пирогов гляди сколько — вкусные.

Сами за столом сидят.

Бабушка Гликерия рюмочку подняла:

— Пусть этот год счастливый будет.

Бабушка Ариадна тоже желает:

— Только бы войны не было...

А бабушка Евдокия за ней подхватывает:

— Лишь бы никто не болел...

Мама веселая. За столом сидит, про злую фею не помнит...

Бабушка Евдокия руками всплеснула:

— Что ж ты, глупая, плачешь? Праздник сегодня — радоваться надо.

Бабушка Гликерия говорит:

— Так разбудили зря. Спала бы себе тихонечко... Пойдем, голубка моя, я тебя в кроватку уложу.



*А карета черная едет, Вороном запряженная. Колдунья из кареты выходит: «Без меня вздумали обойтись? Вот я вам! Ужо! Припасла подарочек»...*

Проснулась, а нет никого. Только светло уже. Босиком побежала — глядь под елку. Схватила, обратно бегу.

Мама в кровати лежит, улыбается.

— Это, — объясняет, — такая квартирка: все в ней имеется — и комнатки, и кухня, и люди. Только вырезать надо, да склеить. Ты, — говорит, — ноженки маленькие возьмешь, сама все вырежешь: и стены, и кровати, и столик. Там ведь семья целая. Полистай-ка в конце. Только примерься сперва, чтобы не испортить.

*Мама, папа, девочка у них маленькая. А бабушек нету. Потому что это — другая девочка. Папа с мамой у нее умерли, а бабушки со мной живут...*

\* \* \*

— Ишь, — Гликерия тоже пришла, удивляется, — и правда квартирка.

— В Гостином-то все брали — вот я и взяла. Телевизор, — вспомнила, — обещали. После праздников. В рассрочку буду выплачивать.

Евдокия нахмурилась, глядит исподлобья.

— Кто ж это, — спрашивает, — обещал?

«Вот, — думаю, — ворона! Чует будто...»

— Как это — кто? — сама будто смеюсь. — Дед Мороз, конечно...

Тридцать первого выхожу — догоняет. «Я, — говорит, — вот чего... Очередь моя подошла — на телевизор. Весной еще встал.

Думал, вдруг комнату дадут... Надеялся, еще к ноябрьским. А они: «Подождать, — говорят, — надо. Семейным нужнее...» Может, ты возьмешь. Я заплачу, а ты отдашь постепенно. Куда мне с ним в общежитие... Твоя очередь дойдет, тогда уж — я... — Сам-то радуется. — И доставить помогу, и провод кину».

Нет уж, думаю, не хватало еще... Старухи и так зыркают. Сама на саночках доставлю. С электриками договарюсь — сделают за бутылку.

«Ну, — говорит, — как знаешь — я бы так, без бутылки». Знаем, думаю, эти ваши *таки*...

Поужинали. В кухне прибралась, бельишко замочила. Тоже ложиться пора. Сюзанночка-то уснула. К столику ее подошла. Надо же, почти что все склеила — втроем живут. А комната сколько — и зала у них, и спальня, и для девочки — тоже своя. Где ж они работают, чтобы столько давали? Этот, не иначе, начальник... Сам молодой — когда и успел? Такие-то хоромы разве директору либо главному инженеру. Мастеру, небось, не положены. Мебель, гляжу, не доделала — пока на полу спят. Ничего, были бы стены... Сытинскую жену вспомнила. Господи, ведь и не представить: сама себе хозяйка. И вправду, как в раю...

Легла, а самой не спится. «Мужик-то и скромный вроде, непьющий. А ну как прав Михалыч — замуж позовет?.. Не век же, — думаю, — одной мучиться. — Лицо его представила: доброе, хорошее, а не по себе. — Ничего, — себя уговариваю, — главное, из наших: не городской. Поди, пойми их...»

Глаза закрыла, а сердце так и заходится. Мужика опять вижу, того, с бородой. На стенке у него висел... Душно мне! Я ведь сколько ходила, найти его надеялась. Да разве вспомнишь дом-то... В городе дома большие, одинаковые. Не то что в деревне...

Одеяло сбросила. Внутри никак не уймется. На кухню пошла — воды попить.

Налила, к столу села. Клеенка холодная... Руки-то горят. Полегчало будто. Сижу, думаю: «Материально тоже лучше: мужики не в пример бабам зарабатывают. Совсем другие расценки». Вроде сама себя уламываю. Потом-то спохватилась: «Сам-то, может, ни сном ни духом. Ох, — решила, — вот позовет — посмотрим...»

Лежу, а не сплю вроде. Только понять не могу. Будто в деревне я, за околицей.

А дорогу не помню, вроде и нет дороги. Снег. Все белым-бело. Назад обернулась следы свои найти. Нету: ни своих, ни чужих. Огляделась деревню поискать — может, дымки над крышами. Гляжу: ни крыш, ни дымков. «Как же, — думаю, — я-то сюда пришла?» Стою, на себя дивлюсь — испугаться бы, да нет, не страшно...

Только время какое-то неясное: и снег пока не сыпет, и видать далеко. Только сумрачно — ни утро, ни вечер. Идти, а ноги тяжелые — никак не переставлю. Вижу: дымок впереди — вьется столбиком. С силами собралась — пошла. Ближе подхожу — узнала место. Это ж землянка наша, на краю леса. С войны еще осталась. Детьми часто от дождя прятались. Бревна у ней погнивши — скрипят. «Кто ж это, — гадаю, — в землянке поселился да огонь жжет?»

Голову пригнула, заглядываю. А вместо пола — земля прибитая. Голик старый в углу. На полу костерок разложен. Хозяин у костра, ко мне спиной — поленья подкладывает, руки над огнем согреть.

Голос тусклый, хриплый, вроде простуженный. Слышу — знакомый, а не узнать. Пусть бы, гадаю, обернулся. Может, из наших кто, из деревенских. Соседских мужиков сколько в войну пропало, да и раньше — перед войной. Намерзся в лесу, вот голос-то и сел... Тулуп на нем вроде военного, только драный очень — клоками. Медведь, что ли, помял? Вроде не было у нас медведей...

Голову поворачивает. Глянула — дыхнуть не могу: будто медведь этот — когтем. Сам-то мне кивает: «Ну, — говорит, — отвечай, с чем пожаловала? Вольную просить? Так я, — хрипит, — не держу». Ответить-то ему хочу, да голоса нету, пропал, будто онемела. Костерок горит, играет язычками. Тени по бревнам, вроде крыльев. Справилась с собой: «Дочь у тебя растет, а ты вон где, в лесу — партизанишь. Война-то когда окончилась — пора на белый свет». Голову клонит, не глядит...

«Что ж ты, — жалуюсь, — так и не объявился ни разу — за столько-то лет? Вроде пропал без вести...» Губами шевелит, а голоса не слышу — на руки его гляжу. Себя не помню — будто когтем кривым поворачивается: лицом припасть. Сам-то усмешается: догадался. Руки подняла, шагнула на встречу.

Рот у него дернулся, будто плетью ожгло. И глаза странные: ни живые, ни мертвые. «Платье, — смеется, — у тебя штапельное — надо обновить». Гляжу — и впрямь новое на мне. Маки по синему полю. «Когда ж, — думаю, — успела Гликерия? Вроде только раскроила...»

Пальцами пуговицы нащупала — сжимаю у горла, сама обмерла вся — что ж это будет? В землянке же нет ничего — ни уксусу, ни аспирина... Отодвинулась, головой мотаю, а коготь-то в сердце ноет: лишь бы не ушел.

«Чего, — озлился, глаза тусклые, — не хочешь, чтобы дочь наша на свет народилась?» — «Да как же, — говорю, — не хочу — родилась ведь уже. Эту-то не знаешь, как вырастить...» — «Нет, — хмурится, — тот раз не в счет». А может, и впрямь, думаю... Вдруг и не было ничего, раз я-то здесь — в деревне?

Ноги слабые. На нары села. «Ты погоди, — говорю. Как же, думаю, не было, если я все помню? — Что ж ты, — спрашиваю, — дочь свою признать не желаешь? Кровь родную».

Оскалится черт, опять смеется. «Кровь, — говорит, — в землю ушла. На крови родства не построишь». — «А как же, — удивляюсь, — иначе, если девка на тебя похожая. Только ты-то говорил больно ладно, а она молчит. Раньше, — жалуюсь, — надеялась, а теперь — все. Видно, так и маяться ей — немой. Ты-то уж, — говорю, — не знаю, где обретаешься, только узнал бы там, может, можно помочь? Другие-то детей своих рб́стят, телевизоры покупают: вон какая очередь...»

От костра жар, голова дымом плывет. Сам-то придвинулся. «Не бойся, не бойся, — ворчит. — Помогу, все для тебя сделаю, что прикажешь...»

Тяжко мне, не встать, не вырваться, будто медведь навалился — шерстью паленой. Ни сил нету, ни воли. Бормочет, бормочет, вроде просит чего. Крикнуть, да голос канул. Ближе, ближе — чую медвежью плоть... Запах сладкий, острый, будто гвоздь каленый. Цепляюсь, цепляюсь, рву в клочки. Костер горит, стонет, занимается... жарко мне, жарко... крикнула, как обмерла...

Глаза открыла — темно кругом. Вроде и нет огня, только тлеет все: вспыхнет, плывет искрами. Пальцами шарю — шерсть медвежья: липкая, мокрая... Одеядло скинула, села.

Сердце бьется. Рубашка кругб́м завернулась — не встать. Насилу ноги выпростала. Губы сухие, колкие. С полу холодом несет.

«Что ж это было? — думаю. — И правда, как в раю... — Жену Сытинскую вспомнила. — Господи, неужто и она — про это?»

\* \* \*

Бабушка Гликерия заходит:

— Хватит тебе кленть. Отвлекись. Ну-ка, пошли со мною — машинку швейную достанем. Строчить на машинке

научишься, что угодно сошьешь: и платье, и передничек. Вырастешь, ох, пригодится. В магазинах не больно напокупаешься. Дорого, небось...

На столе платье изрезанное. Лоскутки по полу валяются.

— Вот, — бабушка объясняет, — я уж раскроила.

С полу подняла, на бабушку глянула.

— Ничего, — разрешает. — Лоскутки-то, которые мельенькие, бери. Их уж в дело непустишь. А ты соберешь, на булавку наколешь. Только смотри с булавкой-то. Палец не уколоть... Вот, — объясняет, — тут у нас шов боковой, а это — спинка. Сначала выкройку из бумаги сделать, потом уж кроить. Вот мы выточки застрочим и — под утюг. Утюжок — наш первый помощник, без него и не берись за шитье...

Машинка черная, лаковая, узор на ней красный — по спинке. Снизу иголка воткнута. Бабушка ручку крутит: машинка стрекочет, клюет.

— Ну, — нитку обрезала. — Садись, сама попробуешь... Чего это? Не хочешь, что ли? Неслух ты какой-то... Вот, — гонит, — и иди к себе. Играй в свое бумажное царство».

Обрезки достала — вынула булавку. Маму с кухни взяла — на листок положила. Обвела, будто выкройка. Подол широкий, колокольчиком, на плечах квадратики бумажные — чтобы платье не упало. Вырезала. Теперь — по лоскуткам надо. Рисовать стала, а карандаш за маки цепляет: ежатся, ежатся, будто ветер на них дует. Догадалась: приклеить же надо. А потом вырезать...

Мама красивая, платье с маками радуется. Сладким кле-ем пахнет. Побежала в кухню — показать.

— Ишь ты, — бабушка Евдокия восхищается. — Пряма мастерская у нее... Вот и я лоскутков-то найду — всех своих принарядишь: и девочку, и дядьку этого...

*Опять все перепутали. Он же — отец.*

— Мастерница! — бабушка Гликерия не сердится, на палец плюет. Утюг шипит, злится... — Я-то приступила едва, а она глядь — и закончила. Все у ней готово. Ну, беги, наряжай.

*Нарядила. Губами шевелю. Ну и пусть не слышно. Они же у меня мертвые — все, небось, слышат.*

*Жили-были отец с матерью, и не было у них бабушек, а была только девочка маленькая. Та, что в зеркале. Другая. Жили они хорошо и счастливо. Мать с отцом умоются, причешутся и на работу идут, а девочке наказыывают: ты, говорят, лоскутков подбери, платьев разных сделай, чтобы всем как следует нарядиться. Вот они с работы возвращаются, а у ней уже все готово — и костюмчики, и пальто, и платья...*

В прихожей шум какой-то. Выглянула, а бабушка Евдокия машет:

— Сиди, сиди, неча тебе выглядывать. Телевизор привезли. Наладят, включают — тогда уж...

*Коробка большущая, сто комнат в ней поместится. Мама с дядькой чужим тащат — схватили с двух сторон. Мама палец во рту сосет. «Ну, — дядька чужой спрашивает, — куда его нести?» — «А туда вон», — рукой показывает. Значит, к бабушке Евдокии...*

*Вот они домой придут, переоденутся и кушать садятся. Стол у них большой, там, на том свете, — стоит посреди комнаты. А на столе тарелки, блюда всякие. Суп в кастрюльке. Сковородка с картошкой. И готовить совсем не надо. Все бумажное у них, вырезанное: кушай сколько хочешь.*

*Ой, спохватилась. Суп-то они не кушают. Зачем им — суп? У них конфеты шоколадные — в красной коробке.*

*Коробка не простая, волшебная: берешь из нее, кушаешь, а все равно полным-полно.*

*Вот пообедают они, чаю напьются и идут. Только руки забудут вымыть. А на улице фея злая дожидается, караулит. Как увидит руки их шоколадные, разозлится, клюкой в землю тычет — извести грозит. «Чего, — шипит, — конфетами вкусными угощаетесь, когда другие суп едят?.. Вот я вас заколдую!»*

*Заплакал отец, заплакала мать, а девочка их утешает: не плачьте, отец с матерью. Ничего она вам не сделает. Только наколетесь булавкой и уснете — на сто лет. А потом проснетесь, оглянетесь, а злой колдуньи и нету... И никто про нее не помнит, будто и не было совсем. Только комнатки ваши целые — никуда не делись. И девочка ваша. Сидит, дожидается. Снова все заживете...*

*Булавку взяла, руки им наколола. Кроватька у них широкая — обоих уложила. Вот они лежат, а глаза не закрывают: видно, не хотят спать...*

В прихожей ходят, разговаривают. Слов не разобрать, только мама веселая.

Дверь раскрыла — зовет:

— Поди, чего покажу... Такого-то еще не видывала...

Прибежала, гляжу: домик. Впереди окошко стеклянное.

— Ну, — мама говорит, — гляди.

Кнопку нажала — ждет...

Окошко темное. Вдруг огонек вспыхнул, будто искра. Шире, шире... А из домика — музыка. Как же это? Лебеди рядом стоят, крыльями взмахивают...

— Боже мой! — Ариадна руками всплеснула, прижала к груди. — Это же «Лебединое озеро»... Балет...

Платья у них перистые, а на головках — уборы. Стоят, шевелятся. Целая стая. А впереди лебедь белая. Бьется, бьется, сейчас взлетит...



— Поздно, — мама шепчет. — Может, сперва поужинаем, а перед сном еще посмотрим?

— Пусть уж, — бабушка Евдокия застывает, — до конца посидит. Гляди, губы-то как побелели. Будто чудо увидела... Теперь не оторвешь.

— Ну пусть, — мама кивает. — Я в первый раз тоже обомлела. У нас в общежитии стоял. С линзой еще толстой. Через нее плохо видно. Так-то — лучше.

— Что ж это они, — Гликерия глаз не отводит, — балеты все больше показывают?

— Да нет, — отвечает, — разное. По вечерам новости. Комедантша все включала. Ну придешь когда, послушаешь. Только скушно больно. Сидят, читают попеременно. Концерты еще случаются. Бывало, поют хорошо...

*Музыка дрожит, движется, в голове сладко...*

Женщина нарядная является: «Мы передавали сцены из балета Петра Ильича Чайковского “Лебединое озеро”».

— Ну, — мама встала, — картошка, небось, разварилась. Кончилась передача.

На кнопку нажала: ежится, ежится, искорка одна.

*Темно в окошке. Вот она — кнопка... Нажать, опять вспыхнет... Руку отдернула — боязно. На цыпочки встала, зажмурила глаза. Снова будто музыку слышу. Как же хорошо у них... Умрут и превращаются: кто в голубков, кто в лебедей...*

\* \* \*

Посуду мою: нет, видно, обиделся. Утром подходит: «Так чего, повезем сегодня?» — «Да я, — отвечаю, — с Сергеем»

чем с нашим все сделала. Он и довести помог, и подключить».

Весь день работала, а сердце не на месте. И чего человека обидела? Он-то с доброй душой. Сделал да пошел бы, и ска-тертью дорога. В крайности, объяснить можно: «Так, мол, и так, бабки старые — гостей не жалуют. Считаться приходится, раз семьей живем». Ничего, думаю. Обида — не кость, сглотнется...

Стол вытерла, села, а сама опомниться не могу. Это ж надо... Телевизор ведь купили. В деревне-то с лучиной бывало, а тут — кому рассказать... Не удержалась, девкам в цеху похвастала. «Как же так? — спрашивают. — Недавно записывалась». Растерялась. «Из сборочного, — выдумала, — поменялись: у ней с деньгами плоховато». Надька-ехидна и тут встряла: «А ты, не иначе, разбогатела? Денег девать некуда?» — «Материны, — отвечаю. — Мать пенсию откладывала».

Похвастала, а сама жалею. И чего распустила язык? Ладно, небось, не украла. Я ж не себе — для ребенка.

Таз с гвоздя сняла — вспомнила: Михалыч, мастер наш, рассказывал, будто машинку придумали — белье стирать. Вроде читал он: «Грязное положишь, она и вертится. Глядь, а все чисто». Девки смеются: «Как это вертится? Она что ж — избушка на курьих ножках?»...

А я вот подумала: мало ли?.. Вон Гагарина запустили. Машинку-то — не в космос. Попроще, небось...

На политинформации как объясняли: «Каждый сколько он хочет работает — хоть смену, хоть полсмены. Отработают и в магазины идут. А там — благодать: всего полно. И денег не надо. Деньги тоже отменят — бери сколько пожелаешь». Надька и тут не удержалась: «Как это — сколько пожелаешь? Что ж это будет-то? В один день расхватают. Вон я, к примеру, десять платьев зараз возьму, а еще и туфли... Да не просто так, а, например, чешские. Или венгерские еще. А чего? — девкам подмигивает. — Не имею права?» — «Ты-то, — Михалыч на

нее разозлился, — к тому времени сознательная станешь». — «Созна-ательная... — смеется. — Не сознательная, а старая — через двадцать-то лет. Мне ж тогда сорок пять стукнет — зачем мне туфли? Тогда мне и бурки сгодятся. А молодые? Или как? — На девок оглядывается. — Все, что ли, старые будут, при коммунизме?»

А я вот и думаю: с едой-то понятно. Сперва налетят, конечно: и рыбы захочется им, и конфет. Ну наедятся-напьются — больше-то не впихнешь... А потом за одеждой отпрявятся. Или, к примеру, за матерьялом. Штапель, небось, не станут: чистую шерсть подавай...

Раздеваюсь, слышу: стонет... Склонилась — нет, почудилось мне. Одеядко поправила. Красавица — прямо ангел небесный. И не скажешь, что ущербная. Господи, воля твоя...

Ох, радуюсь, и ручки-то сызмальства хорошие. Мать моя всегда говорила: хорошие руки сыздетства видать. Бывает, от горшка два вершка, а все у ней ладится, а бывает учат, учат: все одно — горшок мимо печки. Так и вырастет — ни с чем пирожок...

Гляжу, и куколок бумажных уложила. Лежат, спят...

Легла — а заснуть боюсь. Еще полежала, а вдруг и не он это, думаю? Прямо пóтом меня прошибло: случаи всякие бывают. *Эти*, которые являются, даром-то не отстанут... Мать-покойница рассказывала:

«В войну было. Жила у нас в деревне солдатка. Здоровая баба, крепкая, отродясь ничем не болела. Муж на фронте — она за двоих ломит: за мужика и за себя. Потом уж, война к концу, приходит ей похоронная. Ну погоревала-поплакала и снова за работу. Месяц-другой проходит, стали замечать за ней — лицом чернеет. Ну чернеет и чернеет. Другие-то тоже не румяные. А потом, глядят, и с тела стала спадать. Бабы и приступили: «В район надо — к фельдшеру. Пусть посмот-

рит: мало ли, порошков каких выпишет или травок». Она их послушает, глянет эдак — усмехнется, а глаз-то плохой, шальной.

А у нее товарка. Вот бабы-то и к ней. «Повлияй, — говорят, — на Анну. Неладно с нею, детей сиротами оставит». Та и пошла. Завела про то, да про се. А баба будто и говорит: «Да пошли вы все. Это вас фельдшером показывать. А я-то теперь только и зажила. Муж мой каждую ночь ко мне является. Любовь у нас. Раньше-то и ведать не ведала, как оно бывает...»

Товарка изумилась — другим пересказала. Вот они решили к попу обратиться. Тогда как раз церковь в районе открылась — до войны заколочена стояла. А сразу не уедешь. Выходных-то не было. Всякий день на работе. Ну колхозное убрали, потом свою картошку копать. Выкопали — поехали. Обе соседки. Батюшка-то старенький, сам едва жив. Как услышал про бабу эту: «Бес ее терзает. Вы, — советует, — в храм Божий приводите, я отчитаю. Только бесы, — пугает, — эти — самые сильные, которые любовный облик принимают. Бывает, с одного раза и не сдадутся. Имя им страшное, особое». Поп-то назвал, да бабы позабыли...

Вернулись, а тут и дожди пошли, бездорожье. Как поведешь? Ждать надо, когда дороги встанут. Пока дожидались, Анна эта возьми да помри. Обмывали, дивились: старуха старухой. Руки тонкие, ребра торчат, будто выболевши. Бес-то силы из нее вымотал — затерзал до смерти...»

Лежу, а внутри замирает... А вдруг и со мной так?.. Бес меня терзает. Глаза закрыла. «Он это, он, — думаю. — Сердце-то не обманешь...»

Снег белый — сугробами... Срежь сугробов тропка вьется. Следы пропечатаны — будто от валенок. Время-то, различаю, предутреннее: вот-вот заря займется. По следам двинулась.

«Это ж, — думаю, — давешние, мои...» На ноги поглядела: ва-ленки. «Откуда? Я же в бурочках хожу...»

Дымок вьется. Только лес чужой — темный, на наш не похожий. Кругом забор частоколом. За ним вышка деревянная, как вроде при немце. В районе, говорили, стояла: немцы пленных наших держали — в загородке... «Ладно, — решаю, — ворота хоть найти». Огляделась — нету ворот. Вместо них землянка эта стоит: через нее и заходить.

Голову нагнула. Пол-то земляной, прежний, только лавки по краям. В два ряда сделаны, будто нары. И костра нету. Печурка вроде буржуйки. Колено в потолок вывели. Все равно падит.

На нарах мужики расселись. Жарко у них. Дух-то тяжкий, дурманный. Сидят, играют — кости в черед выбрасывают, меня не видят. Присмотрелась: кости у них не игральные. Белые больно — вроде выварены совсем. Грудкой в углу сложены — пошарят, еще наберут. Напугалась, скрыться хочу, да ноги как вкопанные. К земле приросли.

Ну, думаю, делать нечего. Поклонилась им: «Здравствуй-те». Игру свою бросили — оборачиваются. Мой-то тоже с нами, только не признается. И я, думаю, смолчу — мало ли...

Старшой у них — мужик колченогий. Борода разметанная, рыжая — чистый леший. «Заходи, — скалится, — раз пришла. Отвечай: с чем к нам пожаловала?»

Тут один, щупленький, а тоже с бородкой. К старшому суется. «Худо, — пеняет, — гостей встречаешь? Чай, не каждый день жалуют нас. Ты накорми, напои сперва, а потом уж выспрашивай». Другие, вижу, тоже поддерживают, головами кивают.

Вот они кости на пол сбросили, место освободили. «Садись, — приглашают. Водицы нашей испей, горбушкой закуси». Кружку железную придвинули, ломоть протягивают. Села на нары, хлеб ихний понюхала: поганый. С войны такого не пробовала — с лебедой. И вода тоже нехорошая, вроде болотная. «Чего, — говорит, — нос воротить — или воняет наша

пища?» — «Благодарствуйте, — отвечаю, — только сытая я, поужинала — как раз от стола». Старшой-то озлился: «Что ж ты, — моему выговаривает, — бабу свою не выучил, как к нам ходить? Ишь, нашим она брезгает! У себя, небось, всякий день мертвечину едят...»

Другие тоже осерчали. Ворочаются, ворчат, как медведи. Бороды свои чешут. Напугалась, горбушки лебедовой прикусила, воды отпила глоток. Гляжу, отошли... Сама тоже чувствую: как глотнула ихнего, осмелела. И дым вроде спал.

«Что это вы, — спрашиваю, — здесь подельваете?» — «Мы-то, — оскалились, — Богу молимся, а что ж еще!» — «А, — догадалась, — значит, вы и вправду мертвые?..» Спрашиваю, а самой и не страшно: вроде дело обыкновенное — к мертвым в гости ходить. «А мы, — отвечают, — ни то ни другое». — «Как это так? Разве так бывает?» — «Так-то, — говорят, — и бывает — или сама не знаешь?» — «Откуда ж ей, — мой заступается, — она ведь оттуда, с воли...» Тут они как захохочут, себя по грудям хлопают, головами крутят: «С воли! — кричат. — Ну ты и скажешь — с воли!» Весело им.

Отдышались. Старшой и говорит: «С воли так с воли. Отвечай тогда, может, желаешь чего? Баба ты молодая, мы тоже, — мигает, — не перестарки. Глядишь, горю твоему и поможем...» На своего скосилась — молчит.

Ну духу-то набираюсь: «С тем я пришла, чтобы отец дочери помог — инвалид она бессловесный. Седьмой год скоро, а все молчком. Вам-то, — киваю, — хорошо, весело — в кости человеческие играете, а девка страдай».

Выслушали — сидят, думают. Бригадир губами пожевал: «А ты костями нас не попрекай. Чай, свои кости, не чужие...» А щупленький этот вертится, вертится, аж извернулся весь: «Не пойму я что-то. Разве другие-то ваши — разговорчивые? Все, которые разговорчивые, давно здесь, у нас...» Старшой тоже голову чешет: «Глупая ты баба! Счастья своего не понимаешь. Кабы нам-то немymi родиться, разве гнили б те-

перь?» — «Уж это, — говорю, — не знаю. Ваше дело — мужицкое. Может, вам и немymi бы сподручно, а девке замуж идти. Кто ее такую возьмет?»

Старшой-то хмурится: «Ну, — решает. — Последнее слово — за отцом».

Мой поглядел: «Хорошо ли подумала? Вот дадим мы ей голос, только ведь и у нас — не *за так...*» Неужто, изумляюсь, денег просят? Зачем им — в лесу?

«На мне, — объясняю, — долг теперь. За телевизор. Выплачу, на вас работать стану: рассчитаюсь». Надо ж, думаю, с дочери долг ожидает, а еще — отец...

«А долго, — старшой вмешивается, — нынешний долг отдавать?» — «Долго, — говорю. — Может, полгода, а может статья, и год...» — «Это, — разъясняет, — недолго: в наших краях день за год... Но учти — и ты ведь заплатишь, и дочь твоя платить станет. Так что за обеих решай...»

Хорошо живут, думаю. У нас-то, бывает, год за день... Села, щеку подперла — снова дымом заволакивает. Труба у них, видно, забитая. И вонь по углам. Так и несет гнильем. Как бы, боюсь, не вывернуло... Снова тошнит-подступает. Эти-то молчком — ждут.

Взяла горбушку лебедовую, кусок откусила. Вроде опять полегчало — отошла дурнота. «Решилась я, — говорю. — Вы уж, батюшки, делайте как положено. А мы с дитем отработаем — не сомневайтесь...»

Старшой ладонью пристукнул: «Вот и ладно. Раз решилась, тяни руку. Да не так, — морщится, — не кверху. Не как у вас. Ты вперед ее вытягивай: палец тебе отрубим — в залог». Напугалась: «Как же я работать буду? С завода беспалую погонят». — «А ты молчи, не говори никому — сами не заметят. Они ж слепые».

Гляжу, а он уж тесак достает. Большой, острющий... Руку то вытянула, зажмурилась — он и полоснул. Больно мне, хоть на крик кричи... А терплю.

Мой-то палец этот взял, в тряпицу заворачивает. «Теперь, — объявляет, — мы с тобою повенчаны. Палец этот за место кольца. Дочь, — говорит, — тоже моя — теперь не брошу». Гляжу, а старшой ихний смеется. «И я, — обещает, — не брошу. Буду ей крестным»...

Боль-то сильнее, сильнее... Крикнула. Глаза открыла. Нет ничего. Только руку дергает. Нашарила выключатель. Вот оно... Это ж палец гноится. Вчера повредила, пока телевизор волокли. Глаза закрыла. Господи... Видно, сказок этих наслущалась. Ох, думаю, Евдокия...

С силами собралась. Вставать надо. Все одно не усну.

Только тут и сообразила: живой-то он хитро говорил. И не поймешь сразу. А тут — как все разговаривает. Вроде как у нас, в деревне...

За окном черно — ни огонька, ни звездочки. Тошно мне, тошно... «Неспроста ведь, — думаю, — и палец этот, и сон»...

\* \* \*

Погуляли, покушали. Софью уложили. Сели нитки мотать. Сидят, а сами-то в угол поглядывают. Будто медом намазано. Гликерия первой решила:

— Может, лучше включить? А вдруг что важное покажут...

Евдокия дождалась будто. Вмиг спицы сложила:

— Включай.

Зажглось. Люди в телевизоре маршируют, руками размахивают. Ариадна вгляделась:

— Боже мой! Смотрите, это ж физкультурники... Спортивный парад.

Музыка веселая, праздничная. Гликерия поглядела — удивляется:

— Февраль, зима на дворе. Какой им теперь парад?

Глазок бежит, движется. Шары воздушные пляшут. Портреты на древках, транспаранты. Люди радостные: кричат,



смеются. Только слов не слышно — музыка, музыка, будто немые. Ариадна говорит:

— На праздник очень похоже. Кажется, Первое мая...

Гликерия глядит-приглядывается:

— Праздник-то, — соглашается, — праздник. Только кофты на них полосатые, помнишь, перед войной.

— Батюшки, — Евдокия замерла, — ты на тряпку, на тряпку-то глянь...

Парни веселые, здоровые — тащат на двух палках. Тряпка широкая. Палки цветами убраны. Посередке цифры написаны — «1941». Глазок-то выше, выше — скользнул над головами, будто вспорхнул.

Ариадна глаза закрыла:

— Помню. Мои тоже ходили. Младшего дома оставили — втроем пошли, с институтом.

— Господи... — Гликерия осеклась, руки на груди сводит.

Ариадна сидит, впиалась глазами.

Идут, смеются...

Женщина в кудельках является, на весь экран расположилась. Ариадна ее не слушает:

— Пойду лягу.

Головами кивают: и правильно, и полежи.

Ушла. Гликерия губами шевелит:

— На демонстрациях этих... Всех, что ли, снимали или кого по выбору?

Евдокия подумала:

— Подряд-то, небось, не снимешь... Это сколько ж их надо — с аппаратами? Не напасешься.

— А вдруг, — Гликерия шепчет, — напаслись?..

Евдокия догадалась, рот ладошкой прикрыла.

— Вот-вот, — Гликерия не уймется, — сняли и припрятали. Так и лежат у них. Этих-то теперь показали, а другой раз — других.

— Если в сорок первом, они же все, почитай, мертвые... Которые в блокаду, которых — на фронте... Когда ж они нача-

ли? Перед войной? Кино-то, — вспоминает, — и до войны снимали. Ох, — за стол взялась. — Тошно мне...

— Спрятали, — Гликерия опять шепчет, — с самой Гражданской спрятали. Хранилищ для них понастроили.

Ариадна входит.

— Нет, — глаза сухие, темные, — не могу. Как подумаю, что мои там идут. Живые...

Евдокия говорит:

— Сядь-ка.

Выслушала — молчит.

Гликерия морщится, морщится, сейчас заплачет.

*Спицы не тенькают, и голос чей-то чужой. Встала, крадусь на цыпочках. Дядька бормочет — голос сиплый, нехороший. Бабушек за ним не слышно... В щелочку заглянула: это же телевизор говорит...*

— Как живые, — бабушка Гликерия радуется, — ни войн на них, ни болезней. Как смерть застала, так и остались — молодые, здоровые. Очереди своей дожидаются: в телевизор попасть.

— Глупости мелешь! — Бабушка Евдокия глазом сверкнула. — Все, мол, кругом одинаковые — на одних правах? Умерли, а все в одном месте: и грешники, и праведники... И очередь у них одна?

— Теперь-то — мертвые, — бабушка Гликерия печалится, — чего им промеж себя разбирать...

— Ну уж нет! — Встала, за спину держится. — На этом свете не разобрались — и концы в воду? Не будет этого. Господь-то все видит. Смерть — не война: грехи не спишет. Здесь не сподобил, значит — там ответ держать.

*Палец черный, острый — в телевизор им тычет. Дядька этот совсем напугался — примолк.*

Бабушка Евдокия на него поглядывает:

— Не верю я! Зачем им хранить? Это ж следы. Случись чего, против них же и обернется... Батюшки! Явилась. Босиком стоять. А ну, — грозит, — марш в кровать! Тоже, взяла моду...»

*Побежала, юркнула — с головой укрылась. Слышу, шаркает. Приходит, села на край.*

— Ты, — говорит, — всего-то не слушай. Взрослые эти разговоры. А услышишь — не всему верь. Люди-то разные... Облик человеческий — обманчивый. Случаются и хитрые как лисы, а то, бывает — вбóроны. Вырастешь, сама научишься — породы ихние различать...

*Ушла. Одеяло с головы скинула. Не пойму — чего говорили? В телевизоре все, что ли, мертвые? И дядька этот?..*

\* \* \*

Зоя Ивановна мимо идет. «Тебя, говорят, Беспалова, поздравить можно — с покупкой?» А у самой глаз острый, пристальный. Молчу. А сама думаю: Надька и донесла. Неймется стерве.

«Купила, — отвечаю. Пусть дочь смотрит. Сами ж учили — в школу ей идти». — «Учить-то учила, только не пойму никак. С кем это ты очередь поменялась?» — «А чего, — спрашиваю, — нельзя?» — «Можно, — отвечает, — у нас все можно. Только вперед — в местком. Нас в известность поставь, в списках отметить. Очередь-то общая». — «Да я ж, — говорю, — не знала... И какая разница? Оба же стоим». — «Большая, — говорит, — разница. Во всем порядок нужен. Так-то каждый надумает местами меняться...»

К себе иду — вспомнила. Девкам-то что сказала: из сборочного. А фамилию спросят? К гальваникам пошла, заглядываю. Заметил. Махнула ему потихонечку. Дескать, разговор есть.

Выходит, руки ветошью обтирает. Рассказала, нахмурился сперва. А потом говорит: «Чего уж... Давай на меня показывай». А фамилию его не знаю: Николай и Николай... И спросить неловко: еще обидится.

Смена закончилась — к Михалычу подхожу. «Как, — спрашиваю, — фамилия у Николая, ну этого, с гальваники?» Смеется: «По фамилии мужа подбираешь? Хорошая у него фамилия: Ручейников. Ну как, — щурится, — подходяще?»

Зоя Ивановна бумажки свои листает: «Вот он у меня, сборочный, в отдельной папке. Кто стоял, к майским получали». Ох, думаю, сучка эта Надька: во всех подробностях донесла. «Не пойму — все вроде взяли...» Еще бы, думаю: сборочный — баре, не нам чета. Все им — в первую очередь. И расценки — с нашими не сравнить.

«Так с кем же ты, — спрашивает, — поменялась? На кого отмечать?» — «Я, — объясняю, — Зоя Иванна, девкам неправду сказала. Прямо и не знаю, как вышло. Сборочный — ни при чем. Мы с Ручейниковым Николаем, с гальваники. Он ведь одинокий, и комнаты у него нету. Сговорились: теперь я возьму, а он уж потом, к осени. К майским комнату дадут. Говорит, должны уж».

Молчит, бумажки терзает. «Интересно у вас с Ручейниковым выходит... Надо же, должны им... Вон у нас — семейные мыкаются, а им должны. Не нужен телевизор, так не вставал бы. Другие найдутся, которым нужнее». — «Так, — говорю, — теперь-то как? Обрати, что ли, везти?» — «Зачем же? — Задумалась. — Теперь уж все, деньги заплачены. Пользуйся покуда. Вот, — говорит, — и в списке у меня отмечено: Ручейников Н.Н.». — «Так вы, — прошу, — меня заместо него впи-

шите, чтоб путаницы потом не вышло». — «Впишем, — обещает, — не будет путаницы. Все впишем, что полагается».

Листок отдельный взяла, чиркнула закорючку — сверху скрепкой пришила. На меня глядит: «Ты, Антонина, смотри, баба ушлая, а глупая. Ладно, когда по молодости. А теперь, чай, не девка. Раз принесла в подоле, во второй раз примериваешься? Так и будешь безотцовщину плодить? Пользуетесь, что государство у нас доброе — и ясли, и сад, и все вам на тарелочке. Рожай не хочу — хоть под каждым забором...»

«Что ж вы так, Зоя Ивановна? — а у самой руки дрожат. — Разве я кому-нибудь на шею? В две смены работаю, лишь бы ребенка обиходить. И в ясли всего ничего ходила — три месяца только, и в садик не ходит». — «Спасибо скажи, что мастер в две смены позволяет. И учти: в Америке таких, как ты, — поганой метлой. Там с такими матерями не цацкаются. Иди, — говорит, — и подумай. А то ведь поздно будет».

Вышла. В глазах темно. Только вьется чего-то. Снежинки будто, мелкие, золотенькие. До гальваники дошла — вызываю. «Ну, — спрашивает, — отметила?» — «Отметила, — говорю. — Только злится она — глазами так и стрижет». — «Ничего, — рукой махнул, — пострижет и перестанет. Подумаешь, очередь поменялись: грех какой! Я, — говорит, — уже заканчиваю. Подождешь?»

На площадь вышли. «Чего, — спрашивает, — смурная? Зою напугалась?» — «Не знаю... А не по себе чего-то... И внутри болит». — «Да брось ты, — утешает. — Зоя, небось, не зверь. Может, и забыла уже. Мало ли дел у них... Пошли, — зовет, — я тебя кофем угощу. Вон булочная. Там и кофе, и булки».

Столики высокие, а народу мало. «Ну, — предлагает, — выбирай». За стеклом булки разложены, пирожные. Растерялась: прямо и не знаю. «Сам-то, — спрашиваю, — какую бу-

дешь?» — «Я, — отвечает, — пирожные предпочитаю — трупочки эти, с кремом». Поглядела — двадцать две копейки. Ишь, думаю, предпочитает. Хорошо им, одиноким — пирожные предпочитать. «Ну и я тогда». А сама думаю: попробовать хоть.

Кофе вкусное. Сладенькое. С тем не сравнить, с черным... Пирожное надкусила. Тоже вкусно. Вот, думаю, Сюзанночке бы снести. Она бы порадовалась. Мне ведь так, баловство... А чего, соображаю. Завернуть и — в сумку. Нет, теперь-то неловко. Сегодня сама уж съем. А завтра ей куплю...

«Чего, — говорит, — хмуришься: не нравится?»

«А правда это, что в Америке матерей с производства гонят, которые одинокие, без мужа?» — «Эва, куда, — изумляется, — тебе-то что? Слава богу, не в Америке живем...» — «Все-таки не верится как-то... Что ж они там — звери?» — «Не знаю, — говорит, — может, конечно, и не звери, но о трудящих своих не заботятся. Квартиры вот точно не дают — сами у них покупают». — «Как это, — удивляюсь, — покупают? В магазине, что ли?» Плечами пожал: может, и в магазине.

Выходим. «Спасибо, — говорю, — за угощение. Пора мне». Он губы утирает: «И сколько ж, — спрашивает, — твоей дочке?» — «Шестой пошел». — «Это хорошо, — кивает, — значит, скоро в школу. Лицом-то в кого пошла?» — «Не знаю. Вроде бы в меня». — «Ты-то, — глядит, — из себя ничего, симпатичная. Я когда еще заметил». — «Да ну тебя! — смеюсь. — Может, по молодости и была...»

Вижу, в сторону смотрит.

«Отец-то ее где?»

Сердце так и екнуло. «Не знаю, может, уже и умер... А может, — шепчу, — сидит». Лягнула и сама напугалась. Откуда взяла-то? Мало ли, что во сне...

«Это, — соглашается, — да... Вон, отец у меня. С войны пришел без ноги. Сначала — ничего, радовался, а потом запил. В райцентре дело было. Дверь они в лабаз взломали: водку

шарили с мужиками. И взяли-то две бутылки. А участковый, падла, как раз мимо шел. Дружки-то — тю-тю! — сбежали. А ему куда, с костылем?.. Скрутил его участковый. Мать как узнала, побежала, в ноги ему кинулась: “Фронтовик, за водку уплотим...” Сидит, сучий потрох. “Пусть суд, — мол, — решает. — Плумился еще: — Ну и что, фронтовик? Закон для всех одинаковый. Так-то каждый воровать возьмется”. Сам, падла, войны и не нюхал — за юбками бабьими отсиделся. Отец мой — дурак: на себя вину взял... В суд привели, еще и подмигивал: “Ничего, пробьемся...” Дескать, гвардейцы...

Напоследок свидание дали. Мать и пошла. Возвращается, бабке рассказывает. Я-то, хоть малец, лежу — слушаю. “Сам, — говорит, — веселый. Давно таким не видела. Чем, говорит, в деревне пропадать, лучше уж там, в лагере. Отсижу — все дороги открыты: хошь куда поезжай...” Может, и твой так... Суд-то был?»

«Не знаю, — голову опустила, — может, и был, только меня не позвали — мы же с ним так, не расписаны». — «Значит, — соображает, — и дите незаконное?» — «Ага. Так родила». — «А отчество у нее какое?» — «По нему записала: Григорьевной. Это-то разрешают». — «Николаевна, — подмигивает, — вроде не хуже?» Господи, думаю, чего это он? «Ладно, — говорит, — шучу. Это ничего, что незаконная. Теперь уж пусть растет. Лишь бы здоровая была...»

Ох, думаю, если бы... Сказать, что ли? Нет. Бабок вспомнила: молчи, наказывали. Смолчала.

«А что, — спрашиваю, — отец твой вернулся?» — «Вначале писал еще. Мать передачи все слала. Потом замолк. Ни слова от него. Думали, в лагере сгинул... Потом-то слух пошел, будто в райцентре видели. Может, и спутали. Мало ли безногих...»

Через мост иду — снова про Америку задумалась. Как же это — квартиры в магазине?.. Так-то каждый придет

купить. Где ж они на всех напасутся? Тоже, верно, очередь...

На площадь вышла — ветер. Так и несет. Лицо ожгло. Варежкой сухой прикрылась. А если взаправду? Так-то представить... Прямо в жар меня бросило. «Вот, — шепчу, — и я бы купила». Дорого, небось... Ну и пусть, думаю. И комната своя, и кухня. На окне занавески льняные — в синюю полоску. И уборная своя: стены светлые, крашенные... Батюшки, тут-то сообразила: а Сюзанночку — с кем? В Америке ж ни садов, ни ясель. Хоть какие хоромы, а одну-то не оставишь. Нет уж, думаю, бог с ней — с отдельной. Пусть уж с бабками — как есть...

Ужинать сели.

— Ну, — спрашиваю, — как? Днем-то включали?

Сидят, глаз не кажут.

— Что, — испугалась, — сломался?

Евдокия говорит:

— Хорошо показывает. Все видать.

— Новости-то, — вспомнила, — в девять. Идите, — говорю, — включайте. Хоть поглядеть, чего у них там, в мире.

Сюзанночка первой побежала. Шустрая, сама на кнопку жмет.

Музыка сильная, грозная: парочкой сидят, будто семья.

«Здравствуйте, — объявляют, — дорогие товарищи».

Вначале у них про завод. Цеха чистые, просторные, загородки стеклянные. Где ж это, думаю? Не иначе, в Москве. Собрание у них — вроде на перерыве. Народу нагнали. Прямо сесть некуда. Стоят голова к голове.

Мужик, на мастера похож. Выступает. Прислушалась: нет, думаю, у нас не так. Михалыч выступать возьмется — бубнит, как пономарь. Наши тоже не выспавшись: политинформации все больше до смены...



Женщина показалась. На Зою Ивановну похожа. Тоже волосы узлом. Профсоюзные все с узлами. Бумажку достала — читает. Вроде про искусство. «Художники, — говорит, — от слова худо». Этим-то чего, слушают. Руки тянут.

Сижу, а палец дергает. Днем отпустило, а к вечеру — опять. Нарывает у самого ногтя. Евдокия глянула:

— В марганцовке поди попарь. Разболтай погорячее.

Гликерия говорит:

— Гляди, ноготь еще сойдет...

Бабушка Ариадна в телевизор смотрит.

— А это, — шепчет, — когда снимали?

Бабушка Евдокия на нее сердится:

— Не видишь, что ли, — теперь... Мужики-то, гляди, мордатые... Этот вот особенно. Щеки нажрал — поперек себя шире. Все в морду ушло.

Обратно прихожу — села с баночкой. Про за границу завели. Вдруг, думаю, квартиры покажут? Нет, забастовка у них. Машут, кричат по-своему.

Этот, в галстук: «Идет процесс сокращения производства. Рабочие борются за рабочие места. Хозяева не церемонятся. Тех, кто попал под сокращение, выгоняют прямо на улицу».

Вот, думаю, паразит этот хозяин... Пока работали, так нужны, а нет — гонит. Женщины тоже идут: которые без мужей. Их-то, небось, в первую очередь... Ох, жалко, прямо сердце ноет. Завтра встанут — чем детей кормить?.. Дети-то разве виноваты?.. Это же не выберешь, где родиться...

Палец дергает, дергает.

— Ну, — спрашиваю, — хватит, что ли?

Евдокия говорит:

— Гной бы сперва выдавила.

— Да как же его давить, если под кожей.

- А ты, — учит, — булавку возьми, прокали над плитой.
- Больно же, — морщусь, — по живому...
- Там не живое, если гноится... Это, — Ариадна объясняет, — некроз. Омертвление тканей. Если мертвая, уже не оживает. А не проткнешь — живую погубит...

Булавку нашла — держу над газом. Тыкаю, тыкаю — не идет гной. Глубоко, видно. Только расковыряла.

Бабушка Гликерия говорит:

— Села бы ты ровненько... Вон, на краешек примостилась, а спина-то кривая. Гляди, кособокой вырастешь...

Бабушка Евдокия рукой машет:

— Да чего с ней говорить... Она ж тебя не слышит. К телевизору прилипла... Ох, девка, погибнешь ты с этим телевизором — посадишь глаза.

— А это где ж? — бабушка Гликерия удивляется. — В какой же стране?

— Так сказали тебе, в Америке.

— Ишь ты... — вздыхает. — И не представить...

— Чего представлять? Тоже люди живут. Помнишь, в войну — тушенка еще у них. И машины эти, как их, студи... Не помню. Теперь, гляжу, другие. Видно, те-то нам переправили, а себе новых наделали — лучше».

— А я помню, — оживилась. — Студебекеры. Ох, хорошие машины!

— Ты-то откуда знаешь? Каталась, что ли?

— Куда мне... — смеется. — Соломон Захарыч говорил.

— Господи. — Бабушка Евдокия головой крутит. — Захарыч твой ну всюду специалист... Что по уксусу, что по машинам. И чего ты за него не пошла — жила б как за каменной стеной. Сколько ж ему теперь?

— Да, — задумалась, — вроде наших лет: на Царской успел повоевать... Студентом пошел, с медицинского...

— Гляди-ка, — Евдокия перебивает, — снова у нас показывают... Вон, вокзал Николаевский.

— Московский, — бабушка Ариадна поправляет, — теперь он называется Московский. Смотри, — говорит, — Софьюшка. Все улицы к празднику украсили. Вырастешь, на Невский сходишь. Там хорошо в праздники гулять...

*Мертвые — веселые. По улице идут — смеются... Улицы у них широкие, праздничные. Поперек гирлянды висят. Машины ездят. И дети их умерли. Вон они: гуляют под музыку — тоже не разговаривают..*

\* \* \*

Ближе к весне и солнышко ярче. Ариадна говорит: «Воздух тихий, живой...»

Иду, а воздух и вправду веселый. Зимой темень — с работы на работу. А тут — после смены выйдешь: и сама будто веселее, и вокруг — светло. Николай тоже заметил: «Эх, лето скоро. Летом оно все сподручнее — и работа, и гулянки». Головой-то киваю, а сама думаю: может, в парк поедем, хоть платье новое надеть.

На работу ведь не наденешь. Ну их, думаю, девок — совсем засмеют. И так уж: «Иди, — мол, — женишок дожидается». В особенности эта Надька: «Хитрая ты, Антонина. Тишком да тишком, а мужика, гляди-ка, отхватила — кругом положительный, только что не партийный пока». А то еще подойдет, подмигнет кривенько. «Тут, говорит, трудящие интересуются, как у него по ходовой части? Ежели подходить, так, может, с народом поделишься — не все ж себе да себе». Бабы тоже за ней — смеются.

Рукой махну: «Ну вас совсем!», а самой не до смеха. Мужик-то он чего — походит, походит. И надоест ему дожидаться.

В общежитие сколько раз звал... «Нет, — отказываюсь, — этого не могу». — «А тогда, — предлагает, — к себе позови: мамаша твоя, чай, не зверь». — «Не зверь», — соглашаюсь, а сама думаю: как позовешь? Старухи сиднем сидят. Да и ребенок...

«Ты, — говорит, — не бойся: я не как-нибудь, по-серьезному. Посидим, познакомимся сперва».

Ужинаем, я и начала:

— Хочу знакомого в гости позвать. Человек хороший, непьющий... Работаем вместе. Вы, — спрашиваю, — как — не против?

Евдокия губы поджала:

— Здравсьте! А мы-то при чем? Хочешь звать — зови.

— Ну как же, — говорю, — семьей живем.

— То-то и оно, — отвечает. — В семью таких гостей не водят — на стороне как-нибудь устраиваются.

— Да бог с тобой, Евдокия Тимофеевна! — Ариадна за меня заступается. — Что же ты такое говоришь?..

— Да уж говорю, значит, знаю. Не со вчерашнего на свете живу. Только учти — дите все видит, все замечает, как вы бабкам ее возьметесь подкладывать, чтобы блудить не мешала.

Гликерия руки об фартук вытирает — глаза в пол.

— Может, — говорит, — и вправду сюда-то не стоит...

— Вот-вот, — Евдокия подхватила, — ты ее слушай. Она у нас мастерица — по таким-то делам.

Глотаю. Комок в горле. Слезы капаят. Гликерия поглядела — рукой махнула.

Ариадна чашку сдвинула:

— Не пойму, что тут особенного... Придет человек, попьет чаю.

Евдокия плечом дернула.

— Ну, глядите... — говорит. — Как бы после плакать не пришлось — кровавыми слезами умываться... Сам-то он где обретается — в общежитии?

— Пока что, — объясняю, — в общежитии. К майским комнату обещали дать.

— Ну а ты ему на что будешь — ежели комнату дадут?

Растерялась, прямо не знаю, что и сказать. Гликерия руками всплеснула.

— Злая ты, — говорит, — Евдокия. Все-то у тебя не по-людски.

— Чего ж тут — не по-людски? — усмехается. — Мужик он свободный: ему свободная баба нужна либо — девка. Ты вон, небось, на детей не захотела. А тут еще — немая... Своих-то инвалидов бросают — а такую-то разве станет кто жалеть?

Ариадна не слушает:

— Если в гости придет, надо принять как следует. Обед праздничный приготовить, к чаю купить.

— Бутылочку еще, — Гликерия губы облизнула.

Евдокия стулом пристукнула — ушла.

Ночью лежу — из головы нейдет: слова ее злые. А это-то особенно: инвалид. А ну как, думаю, ее правда? Мало слезьми умывалась — снова горя ищу... Да ладно себе — дочери... Глаза закрыла: сон давешний, боюсь, приснится. Что скажу, как оправдаюсь?

Проснулась: нет. Не приснилось, не привиделось. Чернота одна. На работу иду — все раздумываю: звать, не звать. Пока дошла, решила: не стану. А не дождется — значит, так тому и быть.

В обед подходит — улыбается. Глаза веселые. «Ну, — спрашивает, — подумала? Я уж и подарочек ей купил — со знакомством. Меня ребяташки любят. Я ведь младшим в семье — у старших сестер племянники мои. Бегали вместе. Я им и дядька, а вроде и друг-товарищ».

Молоко прятать пошла: что ж это жизнь проклятая делает?.. Евдокия-то прямо зверь зверем. Верно Гликерия сказала: все не по-людски. Будто в Америке живет. Жизнь у ней.

конечно, нелегкая, всех похоронила, но так-то рассудить — а Ариадна? У нее ведь тоже все в земле лежат, уж и косточки сгнили, а сердце живое осталось...

Ладно, думаю. Пусть Сюзанночка ненадолго выйдет — познакомится, подарок примет. А за столом ей делать нечего. Объясню: стесняется ребенок, да и к гостям не приучена. Старухам только накажу, чтоб молчали. Авось, и не заметит. А потом-то, может, она ему и глянется — девка умная, по-французски знает. Скажу, врач смотрела, не нашла ничего. Бог даст, заговорит.

Гликерия учит:

— Ты гляди, обновку свою надень.

— Хорошо, — говорю. — Только вы-то, главное, Евдокию Тимофевну попросите. Пусть уж про немоту молчит.

— А сама чего ж? — спрашивает.

— Так сердится она, — отвечаю. — А к вам и прислушается скорее.

Гликерия, гляжу, мнетя. Стоит — не уходит.

— Ты, — говорит, — сердца на нее не держи. Жизнь ее такая — вроде доски стиральной: ребрами да ребрами... Думает, раз жизнь вокруг басурманская, значит, и люди все — басурмане. А Бог милостив. Чистых душ все одно больше. Может, и тебе повезет...

— Спасибо вам, Гликерия Егоровна. И на добром слове, и на пожелании. Вы и сами знайте, и обеим другим скажите — как бы ни сложилось, доброты вашей не забуду. Вы мне — семья. А что ошибку по молодости совершила — этого больше не повторится. И не сомневайтесь.

— Вот, — говорит, — и Господь с тобой. Ты ведь нам тоже родня. — Руку подняла, в щепотку сложила. — Нагни, — велит, — головку.

Крестик надо мной положила: ровно как мать. В детстве, бывало..

К дверям пошла — оборачивается:

— А ежели что, так не теряйся — про укус-то не забудь...

Так-то хорошо вроде: селедочка, огурцы соленые... Кагора бутылку взяла. Картошки наварим. Лучок на постном масле обжарить... Винегрет-то, думаю, не буду — не праздник. Вот если на майские, тогда уж. Блинков напеку. Сюзанночка блины любит. Хорошо, авсе одно — не по себе. Как представлю застолье это: старухи сидят, зыркают. А потом — как ему объяснить? Скажу: родня материна, седьмая вода на киселе. Дескать, сперва и знать не знала, а потом родней и сочлись...

В переднюю вышла — тут только вспомнила: платье-то... С блинами этими закрутилась, забыла совсем. Да уж поздно теперь...

Открываю — стоит:

— Здравствуйте вам.

Голос степенный, а глазом-то мигает — весело ему.

— Хорошо! Пирогам с лестницы пахнет. Ну, где же дочь твоя?

Тут только заметила — коробка у него. Сюзанночка, кричу, выйди.

Из комнаты выглянула. Глазенки такие круглые. Евдокия тоже выходит — у притолоки замерла.

— Познакомьтесь, — говорю, — вот: Евдокия Тимофеевна. А это — Николай...

— Никифорыч по бабушке, — он мне подсказывает.

— А вот, — обернулась, — дочь моя, Сюзанна.

Коробку ей протягивает. На меня глянула — взяла.

— Это, — ей объясняет, — юла называется, по-нашему — волчок. Знаешь, как играть? — Головой качает: не знаю. — А я вот покажу.

Назад забрал, открыл. Донышко красное, наверху — стеклышко прозрачное или пластмасса. Под стеклом — упряжка:

лошадка, кучер на облучке. На пол поставил — за ручку берется... Крутится, вертится — музыка тоненько поет... Понеслась... Сюзанночка рот раскрыла — любитесь.

— Ну, — спрашивает, — сама-то сумеешь? — Юла кувырк на бочок. — Что-то ты, я гляжу, неразговорчивая. Меня, что ли, напугалась? Так не бойся. Я же не серый волк.

— А она у нас, — Евдокия голос подает, — вовсе не разговаривает. Немая с рождения.

Стою — сердце полоснуло.

— Так уж, — он-то улыбается, — немая... Немые-то — не слышат. А она и слышит все, и понимает.

— Понимает, ой, понимает, — подхватываю. — Даже книжки французские понимает. И передачи по радио...

Говорю, говорю — голос торопится, будто опоздать боюсь. Сюзанночка юлу с полу взяла. Бочком и — к себе. Вот, думаю, змея Евдокия, или Гликерия забыла передать... В комнату заглянула.

— Ты, — говорю, — здесь пока побудь. А я тебе блинков принесу.

Стул придвинул.

— У нас, — на старух смотрит, — в деревне малец был, постарше меня. Молчал все. Тоже болтали разное: дескать, немой. Лет до семи молчал, а потом ничего, разговорился. Подрос, выровнялся — пионером стал. В войну погиб, правда. А так бойкий вырос. Это он в детстве напугался: раскулачивать их пришли. Зимой на снег выгнали, а потом разобрались — признали середняками. Вот я и говорю: бывает, напугается, а потом и проходит.

Евдокия вскинулась вся:

— Ей-то с чего пугаться? Нас куда не выгоняли. Тихо живем.

Гликерия сидит — глаза отводит. Головой покачала — ладно, думаю, после с тобой разберусь.



Выпили, закусили — блины подаю. Гликерия один подцепила — чует кошка...

— Что ж вы так, — говорю, — Гликерия Егоровна, или аппетита нету?

— Да какой, — отвечает, — аппетит — в мои-то годы...

— Ох, — Николай головой покрутил, — вкусные блинчики. В наших краях на обед не пекут. Глупый народ, суеверный — блины, говорят, на поминки.

— В деревне-то, — отвечаю, — конечно. У нас тоже — на поминки. В городе — другое дело. Обычаи не соблюдают.

— Вот, значит, — обращается, — Евдокия Тимофеевна. Хорошую дочь вырастили. Работящая, скромная, на производстве ее уважают. Я вот тоже...

Батюшки, сообразила. Он же за мать ее почитает. На Евдокию покосилась. Кивает. Молчит. Ну и ладно. Оно и лучше. Чего зря болтать... Я других-то — по имени-отчеству, а к ней — так, без имени: вы да вы.

— Этот-то парень, который молчал, когда уж говорить начал, забыл, что раньше было — ну, пока немой. И взрослый уж вроде, а напрочь из головы вылетело. Вот я и думаю: неужто немота действует? Пока молчишь — и памяти нету?.. Наверное, ведь так... Ох, — вспомнил, — дразнили его потом: «Ну-ка, Минька, расскажи, как тебя раскулачили? Помнишь?» Озлится весь: не было, орет, этого, не было! Не помню! Середняки мы. Так и дразнили его — Середняк.

— А вы, — Евдокия не утерпела, — из бедняков, видать?

— Мы-то — да, — подтверждает, — отец мой из первых записался.

— А чего ж, — спрашивает, — сами в колхозе не остались? Как бы хорошо...

Ариадна глянула коротко — головой покачала.

— Да чего ж, — нахмурился, — хорошего... В городе-то лучше. Вон Петр соседский в армии отслужил — в Москву по-

дался. Приехал. Подарков навез: матери — ситцу, платок еще. Туфли сестре. Хвастал: комната, мол, своя. Зарплату дают деньгами. Мать послушала-послушала, а мне как раз в армию идти... Ладно, — брови сдвинул, — болтаю больно... Давайте за здоровье ваше выпьем: долго живите, не болейте. И чтобы дети ваши здоровыми были да вас радовали.

Евдокия прямо смотрит.

— Хороший тост, — говорит. — Грех за него не выпить.

Николай выпил, отставил аккуратненько. Другие-то не стали. Гликерия одна пригубила.

— Ой, — я-то хватилась, — пойду блинков ей отнесу — обещаю.

Сюзанночка юлой забавляется. Крутит-вертит, лошадка так и бежит. Пригляделась я, надо же: хитро придумали — лошадка эта еще и скачет, вроде по кочкам.

— Ну, — спрашиваю, — понравился подарок?

Глянула на меня: глазки востренькие, понятливые. Неужто, думаю, и про юлу эту не вспомнит? Ну и пусть не помнит — лишь бы заговорила...

Покушали. Николай поднялся.

— Спасибо, — благодарит, — хозяйюшка. Все очень вкусное. Может, комнату свою покажешь — поглядеть.

Евдокия губы поджала:

— Так ребенок там. После обеда спать ложится. Вы уж тут, в кухне побеседуйте. А мы пойдем — тоже приляжем.

Посуду убрала — села к столу.

— Да, — Николай говорит, — мамаша у тебя строгая — генерал. С такой-то не разгуляешься. А эти, другие, сестры ее? Меж собою очень похожи.

«Чем же они, — думаю, — похожи?»

А сама отвечаю:

— Ага, вроде того.

Сидим — он руку-то мою взял. Приятно мне, только слышу — шаркает кто-то. Руку вырвала — сижу. Гликерия в кухню выходит: «Водички, — говорит, — попить. После вина-то — жажда». Нацедила — ушла.

Стихло вроде. Он только-то потянулся — снова шаги. Евдокия дверь открывает.

— Уложила, — говорит. — Только не уснет никак — беспокойная чего-то. Пойду рядом посижу.

— Ну, — Николай встает, — и мне пора. Завтра на работу — лечь пораньше.

В прихожей прощаемся.

— Я ведь тоже, случается, по матери скучаю. Она у меня строгая. А потом — не-ет, думаю... На свободе-то веселее...

Ушел. Посуду взялась мыть. Вольно́ им на свободе веселиться... А тут — вертишься день-деньской, вроде лошади этой. По кочкам да по кочкам... Смахнула слезу.

Гликерия телевизор смотрит — удивляется:

— С утра вроде показывали... Гостя этого.

— Утренний, — Ариадна поправляет, — из Польши был, а этот — из Венгрии.

— Да черт их всех разберет, — Евдокия ворчит, злится, — по мне, так все на одно лицо...

— Ну как же! Поляки за нас воевали. А венгры — за немцев.

— Теперь-то, гляжу, разъездились... В войну надо было.

— А я вот чего слышала, — Гликерия робеет. — Будто бы за границей лучше нашего жили — до войны.

— И немудрено, — Евдокия откликается. — У них, небось, ни революции, ни Гражданской — чего им не жить?

— Вот... — Гликерия ободрилась. — Мне Василий безрукий рассказывал, который у Никольского.

— Помню его, — Евдокия кивает, — в домино играл... Руки-то — по локоть вырваны, так он культияпками наловчился. Еще и зубами помогал.

— Вот-вот, — обрадовалась. — Войну в Чехословакии заканчивал. Ох, и восхищался ихней жизнью. «Там, — говорит, — заводы обувные — Бати». То ли кличка такая, то ли фамилия у них — не поймешь... «Знатную, — говорит, — обувьшили. Офицеры, кто пошустрее, хорошо запаслись — все под чистую выгребли, а я вот, — жалел, — дурак. Руки на войне потратил, а они вона когда бы сгодились. После победы...»

— Дурак, — Евдокия соглашается, — и вправду дурак болтливый... Вот их из города и выслали. Теперь уж помер, небось...

\* \* \*

За мешками на склад иду — Зоя Ивановна навстречу: «Вот, — говорит, — Беспалова. Хорошо, что попалась. В местком зайди после смены — дело к тебе есть». — «Что, — спрашиваю, — за дело? Вроде очередь-то отметили». — «А ты прям как ангел небесный... Думаешь, только и дел у нас, телевизоры ваши отмечать. Сама-то за собой, что — иных грехов не чувствуешь?»

Губы яркие, красные — помадой малюет.

Николая нашла: «Сегодня не дожидайся после смены. Зоя вызывает — надумала чего-то. Не иначе, снова отчитывать примется, чтобы ребенка — в детсад сдать. А чего ей там, в саду? Дети — злыдни: со свету сживут. Считай, отдать на муку».

«Так урезонь ее, — брови сдвинул. — Объясни по-людски. Молчит раз ребенок». — «Что ты, что ты! — руками замаха-ла. — Она ж не знает ничего. Ни одна душа не знает. Ты вот только».

«А и верно, — говорит. — Нашим бабам попади на язык — такого распишут, чего было и чего не было». — «Да это, — говорю, — пусть бы болтали. Ведь другого боюсь: по больницам ведь затаскают, загубят девку». Случай ему рассказала: про

мальчонку того — с водянкой мозговой. «Да-а, — сочувствует. — Врачи-то они всякие. Случается, нарочно вредят... Вон, — говорит, — евреи. Вредителей среди них открыли, я первый голосовал». — «Так, — напугалась, — вроде оправдали ж потом?»

«Этих, — смотрит, — оправдали. А другие-то, может, и вредят». — «Да как-то, — говорю, — не верится. Все-таки врачи...» — «Чего, — говорит, — не верится? Немцы-то тоже не дураки, небось. Лагеря им специальные выстроили. Вот я и думаю: неспроста. Видно, не просто так. В общем, — заключает, — правильно опасаясь. Так и надо».

Иду, а холодно в сердце. Будто пальцы чьи на горле.

А у месткома ремонтники суетятся, леса ставят. Весь этаж лесами загородили. Дергаю, дергаю — заперто. «С другой стороны, — кричат, — иди. С этой закрыто».

Обошла. Дверь открываю — петли пищат. Красить-то красят, а петли смазать — нету их... Захожу. Олифой в нос шибает, а красота у них — прямо не узнать... Стены в зеленое выкрашены, стол большой — новый. Женщины за столом расселись, а Зоя Ивановна — во главе.

«Заходи, — кивает, — Антонина. Мы вот тут женским советом собрались — побеседовать по твою душу. Поговорим, о жизни твоей подумаем. Раз уж меня не слушаешь». Голос ласковый, тихий — будто муха осенняя. Жужжит.

Слушаю, а сама не знаю, и чего на меня нашло?.. Руки мокрые. О халат их вытерла — оглядываюсь. Чай у них, печенье в тарелочках — сидят, нют. Сами в платья переоделись. Видать, в душе успели ополоснуться. Я-то как была забежала, в халате. Пóтом, боюсь, от меня несет. Стул свободный высмотрела — примостилась в уголку.

Зоя Ивановна узел поправила. «Вот, — приступает, — Антонина. Сигналы на тебя идут — на твою беспутную жизнь. Я уж и так и эдак — можно сказать, по-матерински, а тебе — и горя мало: по-своему норовишь. Нехорошо, чтобы

женщина себя не соблюдала — ребенок подрастает, а тем более — дочь. Какой ей с тебя пример? Женщина, она — мать. А потом уж — остальное. По-женски, — оглядывается, — мы тебя понимаем, только и в стороне стоять не намерены — не имеем такого права. Вот и ответь нам: как у вас с Ручейниковым Николаем — серьезно или так?»

Головой киваю, а слов-то не вымолвить. Будто кол в горло вбили. Ни охнуть ни вздохнуть.

«А если, — продолжает, — серьезно, так замуж за него собирайся. А кобениться вздумает, мы его мигом под микитки. Ишь, устроился — бабу нашел. Теперь, говорит, комнату обзаны. Это, я так понимаю, чтобы было куда водить. В комнате сподручнее. В общежитии-то не ахти развернешься».

Гляжу, Парменова Валька руку тянет — просит слова. Сама гладкая, широкая — титьки через грядку. «Я, — начинает, — как думаю. Антонина не больно виновата. Мужик, какой ни есть, а в загс его не затянешь. Раздумывать будет».

Зоя Ивановна ее послушала — носом повела. Только теперь заметила: нос у ней утиный и сама на утку похожа — по столу локтями елозит, охорашивается. «Ничего, — говорит, — мы свою управу найдем. Видали мы таких — раздумчивых».

Тут засмеялись все. И сама с ними смеюсь, вроде и мне смешно.

«Женщина, — Зоя Ивановна лямку поправила, — хранительница домашнего очага». — «Чего-чего?» — Сытина переспрашивает. «Да, — объясняет, — пословица такая. По-нашему, плиты или печки, — руками повела, будто уголья загребают. — Значит, порядка в доме. Мужик — он что? — вроде телка. Которому умная да ухватистая попадетя — и сам такой становится. Вся дурь из него — как рукой... Вон моего возмите: первое время норовил... А теперь и знать не знаю, чтобы с полочки, к примеру, караулить. Кружечку, конечно, выпьет, а так — все в дом. Ты, Антонина, баба добрая, только податливая больно — так-то жизни не построишь. Одна беспут-

ность выходит. А я вот еще примечаю: посторонняя ты. Мы-то все в одном котле, в коллективе, а ты в сторонке будто. Ведь сколько раз говорила: девку свою не гробь. В детский садик отдай. Куда там! — как об стену горох. Уперлась. Будто в садике — враги...»

Бурагова Верка руку подняла: «Где ж это видано, чтоб ребенка счастливого детства лишали? Это ж — не мать, а мачеха!» — «Ты, — Зоя Ивановна заступается, — тоже охолонись. Ярлык-то навесить недолго — много ума не надо. Не для того, — останавливает, — собрались, чтоб ярлыки друг на дружку вешать».

Все-таки добрая она. Спасибо ей, думаю. Бабам волю дай — заклюют. Ей-то, думаю, надо было открыться. Теперь-то поздно, да и не ко времени — не станешь при всех.

Гляжу, Бурагова будто обиделась: «Мне-то чего? — губы дует. — Я ж за ребенка ее переживаю. Ребенок себя не защитит». — «Во-от, — Зоя Ивановна соглашается, — это правильно. Пора, Антонина, за ум браться. Ну, — отпускает, — иди пока».

Вышла. Иду, не знаю куда. Туда ткнусь — закрыто, сюда — снова леса. Мешки по полу навалены, и не перелезешь... И ноги чего-то слабые. Спинай к стенке прислонилась. А в голове одно: дите спасать...

Вижу — идет кто-то. Пригляделась — он. «Ты чего здесь?» — спрашивает. А глаза — добрые, участливые. У меня и отлегло. И то сказать, с какой стати напугалась — будто уже отнимают?.. Тот-то, с водянкой, совсем больной.

«Да, — жалуясь, — мешков навалили, черти». — «Ничего, — руку мне протягивает. — Пошли...»

За проходную вышли, про молоко-то в сумке и не вспомнила. Вот, думаю, страху нагнали, другой страх и отшибло...

«Чего звали?» — спрашивает. «Женсовет, — объясняю, — по мою душу». — «Фу-ты ну-ты, — головой крутит, — совет у них... Генералы. И какая ж на текущий момент диспозиция? Куда главный-то удар?» — «Опять про детсад заводят». Кивнул.

«А я, — мнется, — тебя дожидался, чего подумал. Все равно ведь узнается — рано или поздно. А в саду дети малые — ну посмеются, в крайности. В школе-то хуже. Там уж — зверье зверьем».

Больно мне. А сама киваю: верно... «Только не угадаешь ведь, где оно — хуже». — «Вот это правда, — соглашается. — Не угадаешь. Иногда думаешь — хуже уж некуда. А потом глядь, а все и к лучшему. Сколько таких историй! Вон Петр наш, который с подарками приезжал... Выпили, тоже рассказывал — как сейчас помню...

До войны было. В город приехал, не надеялся сперва. Думал, не скоро еще. А тут, глядит, вызывают: иди, говорят, выбирай. Три адреса дали, на усмотрение — он к тому времени выдвинулся: начальником участка стал. И комнаты большие, просторные, даже с мебелью. Одну посмотрел, другую — в третью приходит, а там старуха. В прихожей на сундуке сидит. Сама старая, страшная — прямо смерть.

Он — мимо. Даже не поздоровался. Думает, все равно глухая тетеря — не услышит. А старуха сама окликает: «Ты чего, мил человек, к инженеру вселяться?» Петр-то удивился: «К какому инженеру? Мне, — бумажку вытаскивает, — смотровую выписывали, сказали, что свободная». — «Свободная, — шамкает, — свободная. Что ни год, аккурат новый постоялец — трое уж вас сменилось». — «И куда ж они, — спрашивает, — деваются?» А старуха-то глядит, головой покачивает: не то кивает, не то так — от старости: «Ну, дак, вселись — сам и узнаешь...»

Поглядел комнату — ох, хорошая. Попрошался — на двор выходит. А мальцы в мячик гоняют. Вот он одного подозвал:



«Не знаешь, — мол, — куда инженер делся, который в такой-то квартире?» А мальчонка даром что малец. «Почему, — смеется, — не знаю... Все знают. Расстреляли его».

В общежитие вернулся, а самому не по себе. «И чего мне, — думает, — этот инженер?» А сам будто голос старухин слышит: «Вселись, — дескать, — вселись...» А комната хорошая, и из мебели много: и шифоньер, и стол обеденный, и стулья. Самая лучшая — из всех из трех.

Вот он день ходит, другой ходит. «Мало ли, — думает, — инженер этот... Я-то, небось, не инженер. А потом, — думает, — малец ведь мог и спутать. Народу-то без числа уезжало — может, на Урал куда, на стройку...» До войны где только не строили — вот и освобождалась жилплощадь. А потом решает: нет. Не буду вселяться. Слава богу, выбор есть — две другие остались.

Снова отправился. Вроде и комнаты неплохие, и соседей немного, а не лежит душа. Так и тянет в ту-то, инженерскую. Сами ноги несут. Ладно, думает, нечистая сила, еще разок гляну — напоследок. А самому страшно... И мужик вроде правильный — не робкого десятка... А тут прямо оторопь его берет: будто сам убивец. Их, говорят, на место тянет... преступления.

Приходит, а в квартире пусто — только девка молодая. Дверь ему открыла, сама в кухню пошла. На сундук покопился — нету старухи. Он в кухню. А девка у плиты толчется — варит чего-то. Вот он ее и спрашивает: «Где, — мол, — тут ваша бабушка? На сундуке сидела?» — «Какая-то такая бабушка? Нету у нас бабушек». А сама белье мешает. Помешает, палкой подцепит и разглядывает. И белье какое-то грязное — в пятнах. Ржавчина будто или кровь... «Зачем нам бабушка?..» И опять — за белье. А из бака — дух поганый, так и несет гнильем. Постоял, понюхал — развернулся уходить. Даже в комнату не зашел. Будто и забыл.

Снова во двор выходит. Взял себя в руки — одумался. «Может, мало ли, нищенка». В деревне много их ходило. Особенно в голод. Мне и мать рассказывала.

Раскулачили одних, на подводу сгрузили. А бабка ихняя в лесу была — по грибы. Вот они всех-то увезли, а ее оставили. Соседи им говорили: «Бабка, — мол, — у них — воротится скоро». Эти-то, городские, подождали-подождали, а потом рукой махнули. «Чего, — смеются, — дожидаться... Все одно по дороге сдохнет — возись с ней. Вернется — сама помрет». Хлеб-то выгребли подчистую...

Вот Петр и прикидывает: подумаешь, белье. Чего он — грязи не видывал? Вонь тоже проветрится. В общем, вселился.

Между прочим, старуха эта так и не объявилась — видать, на разок зашла. А другие соседи хорошие. Мирно жили. И девка эта хорошая оказалась — старика одного обихаживала: дальнего родственника. Обещал оставить ей чего-то, так она обстирывала его. Честный старик оказался. Монеты ей оставил царской чеканки. Сохранил, когда золото сдавали. Это Петр потом уж узнал, когда за девкой этой ухлестывал. Вроде уж и сговорились, только девка эта туберкулезом заразилась — сгорела месяца в три. А перед смертью тайник ему свой показала: прямо в комнате, под полом. Схоронили — он в тайник и полез. А там — пусто. Видно, из соседей кто прознал — опередил. Дом-то старый. Перегородки еле-еле. Повертелся-повертелся, да делать нечего — ведь не докажешь... И прав у него никаких нету. И опасно разговоры подымать. А тут — война.

На фронт его не взяли — бронь от завода вышла. В общем, в квартире этой всех мужиков поубивало, а ему хоть бы что. «Так что, — говорит, — зазря опасался. Тоже думал — к худу. А вышло — к добру. Счастливая оказалась квартира. Предрассудки, — объяснял, — одни суеверия. Мало ли, кто прежде-то жил? Пожили и ладно...»

«А ты, — спрашиваю, — в Ленинграде с какого?» — «Так отслужил как, — отвечает. — С сорок девятого. Первое время надеялся, думал: уж вот-вот. А потом и надеяться бросил. Видно, поздно явился — после войны много комнат было, а потом эвакуированные потянулись — на старые места. Так и прокуковал. Пятнадцатый год скоро... Потом-то и строить начали, да снова очередь. Семейным дают, или как ты вон — с дитем. Ну, — говорит, — ничего. Теперь уж скоро подойдет. А может, в Москву надо было — там-то, небось, больше строят...»

«В Москве, — соглашаюсь, — хорошо. И врачи у них хорошие. Вон докторша рассказывала: один-то — немоту лечит».

«Как это? — удивляется. — Таблетками?» — «Этого, — говорю, — не знаю. Может, и таблетками... А может, заговоры знает. Раньше в деревнях лечили».

«Так ты, — советует, — возьми, да и съезди в деревню. Из старух многие остались: кто-нибудь да ведьмачит».

Какое! — думаю. Разве бабки отпустят... В церковь ходят. Особенно Гликерия. При них про этакое — ни-ни...

Прощались, а сама думаю: про другое-то не рассказала. Забыла прямо. Заболтал он меня, видно, с этим своим Петром. А потом, думаю, да чего они ему сделают? Ну вызовут, в крайности попеняют... Разговоры-то — что? На воротах не виснут. Тем более мужик... Вот мне бы со старухами сговориться: как еще посмотрят?..

\* \* \*

Улеглись все — к Гликерии пошла, постучалась.

— Можно, Гликерия Егоровна? Мне бы поговорить.

С кровати встала, а глаза отворачивает:

— Не виновата я, — оправдывается, — предупредила Евдокию.

— Да чего уж... Дело прошлое. Сболтнула так сболтнула. Я — про другое. Как, — спрашиваю, — вы посмотрите, если я за Николая пойду?

— Имя у него, — отвечает, — хорошее: в честь заступника нашего и чудотворца.

А сама на икону крестится.

— Вот я и говорю: жалеет меня.

— Так-то, может, оно и так, — задумалась, — только ведь опасно.

— В чем же опасность? Из-за Сюзаночки? Так он и к детям — хорошо.

— Да про другое я, — мнетя.

— Так вы уж объясните, — прошу. — Не у кого мне спросить.

Тут она к столу села — мне напротив указывает.

— А сама, — шепчет, — подумай. Не зря говорят: замуж — не напасть... Вот ты молодая еще — всего не помнишь. А я по молодости за графом жила.

— Как это, — изумляюсь, — за графом? Вы что же, Гликерия Егоровна, — графиня?

Спросила, а самой не верится. Графини-то другие, небось. Я и в книжке видела: платья у них колоколом, на голове шляпа с перьями. Уж сколько шкаф ее перетряхивала — тряпье одно.

— Да какая графиня... — смеется потихонечку. — Так жила. Мать-то моя из ихних крепостных. Добрый был, хороший и меня страсть как любил. Венчаться предлагал. А мне и боязно: куда там! Ни сесть, ни присесть не умею. Сказала ему. А он смеется: «Ты у меня самая красивая!» Да так ведь сказал, что я и решилась. А тут — революция. Вот он и просит: поехали да поехали. У нас, говорит, дом есть во Франции — там переждем.

А у меня дочь родилась незадолго. Вот ее в деревню и отправили — в Черниговскую губернию. Имение у них было в тех краях.

— Зачем, — удивляюсь, — отправили?

— Так говорю тебе — невенчаные. Ребенок-то прижитой, незаконный.

Господи, думаю... Это ж нелюди какие-то. Теперь-то, слава богу, не так.

— И что, — спрашиваю, — всех, что ли, отправляли?

— Да, старались, конечно. Скрывали позор. Кого в приют, кого — в семью. Бедные-то семьи принимали за деньги.

Ох, про себя думаю, прямо хуже, чем в Америке. Этих-то с работы только гонят. Вроде не принуждают в приют. Слава богу, что революция... А так-то, не приведи господь, и Сюзанночку...

— Первое время тосковала, а потом — ничего, утихло. Я ж ее толком и не видела. Унесли сразу. И крестили без меня. Он уж после сказал: нарекли Серафимой. Вот я и говорю: «Поедем, только за ребеночком съезжу. Чтобы уж вместе — а там как Бог даст...» А он: «Чего, — мол, — ребенка с места трогать? Вернемся месяца через три». А я: «Нет». Уперлась. Ну он и разрешил. Поезда уж плохо ходили. Пока добралась, а мне говорят — померла. Погоревала-поплакала, а обратно не выехать. Банды гуляют. Через год только и вернулась, а его нету. И в доме его другие поселились. Народу в каждой комнате! Мне и не приткнуться. Дворника нашего встречаю. В третьем этаже занял. Раньше-то в каморке обретался... Вот он мне и говорит: «Граф, его сиятельство, за границу подались». Видно, ждал до последнего, надеялся. А потом стрелять их стали, он и побежал...

Скучала по нему, плакала. А теперь-то и думаю: ну повенчались бы... А потом? Одно дело — любовница. Их не долго ждут. А жена бы? Хочешь не хочешь — а жди. Вот и дождался бы: самого — под пулю, и меня вместе с ним. Сколько их, жен, пропадало — из-за мужей своих... Его-то возьмут — и ее следом... Видно, бог меня уберет. Вон, возьми, у Евдокии. Старшего забрали — и жену. А уж какая барыня

была... Не мне чета. И младший ее тоже. В органах служил. Их черед-то пришел — оба и сгнули, с женой.

— Кого это — их?

— Ну, которые в органах. Но их-то попозже. Допустили пожить.

Сидит, пригорюнилась.

— Ты ведь, небось, как думаешь? Я всегда старухой была?

А в войну сватался один: хороший человек, еврей.

— Врач? — спрашиваю.

— Да-а, — кивает. — А ты-то как догадалась?

— Так, — глаза отвожу, — много их было — из евреев.

— Уж это правда, — обрадовалась. — Евреи — доктора хорошие. А Соломон-то Захарович — особенно. Как случай какой — к нему ведут. И сам из себя видный. На графа моего похож. Не лицом — повадкой. Тоже вдовец. Девочек у него двое. Я уж, было, и решилась. А он и говорит: «Если в Ленинград войдут, меня с девочками из первых расстреляют...» Вот я и подумала: и меня с ними. Пожожу, решила. Наши верх возьмут, тогда и поглядим...

После войны снова начал — выходи да выходи. Наши-то одержали победу, значит, думаю, — судьба. А сама время тяну... И чего тяну — не знаю. Прямо бес вроде под руку: погляди, дескать, как пойдет. И точно: нацию ихнюю сослать намерились. Тут я снова задумалась: выйду — значит, и меня. Потом-то ничего, обошлось, слава богу. Только я с тех пор решила: все. Раз уберег Господь, другой, а третьего, может, и не будет. Так что нечего мне — замуж. Это уж, если по любви великой: чтобы все равно было — хоть на жизнь, хоть на смерть. А с трезвой головы, так уж лучше одной... Перебиваться как-нибудь. Вот, — говорит, — все рассказала тебе. А так-то сама решай. Мы уж старые, долго не протянем. А случись чего, ее ж в приют заберут.

— Женсовет сегодня был. Меры, говорят, примем, чтобы женился.

Пальцем подманивает, в ухо мне шепчет:

— Это они нарочно. Вроде за жизнь твою заступаются, а сами только и думают, как бы скрепить с кем, чтобы сподручнее губить... — С места поднялась. — А так-то, — говорит, — выходи, если всем готова пожертвовать. И жизнью, и дочерью. А теперь, — просит, — одна я хочу. Богу помолиться.

Вышла — села в кухне. Слова ее горькие вспоминаю. Посидела, повздыхала — стирать надо. Который день замочено — завоняется. За тазы взялась, а руки не держат: прямо нейдет из головы. Все меряю на себя — прикидываю: готова ли на погибель... Нет, решаю, никак не готова. Ребенка больно жаль...

Легла — и не постирала. А в голове сумрачно. Прямо думать боюсь. С головой укрылась, собралась с духом, сама себя спрашиваю: «Вот если б Григорий мой — пошла бы с ним на смерть?» Только подумать успела, так легко мне сделалось, прямо сердце будто жаворонком. «Пошла бы, — отвечаю, — пошла...» И радость во мне такая, словно под венец собираюсь. В подушку уткнулась. Плачу, а сама думаю: в девне-то все невесты плачут...

\* \* \*

Евдокия за нитку дернула:

— В Мавзолей этот ходят, ходят... И чего ходить? На покойника любоваться? Своих им мало. Так еще на чужого... Ну чего? — моток отложила. — Была она у тебя? Или примстилось мне?

Гликерия глаза отводит:

— Была.

— Ну и с чем?

— Так, платье, — говорит, — хочет. Еще одно, к лету.

Евдокия левый глаз сощурила:

— Ох, и горазда... Молчала б уже. Вранье твое за версту видать. Ну?

— Замуж, — признается, — собралась. За этого Николая.

— Дождались, — брови свела. Сама туча тучей. — Пожили в спокойе... Теперь по-старому пойдет. Софью — побоку, младенцев нарожают горластых.

— Ну, — Ариадна от телевизора отвлеклась, громкость убавила, — заступимся, если что...

— А они уж тебя послушались! Много она к тебе прислушивалась — Сытина эта? Сидела при ней с поджатым хвостом. Николай-то — ночная кукушка... Ну а ты что? Что, — спрашивает, — присоветовала? Идти али нет.

— Да что я могу... — Гликерия пальцем водит. — Сказала, сама думай — тебе, мол, жить.

— Уж это ты молоде-ец, — хвалит. — Верно присоветовала. Только наперед-то учти: Николай этот каждую копейку по пяти раз сочтет да в рот к тебе заглянет — много ли съела. С твоей-то пенсией — чуть что не впроголодь...

— Раньше-то, — отвечает, — жили...

— Ага, до реформы до ихней. Твои триста семьдесят — еще деньги были. А теперь? Цены-то как скакнули! Антонина рассказывает, а я на ус мотаю. Вот и будешь сидеть как собака: на хлебе да на воде. То-то, — щурится, — на винцо да на селедку облизываешься... Привыкли жировать в барских-то покоях.

Ариадна поглядела-послушала — кулачком как пристукнет:

— Слушать вас, — говорит, — стыдно. У Антонины, может быть, случай единственный... Раз в жизни выпадает. А вдруг — любовь?

— Любо-овь... — Евдокия носом крутит. — Только раньше надо было — пока подол пустой... А с дитем, да с таким, как Софья... В общем, — итожит, — вот вам мой сказ: ребенок



в возраст войдет, тогда уж пусть выходит. Хоть за кого, хоть за пятерых разом. А любовь эта... Лучше бы не было ее — этой вашей любви...

— Грубая ты, — Ариадна головой качает, — а любовь — это же такое счастье...

— Во-во... Задурили вам головы в гимназиях. Ну расскажи-ка, чтоб и мы вместе порадовались: много ли счастья от этой самой любви? Вот ты, небось, замуж по любви выскочила... А я — нет. Родители сговорили. А теперь погляди: чем у нас у обеих дело закончилось? Вот то-то. А я тебе так скажу. Помнишь, в войну-то, песня была — про землянку? По радио все крутили. Ну так вот.

Сижу как-то в приемном, и докторша заходит, Клавдия Матвевна... У ней еще сынок был, аккурат перед войной родился. А муж на фронте. Здесь, под Синявиным воевал. Вот он месяц не пишет, два не пишет, а тут песню крутить принялись — что ни день... Она послушала-послушала и ободрилась: «Это, — говорит, — про меня песня сложена. Уж как мужа жду, и словами не выразить. Всякую ночь думаю: где он, да что... А песня эта — вроде молитвы. Я, — говорит, — в Бога, конечно, не верю, а вот в любовь... На нее моя надежда...»

— Под Синявино? — Ариадна переспрашивает.

Кивнула.

— Сынок-то хоть выжил? — Гликерия клубок нащупала, нитку меж пальцев тянет.

— Увезли. С ним ведь мать ее сидела, покуда не преставилась. Быстро сошла — прямо в первую зиму. Вот она в больницу его и носила. А потом-то, как силы кончились, и не принесешь. Летом — ничего бы еще... А зимой? Вроде и жила рядом, а потягай-ка через ледыхи... Главврач поглядел-поглядел да приказал с детдомом отправить. Она вместе-то дернулась, да военнообязанная... Неужели не помните? Светленькая такая — в чем душа держится... Косы богатые, длинные — укладывала круг головы... Как же называлось?

— Венчик мира? — Гликерия угадывает.

— Нет, — Ариадна лоб наморщила, — венчик мира — это после войны...

— Вещички его собирала — всюду буквы вышила. Как их?..

Ариадна шепчет:

— Инициалы.

— Вот-вот. И ко мне с этим приходила. «Мало ли что, — говорит. — Детей, конечно, учитывают, но мой совсем ведь маленький — имени своего не помнит. А тут поглядят на буквы, догадаются». Все спрашивала меня: «Как, — мол, — Евдокия Тимофевна, думаете?» А как я думаю? Разве скажешь ей?..

— На льду разбомбило?.. — Гликерия нитку дернула — разорвала.

— Не-ет, — утешает, — через Ладогу-то перебрались. Довезли до самого Ульяновска. Там и сгнулу.

— Неужели, — Ариадна изумляется, — и следов никаких?

— А как же? Были следы. Бумагу казенную прислали.

— И что, ездила на могилку?

— После войны поехала, только ведь не сразу... Потом уж, года через три. Первое время, помните? Уезжать-то боялись: уехать уедешь, а обратно — по пропускам.

— Это я помню, — говорит Гликерия. — Вон Марья, сестра-хозяйка, в деревню решила — мать у ней тогда помирала. А обратно ни в какую. Она и так и эдак. А все сроки и вышли. Приписали к колхозу. Потом-то приехала, а комната занята. Там ведь как: сосед в комнате поселился, себе захватил. Она, было, сунулась, а он не пускает — поперек дороги встал. А Марья, глупая, просит его еще: «Вещи бы хоть какие забрать». А он ей: «Нету. Иди отсюда — рвань деревенская. Ищи на помойке». — «Как же, — спрашивает, — на помойке? И платья там хорошие, и кастрюли».

— Ну как же так? — сокрушается Ариадна. — Пошла бы, к управхозу сходила...

— А чего к нему ходить? Сосед этот на продовольствии работал. Почитай, всю блокаду. Продукты на золото менял. Женщина какая придет — в тряпочке колечко или сережки. Тряпочку разворачивает, а сама плачет. Вот он ей хлеба с полбуханки и вынесет, а она еще пуще: «Ребенок, — говорит, — помирает. Последнее отдаю. Хоть бы еще полбуханочки добавить...» А он губы-то пучит: «Прокурор, — мол, — тебе добавит. А не хочешь — не надо». И куда пойдешь?..

— Что же, — Ариадна опять удивляется, — Марья куда следует не сообщила?

— Так он, бывало, и ее подкармливал, чтобы язык на привязи держала. Кусок сунет и учит: «Я, — дескать, — ежели что, от властей всегда откуплюсь. Там ведь тоже люди. Служить-то служат, а кушать все равно хотят...» И как у них выносить получалось? На хлебзаводах-то обыскивали...

— Ну, — Евдокия говорит, — видно, сосед-то непростой. Начальство. Чего им? Через проходную не носят. Война — не война. Даже сподручнее...

— Вот-вот. Управхозу, видать, сунул. Тот ему и выправил ордер.

— Ох, — Евдокия головой качает, — эти-то страсть обогатились. Так и шарили по квартирам. Как помрут, они и — шась... Крысы крысами. Мебель, посуду, утварь всякую... Раньше квартиры богатые попадались, все разграбили в войну.

— Тебя послушать, — сердится Ариадна, — будто бы одни управхозы и грабили... Вон после революции — и управхозов не было, а тоже... И мебель рубили на дрова.

— А и рубили, — Евдокия губы поджала. — Барскую. А чего ж им? Конечно.

— Так что ж она, беленькая эта, нашла его могилку?

— Бе-еленькая... — Евдокия передразнивает. — Не беленькая, а Клавдия Матвевна. Строгая была — ты-то должна помнить.

— Ну не помню, — Гликерия руками разводит, — сколько лет прошло.

— Еще бы, — Евдокия ехидничает, — ты ж тогда шуры-муры крутила: где тебе упомнить...

До Ульяновска доехала и — в милицию. Стала спрашивать: «Где, — мол, — детский дом этот? Из блокадного Ленинграда вывезли». Бумагу им показала. Там и номер стоит, и печать. С номером сверились, а он у них и не значится. Видно, транзитом прошел. Мертвых-то, должно, с поезда сняли и дальше отправились. «Может, во рву каком, — говорят, — у дороги. С поездов-то много покойников снимали — кто ж им вел учет?» Ну походила туда-сюда, постояла на насыпи — сынку своему поклонилась. Так и уехала ни с чем...

Ариадна глаза вытерла.

— Господи боже мой... — печалится. — Бедные они, бедные. Так по рвам и лежат...

\* \* \*

Николай идет — серый прямо. Губы темные, обметанные.

«А ну, пошли-ка, — зовет. — Сама, что ли, сбегала или надушил кто?» — «Куда сбегала?» — удивляюсь. — «Куда-куда... Так в завком. Я ведь как человек к тебе, — страдает, — а ты — вон каким добром...» — «Да каким добром? — напугалась. «А ты, — глазами меня свёрлит, — дурочку из себя не строй. Женсовет они собрали... А с чего, спрашивается? Мужики-то всё-о мне объяснили: ты — в завком, а завком — к женсовету. А эти и рады стараться... Ну чего смолкла? Ставили вопрос?»

«Какой, — не догадываюсь, — вопрос?» — «А чтобы, — глаз не отводит, — женился». — «Да сами они, — тороплюсь. — начали. Я и не заикалась». — «Во-от, — сморщился. — Значит, ставили. Тут она и есть, правда...» — «Да мало

ли — ставили... Пусть себе ставят. Поговорят и забудут». — «Насчет забудут, этого не знаю, а поговорить — уже поговорили...»

Батюшки, думаю...

«И чего?» — «А чего им? — усмехается. — У них разговор короткий. С очереди меня сняли». — «С какой очереди? На телевизор? Так ты не сомневайся: ежели что, я отдам».

Тут он зубы-то сжал, застонал прямо: «Да какой телевизор! С комнаты, с комнаты сняли... К майским должны были... Теперь не дадут».

Слова-то вроде слышу, а в голове — пустота.

«Как же это — с комнаты? Столько лет ведь стоял...» — «А так, — сам-то чуть не плачет. — В завкоме постановили: женьюсь, мол, отдельную квартиру выделяют. На семью. И мастер туда же: “Гляди, — мол, — Николай... Бабы-то больно уж завелись женсоветские: добром, говорят, не захочет, силой принудим”. Только и ты учти: я ведь молчать не стану. И не надейся, — в стену глазами уткнулся. — До собрания дойдет, так все и скажу: дескать, не было у нас ничего. Ребенка на шею мне вешает. Инвалида. До последнего скрывала. Я и знать не знал...»

Тут только поняла. В глазах помутилось. Как стояла, шатнуло меня.

«И когда же, — шепчу, — собрание это?» — «А через месяц. За месяц промеж себя решать, а потом уж — общественность вмешается. Чтоб им всем ни дна ни покрывки...» — выругался грязно.

Рукой цепляюсь: спина ослабла. Все, думаю, отымут дочь. Сама не заметила, как сползла.

«Не губи, — за ноги его обхватываю. — Не губи ребенка...»

Он ноги-то дергает. «Чего ты, ты чего это... — бормочет, — вставай с колен».

Тянет меня, тянет... А я — ни в какую. В ногах у него ползаю. Вырвался: «А ну, вставай с полу. — Поднял, к стенке ме-

ня приставил. Сам красный весь. — Хорош из меня зверя-то делать... Сама ведь все устроила. Чего ж мне, разве ребенка мне жаль? Так что — месяц у тебя. Придумаешь чего — меня не касается. Сама бабам объяснишь».

«Да что ж я, — плачу, — придумаю?» — «А это, — глаза отворачивает, — твое дело. Хоть болезнь сочини какую — по вашей бабьей части. Дескать, замуж непригодная».

«Ох, спасибо тебе... — заторопилась. — Уж ты, — спешу, — не сомневайся: все, что надо, придумаю, лишь бы отступились».

Кругом развернулся — пошел.

Домой бегу, прямо ног под собой не чую: скорей бы уж со старухами поговорить. Даром, что ли, в больнице работали? Присоветуют, какие есть болезни.

Дверь открыла: Сюзанночка меня встречает — улыбается. Юлу в руке держит. Как увидела — передернуло всю.

— Не смей, — кричу, — с игрушкой этой поганой играть!

Схватила, вырвала у нее. Она — в слезы. Евдокия в прихожую сунулась.

— Батюшки! — так и вскрикнула. — И чего ж это делается? На ребенка кидаешься... Пойдем, — зовет, — голубок. Пусть мать-то пока уймется...

Увела. А я и думаю: и вправду как с цепи сорвалась. Ребенок ни при чем. К Евдокии зашла — назад игрушку протягиваю:

— Ничего, — говорю, — деточка. На вон, играйся...

Поужинали. К телевизору сели: новости у них как раз. Глазами гляжу, а слов не различаю. Говорят, а будто не по-русски. В голове-то одно только: болезнь сочинить...

Ну все думаю: кончается. Про погоду завели. И забастовок вроде не было: видно, передышка у них... А может, прежние подействовали — хозяева-то и призадумались...

Ариадна ребенка уложила:

— Чайку, что ли, попить?

— А и попьем, — отвечаю. — Тем более разговор у меня к вам есть.

— Да уж, ясно, — Евдокия спицы сложила, ткнула в клубок. — Теперь у тебя одни разговоры — наперед известные.

— Господи, — говорю, — Евдокия Тимофевна, горе же у меня...

Гликерия так и ахнула:

— Не убереглась? Учила ж тебя...

— Да нет, — голову опускаю, — не это. Не было ничего у нас.

Гляжу, совсем растерялись. Евдокия-то вовсе белая. На дверь обернулась:

— Забрали, что ли?

— Кого?

— Ну Николая этого.

— Куда ж его забирать? — Тут только и догадалась. — Да за что ж его, — удивляюсь. — Типун вам на язык.

— Ну и слава тебе, — крестится. — Остальное-то разве горе?

Растолковала им подробно: и про завком, и про женсовет. Про комнату упомянула, конечно. Только про то умолчала, как в ногах у него валялась. Стыдно.

— Ну, — Евдокия губами жует, — и где оно — твое горе? Так ему, кобелю, и надо, чтобы впредь не повадно.

— Нет, — объясняю, — они ж чего заставляют? Женишься, говорят, квартиру дадим.

— Чего-то я совсем запуталась. Это что ж они, аспиды, намерились?

— Да они, — говорю, — ладно... Сам он — ни в какую. «Не желаю, — мол, — с ребенком, с инвалидом».

— Ишь, — Евдокия головой крутит, — видали, скотина безрогая. С инвалидом он не желает... Я те дам — инвалида! Да

в десять раз умнее любого разговорчивого... А ты, дура, чего горюешь? Нет женихов, и этот — не жених.

Тут, чую, снова сердце ослабло.

— Так разве ж о себе... Он-то чего грозитя: правду им раскрыть. Дескать, ребенка больного утаила... Прознают, по больницам замучают или в интернат. Месяц всего и дал, чтобы хворь придумала. Женскую, когда замуж не берут.

— Тьфу! — Евдокия в угол плюнула. — И только-то? Дак возьми и придумай. Вон их — болезней всяких... И бесплодие, и опухоли разные. Только выбирай.

— Туберкулез вон еще, — Гликерия помогает. — Опять же опущение матки. После войны сколько с этим маялось — тяжестей-то понатаскались.

— Так они справку, небось, потребуют — на слово не поверят.

— А ты, — Гликерия подсказывает, — возьми да сходи. У баб через одну хвори. Как придешь, чего-нибудь обязательно найдут. Вот и получишь справку. А в завкоме много ли принимают? Им-то что: болезнь и болезнь.

Ох! Обрадовалась. И вправду, что ли, сбегать... Вон живот-то у меня крутит — как чего подыму. Бумажку суну — мигом и отвяжутся.

Так ободрилась, прямо за стирку взялась. Тазы тягаю, а сама радуюсь: докторам только попадись... Болезней у них — цельные книжки. Авось, какую и подберут...

Ложиться стала: снова кровью мажет. А я и рада — утешилась совсем.

До обеда доработала и — к мастеру. «Вот, — говорю, — в консультацию мне надо. Уйду чуток пораньше?» — «Ну ты, — ворчит, — момент и выбрала: конец квартала. Раньше-то не могла или уж попозже? Температуришь или чего?» — «Нет, — глаза отвела, — я по женскому делу». — «Ну это, — разозлился, — разве срочно? И шла бы после сме-



ны». — «Нельзя, — говорю. — Очередь там, в консультации. Поздно явлюсь — не примут»...

Прихожу. Докторша приятная, молодая. И прическа у ней завитками, как в телевизоре. Вот, думаю, работа у них хорошая — не то что у нас в цеху. По лоб ведь замотанные ходим — и не видать из-под платка.

— Вы, Беспалова, когда в последний раз посещали? Карточки вашей нету.

— Да я, — отвечаю, — и не болела. Беременная-то приходила, конечно. Только другая доктор сидела — на вашем месте.

Вот она все расспросила: и про ребенка, и про роды. Листочек заполняет.

— Аборты были?

— Нет, — отвечаю, — не было.

— Половой жизнью живете?

Господи, напугалась...

— Нет, — говорю, — уж этого — нету.

А сама думаю: разве что во сне...

Докторша в листочке своем отметила.

— Так. На что жалуетесь?

— Да я, — говорю, — и не знаю... Живот бывает побаливает... На работе натаскаешься, и дома тоже... Тянет вниз.

— Ну, — со стула встает, — раздевайтесь, пожалуйста.

Одежку снимать стала: башушки, трико-то штопаное. Не доглядела с утра. Комком под одежду пихнула. На кресло это взобралась. А про себя отмечаю: аккуратная, руки под краном моет.

— Руки, — велит, — на груди сложите.

Помяла, помяла — нахмурилась.

— Мне бы, — прошу, — справку надо — в завком предъявить.

А она меня не слушает.

— Выделения часто? Обильные? Давно мажет кровью?

— Это, — признаюсь, — случается — мажет. Да уж с год.

— Что ж вы, — докторша сморщилась, — раньше ко мне не явились? Ребенку вашему сколько?

— Так шесть вот-вот будет. В школу через год.

— Вам, — к столу своему пошла, в листок заглядывает, — на операцию надо ложиться. И дело это срочное. Думайте, с кем ребенка оставить. Родные есть?

Что еще, думаю, за операция? Не было ж у нас...

— Мать, — отвечаю, — была. Померла.

— Опухоль у вас, Беспалова. В матке.

— Как же это, — растерялась. — Неужто сразу резать?

Может, таблетки какие или мазь?

— Да какие, — головой трясет, — таблетки! Раньше надо было — запущено совсем.

— А это? — свое вспомнила. — С болезнью... Можно замуж?

Тут она листочки свои оставила, на меня как зыркнет:

— Вы, Беспалова, замуж собрались?

— Да нет, — отвечаю, — не то чтобы... Так интересуюсь.

Мало ли, на будущее, а вдруг сложится... Один-то раз не сложилось.

— Можно, — глаза отвела. — Все можно. Только мужу не признавайтесь, что матка у вас вырезана... В общем, сдавайте анализы и — ко мне. Только уж хоть теперь не тяните. Чем раньше, тем лучше.

— А справку-то, — помню, — справку?

— Справку после операции получите, в больнице.

— А завтра как, — растерялась. — Обратю в цех?

— Да какой цех! — прямо кричит. — Домой, домой идите.

Кровоточит у вас...

Вышла, а с мыслями не сладить. Как же это будет? Операция все-таки... Во двор спустилась — села на лавку. Вот, ду-

маю, жила, себя соблюдала... Бабы-то как гуляют, и ничего им. Надька, вон, Казанкина... И запоминать не успевают. То один у нее, то другой... Что ни год, на операцию ходит. Отлежится и снова за свое. Уж сколько с ней бились... «А чего, — лыбится, — я в своем праве. Теперь законом не возбраняется...» А мне-то, гадаю, за что?

И горько так стало. Посидела, собралась с мыслями. «А вдруг, — догадываюсь, — во сне-то тоже считается... Был же грех...»

До булочной дошла, а низ-то болит. Докторша эта расковыряла: и чего было мять...

Старухи встречают: «Ну, дали справку?» — «Нет пока, — отвечаю. — А болезнь нашли. Опухоль у меня в матке». — «Господи, — Евдокия руками всплеснула, — у тебя-то — с чего? Молодая еще... В матке — это к старости ближе».

«Ты, — Ариадна вступает, — сама-то как себя чувствуешь?»

«Да побаливает маленько или, бывает, мажет. Докторша тоже сказала: иди, мол, кровоточит». — «Ну, — Ариадна подбадривает, — кровоточит-то от разного. Мало ли, полип образовался... Что, назначили лечение?» — «Так, — отвечаю, — какое у них лечение? Сказали резать».

Гляжу, головой качает.

«Ладно, — утешаю их, — обойдется, может».

\* \* \*

Сели, Евдокия снова жалуется.

— Плохо мне с утра. Вязать взялась, а нитки у меня путаются. И петли кривые выходят — не поймешь, не то изнанка, не то лицо.

— Так ты, — Гликерия советует, — узор бы взяла попроще.

— Да куда уж проще: пúтанка. Сколько раз вязала, а сегодня — прямо руки не владают... И кошки под утро снились.

— Черные, что ли?

— Всякие, — отвечает. — Сижу будто. А вокруг — клубки. Вот кошки с ними и резвятся, катают в когтях. Встать бы, думаю, шугануть шваброй, а сил и нету... Клубки-то эти и раньше снились. А кошки — впервой... Видно, — говорит, — плохо ее дело. В таком-то возрасте *процессы*, ох, шибко идут...

Вон, помню, у одной грудь затронуло: резали, резали — все одно в полгода сгорела. А уж как она, бедная, надеялась — в глаза всем заглядывала. А врачи-то чего? Утешали ее, конечно. А промеж себя — другое. Померла — двоих оставила. На мужа.

— Да что ты! — Гликерия пугается. — Опухоли-то всякие: может, и не *процесс*... И докторша совсем молодая. В больнице врачи опытные — посмотрят. Вон, рассказывали, перед самой войной мужчину привезли — тоже на онкологию.

Евдокия перебивает:

— К нам, что ли?

— Нет, — отвечает, — в другую какую-то. Вроде там, на Международном.

— Ну? И чего?

— Разрезали. Смотрят: метастазы. И такие страшные — и в печень, и в почку. Ему-то не сказали, только и сам грамотный — в карточке прочитал.

— Как это? — Евдокия сомневается. — Карточки в ординаторской — под замком.

— А у него, — объясняет, — амуры начались — с одной се-стричкой. Она ему и открыла.

— Аму-уры! — Евдокия головой крутит. — Метастазы — какая стадия? Там уж не до амуров...

— Ох, — вздыхает Гликерия. — В этих делах всяко бывает, я уж нагляделась. Сами-то вроде одной ногой в могиле, а туда же... Вон у нас один — туберкулезный...

— Ладно тебе! — Евдокия окорачивает. — Кто про что, а вшивый про баню. Замолчала — обиделась.

— Ну, — та-то торопит, — а дальше чего?

Вздыхнула.

— Так война как раз. Ну домой его выпустили. Умирать. А он — раз! — в военкомат. Все равно, думает, конец, так лучше уж с пользой — на фронте. А этим-то, в военкомате, тоже разнарядка. По добровольцам. Вот они его и взяли. Все равно, думают, ополченцам-то этим — на смерть...

— военкоматах, — Ариадна сомневается, — ведь тоже коммиссии были — отбирали по здоровью.

— Так в сорок первом же, — волнуется, — хорошенько-то вспомни...

— Ох, и правда, — Евдокия вздыхает. — Не знали, куда и кидаться...

— Ну вот, пошел он. Вначале-то, конечно, сказывалось — боли у него и слабость. Смерти искал. Нагляделся, видно, как раковые умирают... Как какое задание — он уж первый: и в атаку, и в разведку... Смотрит, а смерть-то его обходит: здоровых как серпом косит, а его милует. А тут как раз десанты пошли — под Синявином. Утром выбросят человек двести, а к вечеру считают. Хорошо, если с десятка осталось, и те покалечены. Вот и решил он сам попроситься. Дескать, смерти последнюю проверку сделать. А им-то что, раз он сам? «Дак иди», — говорят. Приготовился, письмо родным написал и пошел. Как уж там было — никто не знает. А вернулся один-единственный. Первое время в беспамятстве лежал, не узнавал никого. Мертвых своих видел — с кем в десант отправлялись. А потом ничего — пришел в себя.

Чувствует: нету боли. И тошнота прошла, и слабость. Так и дошел до Берлина. Возвращается — думает: в больницу надо сходить. Провериться все-таки. Приходит. Врачи его карточку открыли — изумились. Он уж мертвый лежать должен.

А он — живой и в орденах. Стали смотреть, а нет метастазов: одни здоровые ткани.

— Как же так? — Ариадна прямо и ахнула. — Куда ж они исчезли?

— А пропали, — отвечает, — будто и не было их. Сами собой рассосались. Он-то верующий, должно. Чудеса ведь по вере...

— С раком с этим, — Евдокия говорит, — всяко бывает... Я тоже слышала: дескать, клин клином. С испуга какого или, еще лучше, с горя. Только горе-то не любое, а смертное. Что-бы уж самое ни на есть... Вот смерть со смертью и сцепятся — навроде собак. Бывает, одна одолеет, а бывает — и обе отступятся: загрызут друг дружку...

— Я читала, — Ариадна вспоминает. — Только в книге по-другому сказано: Добро со Злом.

— Не зна-аю, — Евдокия раздумывает. — Смерть со смертью — видала. Страх со страхом. А чтоб добро со злом... Когда писали-то?

— Давно, — рукой махнула, — до революции.

— Ну дак... В те времена и жизнь другая была, и смерть. И зло с добром другие. Раньше-то силы ихние одинаковые — неизвестно, кто кого переборет... А я так скажу: случай — случаем, — нахмурилась, — а хирург, видать, хороший попался. Все, что надо, отрезал. Теперь-то — не то. Не знаю я этих, нынешних. Прежние в царское время учились: вот бы тем показаться...

— До войны, — Гликерия застывает, — тоже учили. Студентов пришлют, так Соломон Захарыч их учит — они уж с ног собьются. Ходят за ним, в тетрадки записывают. Спрашивал строго: что да как...

— Постой-ка, — Евдокия вспомнила, — так Соломон-то твой — гинеколог.

— Хватилась! — руками разводит. — Где ж его теперь... Лет двадцать не виделись: может, помер.

— А так-то, — Евдокия говорит, — с бухты-барухты и — под нож... Этим-то все одинаково: что человек, что собака. А потом чего? Как мы одни — с ребенком?

— Господи, — Ариадна первой сообразила. — Случись что, нам ведь ее не оставят. В детдом заберут. Мы ж ей — никто.

— Как это — никто?.. С какого рóстили... Неужто в приюте лучше?

— А ну, тихо, — Евдокия цыкнула. — Ариадна дело говорит. Сколько случаев: родным бабкам не оставляли, а тут — нам... Ох, — стонет, — дура я беспросветная... Своим умом не дошла, а вон оно — горе. К дому подходит — в ворота стучится. Все, — отрезала, — одна надежда на Захарыча. Хоть костыми лечь, а сыскать.

— Да где же?.. — Гликерия напугалась прямо. — По городу, что ли, рыскать, в дома стучаться? Много ли вы́ходим — на таких ногах? А помер если? Не призовешь с того света...

— А хоть бы и с того, — Евдокия сидит — лицо скорбное, каждая косточка видна. — Он — надежда наша и спасение. Больше рассчитывать не на кого.

— Свят, свят, свят, — крестится. — Слова твои — богохульные. Спасение-то — от Бога.

— А ты, — губы поджала, — Господом меня не стращай. Не хуже твоего верующая. Только Бог-то от жизни нашей отступился. Разве допустил бы этакое? Уж я всю жизнь на коленях: и что, отмолила кого?.. Ладно — мы проклятые. А Софью не дам. Накося, — дулю сложила. — Вон им — аспидам. Весь мой сказ.

— Да как же? — Гликерия бледная сидит. — Мы против них — козявки. Не заметят, как раздавят...

— А я, — говорит, — за жизнь ихнюю не держусь. Пожила-повидала, слава Богу. Есть чего на том свете рассказать. И в аду такого не выдумать, чего на земле сподобили. Так что нечем меня стращать — пуганая. Всю жизнь продрожала — хоть напоследок разогнусь... А ты, ежели сомневаешься, посиди да подумай.

— Не о чем, — обижается, — мне думать. Привыкли из меня дуру делать. А я вот скажу: ежели жив — найти-то всегда можно. Я вот кино видела — до войны. Там ехал один да влюбился по дороге. А девка-то ускользнула...

— Тьфу, — Евдокия плюнула, — это-то здесь при чем?

— Так он фамилию ее выведаль и — в адресный стол. Фамилия у него редкая — не то Рафульсон, не то Рифальсон. Я, — смущается, — и по молодости путала, а переспросить неловко... Нация у них больно обидчивая.

— Так, — Евдокия плечом повела, — тоже пуганая.

— А где же, — Ариадна оглядывается, — этот справочный стол?

Молчат — глядят друг на друга. Дальше церкви сколько лет не ходили.

— Ничего, — Евдокия говорит. — Язык, слава богу, не отнялся. От людей разузнаем. В Никольском порасспросим, а то и у нас в конторе. Вон к майским-то все одно идти — стоять за мукой...

— А Софьюшка, — Ариадна вспомнила, — где?

— У себя сидит. Снежинки из бумаги режет. Гликерия научила, так теперь не оторвешь. Сколько бумаги извела.

— Красивые у ней получаютя, кружевные. Всю землю, говорю ей, засыпешь. И зимы не надо. Вон, говорю, весна уж на дворе. Какой теперь снег?

За окно глянули, а там и правда сыпется. Вроде и не будет весны.

## IV

### Гликерия

Гликерия сервиз с полки снимает — что уцелело. Чашек — пять, тарелочек мелких — четыре. Блюдец всего ничего — три. «Блюдца, — Евдокия указывает, — убери. Прошлый раз



нехорошо получилось — разнобой. Уж лучше тарелочки заместо. Ариадна витые ложечки даст».

Гликерия суетится, оглядывается. «Давай уж, — говорит, — у тебя Соломон Захарыч — обеспеченный: в кухне не привыкши». — «Да как у меня-то?» — «Ох, — спохватилась, — там же Антонина лежит».

«Вот ведь как бывает, — Ариадна ложечки протерла, — сколько лет рядом жили — не встретились. А ведь мимо дома его ходили...» — «Так лет десять, поди. С дочерью старшей сменялся. В отдельной теперь живут — сами по себе». — «Надо же, — Ариадна удивляется, — а я и не думала, что остались. Отдельные, думала, только в новостройках». — «Здравствуйте! — Евдокия руками всплеснула. — У нас-то, во втором, балерины проживают. Тоже сами по себе».

«И тебя, — Ариадна радуется, — сразу узнал...» — «Звоню. Открывает. Здравствуй, говорит, Гликерия Егоровна. Вроде вчера расстались».

«Да-а, — Евдокия тянет, — уж в этом ты преуспела. Другой и через год не вспомнит. А этот, вишь, через сколько лет. Все ж таки дура ты была — графа дождалась. Надо было за Соломона идти: видный, самостоятельный. Доктор опять же...» — «Сердцу-то, — глядит, — не прикажешь». — «Вот я и говорю — дура».

«Ой, — Ариадна вспомнила, — чай ведь мы забыли. Тонечка сама не напомнит. А Софья где?»

«Так, — Гликерия отвечает, — с матерью сидит. Второй день не отходит. Чует, видно...»

«Ну всем ты, — Евдокия говорит, — взяла... Одно горе: отпевать мастерица. Соломон и тот-то не знает, а ты уж караешь. Будто за язык тебя тянут». — «Сказал же: печень». — «Мало ли — печень... Сходит, разузнает. Поговорит». — «Не прогнали бы», — опасается. «Да не-ет, — Гликерия ее утешает. — Врач врача не погонит — уважительные со своими».

— Ну, — бабушка Гликерия спрашивает, — все сидишь? Дала бы отдохнуть матери.

— Пусть, — мама рукой шевелит. — Наотдыхалась в больнице. Хлеб-то купили, — спрашивает, — и молоко?

— Не в блокаду, — чашку поставила, марлечкой сверху прикрыла, — булочка еще есть. Голодными, бог даст, не останемся.

— Все-таки, — шепчет, — надо бы сходить. На ужин-то... А я, — жалуется, — заводских стараюсь представить — не выходит. Одна больница на памяти. Проснусь и не знаю: где я?..

— Не привыкла еще. Евдокия вон тоже жалуется: никак к твоей комнате не привыкнет.

— Так зря вы меня сюда. И там бы полежала.

— Вот поправишься, — бабушка Гликерия утешает, — обратно перейдешь. С телевизором и болеть веселее... Ты уж, — ко мне поворачивается, — не беспокой мать.

Мама поглядела:

— Умница она. Знай картинки свои рисует.

— Вот и хорошо, — по головке погладила, — вот и рисуй.

*В середине — комната. Мама на кроватке лежит. Бабушки шептались: всё у нее отрезали. Как же — всё? Вон и ручки у нее остались, и ножки. Чашку взяла, водичку пьет. Снова перепутали. Ничего не знают...*

*В углу — телевизор. В телевизоре дядька. Это у него все отрезали. Одна голова и осталась. А он и рад: зачем, говорит, мне туловище? Голова-то одна — лучше. И мыться не надо...»*

*А сверху — облачко. Отец на облаке сидит, на нас поглядывает. Мама на него смотрит, а дядька мертвый сердится. «На меня, — зовет, — смотри...»*

Мама картинку взяла. «Вот, — говорит, — молодец, хорошо нарисовала. А наверху-то кто же это? Сосед, что ли, наш, Петр Матвейч?»

*Нет, головой качаю. А мама глазки закрыла — не хочет глядеть...*

\* \* \*

Соломон передохнул, чаю напился. «Плохо дело. Запущенный процесс. Ученик мой в больнице работает. Он операцию делал. Что могли, сказал, вырезали. Но печень затронута. В общем — дело времени. Приготовиться надо». Платок достал — вытер лоб.

Евдокия замерла прямо. «А печень если отрезать?» — «Нельзя, — Соломон Захарович объясняет, — непарный орган. Почку, — говорит, — или легкое — и то гарантии нету. А печень нельзя».

Гликерия как стояла, столбом застыла. «Что ж это?..» — шепчет.

Руками развел.

Ариадна первая справилась: «Родных ведь у нее никого. И ребенок маленький. Мы-то хоть вырастили, а чужие...» Гликерия как всхлипнет. «Цыц, — Евдокия шикнула, — слезы-то после лить. И сколько же у ней времени?» — «Трудно сказать, — задумался. — Возможно, полгода, а может быть, и меньше. Тут ведь не угадаешь». — «К Успению, значит, отмучается», — рот щепоткой прикрыла.

«С ребенком-то что будет?» — Ариадна на своем стоит.

«Попытайтесь, — советует, — опеку оформить. Документы необходимые соберите. Во-первых, в ЖАКТ надо сходить. Пусть напишут, что вы ее с самого детства растили». Голос слабенький, одышливый. Говорит и сам не верит.

Евдокия послушала. «И что ж, — усмехается, — неужто дадут по бумагам? Отнять задумают — им бумаги не указ». — «Попытаемся, — Ариадна спешит, — конечно, ходим, попробуем. По вашему совету».

Евдокия глянула — махнула рукой.

«А муж ее где? — Соломон лоб наморщил. — Отец ребенка. Пусть бы взял на себя, хотя бы формально». — «Как это?» — Гликерия переспрашивает. «Ну, — объясняет, — по документам. А так жила бы с вами. С него алименты только». — «Нет, — Евдокия губу скривила, — алиментов. Без отца рóстим».

«Плохо, — Соломон Захарович хмурится. — Значит, потеря кормильца. Мало того что в детдом отправят, и комнату отберут. Вдвоем с матерью прописаны?»

Вдвоем, кивают, вдвоем.

«Несовершеннолетним комнат не полагается. Комиссию соберут — решать».

Евдокия как услышала — серая стала. «Если, — говорит, — по закону, тогда все — конец».

Гликерия в глаза ему заглядывает: «Ты уж, — ладошки сложила, — Соломон Захарыч, помоги — не брось». — «Да чем же я могу... — сморщился. — Пока работал, связи хоть какие-то были: у меня ведь *жены* наблюдались», — пальцем в потолок тычет. — «А ученики, — Гликерия подсказывает, — сколько обучил...» — «Мало надежды, — усмехнулся. — Раньше — другое дело. А теперь совсем слабая надежда».

«Ей-то, — Гликерия вперед страдает, — как скажем? Или уж молчать?..» — «Обычно, — задумался, — скрывают. Но ваш случай — особый. Может, вспомнит, как отца найти или родных... Мало ли, в деревне кто-нибудь остался. Братья или сестры... Поговорите, — советует, — узнайте деликатно».

Телефон на бумажке оставил — ушел. Гликерия до дверей проводила. «Ишь, — бумажку разворачивает, шепчет, — мало что отдельная, так еще с телефоном...»

Евдокия сидит — за голову обеими руками взялась. «Нет. Пока молчать будем — нечего прежде времени в землю вгонять. Тебя-то в особенности касается. Ты у нас мастерица

болтать — что к носу придет. День наступит — скажем. Или сама догадается, когда боли начнутся». — «Да я, — Гликерия страдает, — разве ж...»

«А нам, — Евдокия не слушает, — за дело пора братья. Ты, Ариадна, в контору сходишь. Меня-то на дух они не терпят. Сколько с ними собачилась... А ты у нас образованная, культурная. Вот и пригодится. Поговори с ними по-хорошему. На всех не дадут — пусть на тебя хоть выпишут. Не крестная, а тоже — в ответе». — «Господи, — Ариадна растерялась, — им-то что до это?.. Ты думаешь, надо сказать?»

«Им, — Евдокия учит, — не надо. Не для них говорю — для тебя. Со справкой и вправду сподручнее. Вдруг и в комиссии не звери: прислушаются. Только лишнего, — остерегает, — не ляпни. А то находит на тебя. Как ляпнешь глупость... Иной раз думаю, блаженная... А с Антониной я сама уж поговорю. Про отца разузнать попытаюсь, про этого кобелину. Мало ли, след его объявится. Захарыча-то нашли...»

«Тоже через адресный?..» — Гликерия снова надеется. Евдокия задумалась — покачала головой.

Сходила. Назад возвращается. «Ну?» — Евдокия приступает.

«Ох, не могу, — стонет. У самой губы трясутся. — Что за люди, что за люди...» — «Это, — окорачивает, — ты брось. Охи да ахи свои. Не в гимназиях. Ты дело говори».

Водички попила.

«Прихожу, а там очередь. К начальнице все сидят. Я тоже заняла. Захожу, а она на меня и не смотрит. Как сквозь стену. “Справки, — говорит, — не ко мне”. Дело у нас, объясняю, особенное, деликатное. Сюзанну Беспалову мы растили — бумагу бы об этом получить. “А это, — прищурилась, — зачем? Растили и растили — небось, не за так. Вон мать-то ее который год на вас батрачит — живете, как баре. Я уж, — говорит, — давно к вам присматриваюсь, и сигналы к нам идут.

Развели, понимаешь, эксплуатацию. Прямо царский режим. А теперь вон чего — справку им...»»

«А ты?» — Гликерия замирает.

«А что я? Про болезнь-то не скажешь. А она: “Во-он оно! Прописать, небось, задумали, комнату ей оставить. Не выйдет по-вашему. Ни со справкой, ни без справки. Комнаты у нас государственные. Распределяют их по закону. — В книгу конторскую полезла. — У Беспаловых на двоих девять пятьдесят. А ваша, — тычет, — все девятнадцать. И обмен надумаете, тоже не пропишут. По причине ухудшения условий”. Но у них-то, возражаю, улучшатся».

«Вот-вот, — Евдокия кивает, — этого и боятся. Ну а ты?»

«Нам, говорю, недолго осталось. “Вот, — отвечает, — и помирайте на здоровье. А Беспаловы пусть в очередь становятся. Если их еще поставят. Очередь, к вашему сведению, по четыре с половиной метра. А у них по четыре семьдесят пять — выходит, излишки”. К двери пошла, а она мне в спину: “Ушлые какие! Одной ногой в могиле, а все ловчат”».

«А ты?» — «Ну что я... — мучается. — Молчу».

«А и зря... — Евдокия глазом сверкнула. — Вот и сказала бы. Спасибо, мол, дескать, за заботу. Хорошо-о живут Беспаловы. И правда излишки. На том-то свете по два метра выделено, а у вас не в пример — аж по четыре с половиной... Так, — итог подводит. — Значит, барыни. Ну, графиня, — к Гликерии обращается, — гулять собирайся. Молока по дороге купите и пшенички. Кашу сварю на вечер. Антонина проснется — может, тоже поест».

До Никольского дошли — бабушка Гликерия заглядывает:

— Подсохло вроде все. Вон дорожки какие чистенькие. Пойдем, голубка моя, походим. Газоны-то, поди, грязные, а травка уж свежая — то-оненькая... Стелется, будто дымок по земле...

— Ты, — учит, — по грязи не шлепай. Шаг сделаешь — вмиг вступишь. Под снегом-то все спряталось: и какашки собачьи, и гнилье. Вот они и думают, будто грязь в землю ушла. А земля тугая, мерзлая — ихней грязи не принимает. Тебе, — вокруг себя оглядывается, — всего запомнить надо, пока время у нас есть. Дом наш — вон где. А тут собор. Сколько лет ходили, должна уж помнить. Если что, колокольня высокая. Ее отовсюду видно. По ней и равняйся. А из-за канала вый-дешь — там другое: через мостик надо идти, мимо львов. Львы-то каменные — что им делается? А людей, — пальцем грозит, — не спрашивай. Мало ли... Запутают, заведут. Я, — утешает, — букочки твои вышью. Так что на себя надейся — по памяти ступай.

*Оглянулась: где ж она их вышьет? На домах, что ли? На домах рисовать можно, а еще лучше — на дорожках. Прутик взяла: буквы большие, кособокие — криво стоят.*

Бабушка Гликерия поглядела. Правильно, кивает, умница. Пиши, запоминай...

А сама слезки вытерла и говорит:

— Завтра гулять пойдем — в другую сторону обернемся. С Офицерской надо приноровиться. *Эти-то* чего подумают: дескать, маленькая еще, неграмотная. Пусть идет, все равно не помнит. А ты, знай, молчи. «Правда, — кивни. — Это я так, мол, гуляю. Похожу и к вам вернусь». А сама помни: с какой стороны ни зашла, все тебе известное. И собор, и театр этот, и мостик...

*А-а... Догадалась. Это проснусь когда... Сто лет пройдет — домой и пойду. А эти в подвале сидят. Выглядывают, караулят. Другие дети тоже идут, букочки свои собирают. А они когти-то наострили, грозятся съесть...*



Бабушка Евдокия в комнату заходит:

— Чего это ты рисуешь, Красную Шапочку? По городу, что ли, бродит? А это кто ж у тебя? Серый Волк? — Поглядела-поглядела. — Не пойму, — говорит, — никак. Цветочки какие-то нескладные — на буквы похожи. Что ж они, буквы твои, из земли растут?..

А бабушка Гликерия в уголок спряталась. Платьице мое разложила, вышивает. Тут бабушка Евдокия ее заметила. Подошла, под руку заглянула:

— А ну, — зовет, — выйдем-ка.

Бабушка Гликерия напугалась, за ней пошла...

«Стало быть, — напротив встала, — вот ты чего задумала... Вышьешь буквы, и пусть себе уводят. Не будет этого. Так и знай, не будет». — «Может, — Гликерия просит, — на всякий бы случай...»

«На какой такой случай? В казенное переоденут. Свое-то сожгут». — «Как же?» — Руки сложила, к горлу прижимает. Евдокия всхлипнула, к плите отвернулась. Не ушло б молоко...

Ариадна заходит — к столу садится. «Где б узнать, там передачи принимают или это тоже запрещено?» — «Бывает, — Евдокия сгорбилась, — примут». — «А повидаться?» — «А уж это на ихнее усмотрение. От всякого зависит, от поведения...» — «Так она ж, — Гликерия торопится, — послушная девочка. Хорошо себя ведет».

Дверь прикрыла.

«Я вот чего, — шепчет. — Больно старые мы. Как уводить станут, сердце и не выдержит. Нам-то хорошо... А ей здесь остаться. Вот если б, — на дверь оглянулась, — и ее — с собой...»

Ариадна глядит — глаза остановились: «Как это — с собой?»



«Свят, свят, свят, — Гликерия и сама напугалась. — Прости душу грешную, оборони Господь, не знаю, что и несу...» — «Это, — Евдокия к крану пошла, воду включила, — я уж прикидывала: лекарство какое... Вот бы и...»

Вода шумит, бьется. «В войну, — Гликерия шепчет, — начальник этот у Гитлера, как же его? Так жена всех отравила, лишь бы в руки ихние не попались — пятеро было или шестеро...»

«Да очнитесь! — Ариадна крикнула тоненько. — Зверям уподобляться?!»

«Ох, — Евдокия встала, закрыла воду. — И не знаешь, где люди, где звери. Будто в лесу живем. Грехи наши тяжкие... Мысли ползут — незнамо откуда...»

«Антонина получше сегодня... — Гликерия чашки собирает — уводит разговор. — Кашки съела, пару ложечек. — А голос-то дрожит. — До туалета сама дошла. Может, вкусенького ей купить — рыбки или сыру? Вчера вон шоколаду запросила. Хочу, мол...» — «Деньги-то, — Евдокия нахмурилась, — кончаются. Пенсию принесут — тогда уж...»

«Я вот... — Гликерия думает. — По больничному аванс-то дают? Может, сходить к ним?» — «На нас, — Ариадна прикидывает, — в любом случае не выпишут. Там все по документам». — «А чего... — Евдокия Гликерию поддерживает. — Жених-то за мать меня принял. Вот и явлюсь, будто мать. Рублей хоть тридцать, хоть сорок». — «Далеко-о... — Ариадна сомневается, — да и найдешь ли?» — «Что ж я, — обиделась, — дура какая... Антонину расспрошу»...

Ужинать собрались, Соломон Захарыч как раз, прямо к столу. Гликерия обрадовалась, приглашает. «Да я, — дышит тяжело, — на минуточку». Стоит, шапку мнет.

В кухню провели.

«С опекой — безнадежное дело...»

Ариадна к Софьюшке оборачивается — зовет по-французски. «Мы, — говорит, — потом поужинаем. Нам не к спеху».

Соломон сел — сгорбился. «Ученик мой бывший с делами с этими связан. Без отца ничего не сделать. Так и сказал: безнадёжно. Либо бабке родной, либо отчиму. Да и тут свои сложности: заявление, характеристика с места работы...»

«Ну что ж, — Евдокия в окно черное смотрит, — и на том спасибо. Закон ихний на то и писан, чтобы им сподручнее. Нас не спрашивали, когда законы свои писали»...

Встал. Пошел. Гликерия вслед глядит: совсем старый стал. И идет еле-еле. А раньше-то как бегал... С самого утра по этажам. То обход у него, то студенты обступят...

Софьюшка в прихожую выбежала — картинка в руке. «Покажи-ка, — Соломон Захарович просит, — что это ты рисуешь?» Не сробела — протягивает. «Вот молодец! — залюбовался. — Хорошо получается! Тебе учиться надо. Кружок, — объясняет, — есть. Художественный. Во Дворце пионеров. Внук мой ходил-ходил, да ничему не выучился. А, — рукой машет, — видно, способностей нет». — «Наша-то, — Гликерия подхватывает, — способная. Чуть минутка свободная — рисует. И где же, — спрашивает, — дворец этот пионерский?» — «На Фонтанке. У Аничкова моста. Отсюда далековато, конечно...» — «Ничего, — радуется, — втроем бы управились... По очереди...»

Евдокия как зыркнет. Сникла...

Ушел Соломон.

«Давайте, — Евдокия зовет, — собирайтесь с силами. Ты, Ариадна, ребенка покормишь, а я уложу. Антонину помыть еще. Сколько дней не мывши. Как бы до пролежней не долежалась. Спину — камфарным спиртом протрем, кровать ей перестелим: пусть уж на чистом...»

Гликерия говорит: «Тряпки прокипятить, а то уж кончились. Кровит больно — и не напасешься»...



Бабушка Евдокия одеяло подоткнула, рядышком села. Платок с головы сняла — пригладить волосы.

— Ты, — говорит, — случись чего, дак имя свое помни. Не это — Сюзанна. Это для людей. А для Бога имя тебе — София. Она и заступница небесная. Дева белоснежная, Божья слава. Самая премудрая — мудрее и нет на свете. Бог ей шепнет, а она добрым людям пересказывает. Все передаст — до словечка. А те, кто не слушают, одно уныние в них да глупость. А Софья и не глядит на них: знай себе вокруг смотрит. Наглядится за день, а к вечеру сядет, краски с карандашами возьмет — все как есть нарисует. И леса зеленые, и моря синие, и города разноцветные. Одно слово, художница... Ты вот чего, — склонилась, на ухо шепчет. — Слушай-ка меня. Мало ли, увезут тебя... В жизни-то разное бывает. Случается, увозят детей. Запрут, и нас не допустить могут. Одной тебе придется. Вот и знай: куда б ни замкнули — я с тобой. Всякий день за оградой. Так и буду ходить, пока Господь жизни даст. Может, и не видно меня, а ты все одно помни — там, мол, моя бабушка. Взад-вперед ходит. Сядет, передохнет — и опять идет. Поняла?

*Поняла, киваю. Это — когда спать буду. А потом проснусь.*

## V

### Евдокия

Зою ихнюю сразу признала: статная, самостоятельная. На проходную вышла — без нее не пустили.

В пропуск заглядывает: «Здравствуйте, Евдокия Тимофеевна. Давно хотела встретиться с вами, поговорить». — «О чем же, — удивляюсь, — со мной разговаривать, с неграмотной-то старухой? Вон хозяйство у вас огромное — поди, успевай!» — «Ну и что, — говорит, — неграмотная? В прежние времена грамоте не больно учили. Только мудрость не одними книжками дается». — «Уж это верно, — поддакиваю. — Жизнь-то по-своему научит...»

А сама думаю: и чего хвостом метет?

«Мне бы, — прошу, — деньги получить, аванс за Антонину.. Пенсия у меня маленькая, а ребенку то одно, то другое». — «Да что ж, — рукой машет. — Сама бабушка — двое у меня». — «Надо ж, — изумляюсь притворно, — а сами из себя моложавые. По вас и не скажешь...»

«Вы за аванс не тревожьтесь. Бухгалтерия не выпишет, так из месткомовских оформлю. Проведем как материальную помощь. Тут одно только... Операции эти не больно приветствуют... Да я уж, — обещает, — потолкую с женщинами, объясню».

«Спасибо», — поклонилась.

А сама диву даюсь: чего на операции ополчились? Болезни, небось, не по своеволию.

«А как, — спрашивает, — Антонина себя чувствует? Долго у нее чего-то. Не было б осложнения...» — «Да по-всякому, — отвечаю, — чувствует. Когда ничего, а когда и хуже. Лежит в стену уткнувши». — «Да-а...— кивает. — Легко ли ребенка извести — своими руками...»

Какого еще ребенка, думаю... Батюшки! Тут только сообщила. Вон оно про какую операцию... Объяснить бы, думаю. Чего ж ей позор нести...

Уж и рот, было, раскрыла, а она и говорит: «Мы вашу Антонину меж собой не осуждаем. И вправду, не ко времени теперь. Вот поженятся, тогда уж. Молодые — родят еще. А Николай, — спрашивает, — навещает?»

«Да приходил, — поглядываю, — попили чаю». — «А в больницу?» — «Нет, — говорю. — В больнице не было. Туда не ходил».

«От, мужики! Напакостить — это они первые, а как отвечать — их и нету. Мы с Николаем, — объясняет, — отдельно разговаривали. Правда, не знали еще... А знали б, и вовсе не цацкались. Куда б он делся, паразит! А теперь мы вот как дуемся: пусть промеж себя разберутся. Если примет решение, зачем нам коллективом вмешиваться... А ломаться вздумает, тут мы ему и пропишем».

Все-е припомним... Так что, — объявляет, — к свадьбе готовьтесь. А там и новоселье, глядишь... Завод в стороне не останется — квартиру отдельную предоставит».

Слушаю, а у самой горло сжало — ни вздохнуть, ни охнуть. Свадьба-то наша в саване, а мать — сыра земля...

А она мне улыбается. «Полно, — говорит, — плакать, когда жизнь только-только налаживается». Вот я со слезами справилась и говорю: «Разговор у меня к вам, Зоя Ивановна. Ох, разговор!» — «Про девочку, что ли», — спрашивает. — «Про нее, — киваю. — Про нее».

«Так я, — говорит, — и сама об этом хотела. Только с Антониной, — машет, — разве договоришься? Седьмой год ребенку, а все дома сидит. Детки в ее возрасте и песни поют, и сказки рассказывают. Младший мой, и пяти ему нету, а все про дедушку Ленина помнит. Рассказы им читают: и про героев, и про войну. А ваша — что? Потом-то уже и не восполнишь. Детская память цепкая. Что отложится, то уж на всю жизнь».

«Да мы, — отвечаю, — тоже ведь не сидим сложа руки. Книжки ей читаем. Сказки». — «Ну, одно дело — самим. А там методисты. Их ведь специально обучают. Семь лет-то эти самые решающие. Что заложим, то и будет. А при заводе у нас и садик имеется, и лагерь...»

«И лагерь, значит?» — переспрашиваю.

А сама думаю: ох, и дура ты, Евдокия. И язык твой поганный — нашла, где рот разевать... Это ж приравниваются они... А про болезнь узнают — вовсе не отобьешься...

Перекрестилась мысленно и говорю: «Правда ваша, Зоя Ивановна. Где уж нам уму-разуму выучить... Поговорю с Антониной, только пусть уж поправится сперва. Женщина она рассудительная: к хорошему всегда прислушивается. К доброделу чего ж не склониться?..»

Тут она обрадовалась, под локоть меня подхватывает. «Пойдемте, — зовет, — в бухгалтерию — с деньгами все оформим. Главное-то, — радуется, — решили. Ну, где ее справка?»

«Да дома, — напугалась, — оставила. Не сообразила как-то». — «Ну ладно, — соглашается. — Тогда другой раз выпишем. А сейчас из месткомовских выделю. К завтрашнему дню и оформлю».

Назад иду, а глазам темно. И не помню, как добрела до дома. Полежала, в кухню выхожу. Все как есть рассказала: про операцию, и про лагерь с детсадом, и про этого... Жениха. «Так что, — заключаю, — надеяться не на что. Теперь уж только на чудо. Вот и молитесь, — говорю. — К мне Господь не прислушивается. Может, хоть к вам снизойдет».

«Так я, — Гликерия оправдывается, — уж и так всякую ночь...»

Ариадна с места встала. Сама белая: «Вот же оно — чудо. Господь сам нам указывает...»

Глянула на нее: «Чего, блаженная, городишь! Совсем умом повредила? Язык твой без костей».

«Николая-то чем пугали? Не женится — никогда комнату не получит. Они ведь что думают: от ребенка она избавилась. А про болезнь и не знают...»

«Ну?» — Гликерия стоит, моргает.

«Так выхода ж у него другого нету, если хочет комнату получить. Одна ему дорога — на Антонине жениться. А как женится...»

«Так, — кулаки сжала. — Дальше-то понятно. Давай-ка другое думай. А упрется? Не знаю, мол, откуда ребенок...»

«А мы, — Гликерия туда же, — свидетели. Приходил, мол. Оставался на цельную ночь».

Подумала-подумала.

«Нет, — говорю. — Не выйдет у нас. Как глянет на нее — догадается. Она ведь какая стала... Краше в гроб кладут».

«Так пусть себе и догадывается, — Гликерия ободрилась, на Ариадну глядит. — Ему же и лучше». — «Правильно, — Ариадна кивает. — Тем более ему выгодно. Умрет — целиком комната достанется». — «Как это, — изумляюсь. — А Софья? Она-то, слава богу, прописанная». — «Ну какая разница? Жить-то ведь с нами будет. Не с ним».

«Ох, — решиться не могу, — а докопаются? Операция-то — другая?» — «А мы, — Гликерия и тут не растерялась, — справку им не покажем». — «А деньги? Ни копейки без справки не выпишут». — «Ну что ж, — Ариадна спину выпрямила, — значит, как-нибудь без денег»...

Евдокия в окошко перекрестилась.

— Чудо, говоришь?.. Да-а, умная ты... Видать, не зря учили в гимназиях. Я бы не дошла...

— И правда, — Гликерия шепчет, — чудо лицезреем... Сподобил Господь перед смертью.

Ариадна голову опустила, печалится.

— Обманывать придется... Грех на душу берем.

— А нам, — Евдокия отвечает, — выбирать не из чего. Какое чудо дадено — на том и спасибо. Почитай, соломинка протянутая. Наше дело — хвататься. Лишь бы вышло у нас. Хоть эту спасти... А грех — пусть на меня ляжет. Так и так душа погублена. Детьми моими.

Глаза открыла. Темно вокруг. Не поймешь: не то ночь, не то вечер... Все во мне перепуталось. И не различаю.

Евдокия заглядывает. «Не спишь?» — зовет. — «Тошно мне, Евдокия Тимофевна». — «Ох... — Одеяло сдвинула. — На все Божий промысел. И на тоску, и на печаль...»

На краешек села. «Разговор у меня к тебе. Уж и не знаю, с чего начать».

«Да разве ж, — говорю, — не понимаю... Трудно вам одним. И постирать, и сготовить, и по магазинам. Я уж подняться стараюсь, да слабая. Прямо все ходуном. Вы уж, — прошу, — потерпите маленько».

А она глаза вытерла и отвечает: «Бог с тобой... Кто ж тебя попрекает? Я о другом. В жизни ведь всяко может быть... Взять операции эти... Хорошо, если удачно, а случись чего, дочерь-то твоя — одна. Ни бабки родной, ни хоть отчима — перед законом...» — «Что-то не пойму», — отвечаю. «Так, — в пол смотрит, — замуж бы тебе. Вот хоть за этого, за Николая. И Зоя твоя советует. Говорит, квартиру дадут...»

«Хоро-ошая, — головой качаю, — из меня невеста... С тряпками этими подкладными. И смех и грех...» — «Я ей про дело, — рассердилась, — а она вона про что... Вторая Гликерия прямо... Господи, прости!»

«И когда ж, — голову к стене отворачиваю, — запланировали?» — «А чем скорей, тем лучше. Чего тянуть? Вон и Зоя твоя торопит». — «Да не о себе я. Николаю-то как объяснить? И не объяснишь, поди... Про немочи эти».

А сама думаю: на коленях перед ним ползала, молила о дочери... Как жить-то с этим будем, если оба помним.

«А уж это, — обещает, — на себя возьмем. Растолкуем как-нибудь. А нет — Соломона призовем: объяснит». — «Устала я. — В стену отвернулась. — Делайте, как знаете»...



Евдокия из комнаты вышла — дверь за собой притворила. Другие на кухне ждут.

— Ну как? — Ариадна замирает. — Поговорила?

— Поговорила. Только сил моих нету, чтобы всю правду ей раскрыть. Язык не повернулся. Только и сумела, что про эту женитьбу.

— А она?

— Согласная вроде.

— Ну, — Гликерия вздыхает, — и слава богу. И пусть поболееет в спокойе... Шоколаду-то снова не купили. Ох, просила...

— Да какой, — Евдокия изворачивается, — больным шоколад... Кашу едва принимает. И Соломон не велел.

— Когда это? — Ариадна удивляется. — Что-то я не припомню такого...

— А как же? Сам сказал: диетическое питание.

— Ну так, — Гликерия говорит, — вон он и есть — шоколад.

— Дава-ай! — руки в боки уперла. — Вали-и на него как на мертвого. И тут Соломон, и там Соломон — яко ангел вездесущий. Без Соломона шагу не ступишь. Так и кланяешься в его сторону...

— Шоколад, — Гликерия на Ариадну поглядывает, — и сил прибавляет. Вон в войну-то — американцы... Плитки толстые, хрусткие...

— Все-е, — рукой отмахнулась, — теперь-то не собьешь тебя... Не про мужиков, так про еду хоть порадоваться... А шоколад этот — от бесов.

— Да какие бесы! Шоколад-то и в пост можно...

— А это, — отвечает, — тем, у кого что ни день, то мясо. А другим, вроде нас, и рыба — разговение.

— Болящим, — Ариадна выступает, — ни мяса, ни рыбы не возбраняется.

— Тьфу, — с места встала. — Христос-то и от хлебов отрекся... А! Делайте по-своему. Хоть все зараз спустите — и зубы на полку.

— Святые, — Ариадна говорит, — о дне завтрашнем не помышляли. Будет день, будет и пища.

— Ага, — головой крутит. — Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Святые-то на пенсии наши не жили. Вон им — то хлеба подарят, то золотой поднесут...

— Все, — Ариадна встала. — Сил моих нет безумные речи слушать. Ждите. Сейчас я.

Принесла. На стол положила. Евдокия коробочку раскрыла.

— Ох, — прямо выдохнула, — вон она — красота... Это сколько ж, например, стоит может?..

— Камни хорошие, чистые. На свадьбу мне подарены — отец сам выбирал. На старые деньги, может быть, и две тысячи...

— Ну так уж?..

— Отец, — Ариадна обижается, — во всем знал толк. Серьги эти заранее заказывал. Старинные. Гордился: царский подарок...

Евдокия на камни любит.

— От ведь! Пожила-а ты в родительском-то доме. То в заграницу направят, то серьги алмазные поднесут. Другие-то гроши ломаные считали... А мы, — коробочку бархатную прикрыла, — у Соломона спросим. Должён знать. Еврей.

— Да откуда?.. — Гликерия за него заступается. — Всю ведь жизнь по больницам.

— Ну, — Евдокия смягчилась, — пусть советчика найдет. Нас-то, ежели что, облапошат.

## VI

### Отчим

Зойка, сучка драная, пристала: сходи да сходи.

«И художества, — грозит, — свои брось!»

Послать бы куда подальше, думаю, к богу в рай... А потом и соображаю: Зоя-то возле начальства крутится. Мирным пу-

тем надо. «Ладно, — вежливо говорю, — схожу». — «А пойдешь, — как банный лист липнет, — так не с пустыми руками. Гостинец хоть купи».

В цех вернулся, а самому тошно. Как вспомню ее, как в ногах у меня ползала, прямо хоть в петлю. Что ж я, думаю, сделал с нею, до чего довел?.. Может, и не бегала она. Бабы и сами ушлые, дознались. И гостинец еще этот... Вот чего нести? Мужики так взял бы бутылку, а бабе? Сладкого взять, что ли, пирожных каких-нибудь...

К Василию решил подойти. Он у нас мужик бывалый, опытный — трое детей.

«К Антонине, — щурится, — собрался? Долго собираешься... Четвертая неделя пошла».

Ишь, думаю, и этот недели считает...

«Сучок ведь, — говорит, — ты, Колька. Баба через тебя под нож легла, а ты — гости-инец...» — «Да чего, — злюсь, — через меня-то? Я, — говорю, — и ни при чем». — «Тьфу, — в пол плюнул. — Вон дочери у меня подрастают. Как подумаю про вас, кобелей, — так бы всех и удавил».

Мужики стоят — прислушиваются.

«Всех, — смеются, — не передавишь: уж кого-нибудь да оставь — на племя... Это, — говорят, — ты потому яришься, что сам-то девок настрогал. А сыновья бы, так по-другому ведь запел бы. Сам бы, небось, на блядки ходить учил...»

Болванку тащу и думаю: не было ж у нас. Ну, сам-то сообщаю, скажу я им, положим. Дескать, ничего у нас и не было. Так и вовсе на смех подымут. Хоть бы девка была, а то — баба. Бабу, скажут, не уломал. Ладно. Я свою правду знаю. Пусть чего хотят плетут.

Смену отработал — снова Зоя прется. «Сегодня, — говорит, — не ходи. Завтра пойдешь. Заодно и двадцать рублей доставишь, материальную помощь. Только, — пальцем грозит, — гляди у меня, не пропей».

«Так я, — отвечаю, — непьющий. Разве по праздникам». «Знаем! — отмахнулась. — Жене своей будешь рассказывать. А я уж ученая... Вам волю дай... Во, — кулак вперед выставила, — где вас держать».

В общежитие к себе вернулся, а Серега, сосед, приглашает:

«Зинка, — мигает, — тобой интересуется?» — «Какая Зинка?» — «Так Шурки моей товарка. С тарного цеха». — «Ей-то, — спрашиваю, — чего?»

«Да, — смеется, — мужик ты теперь знаменитый: на весь завод прославился. Помяни мое слово: девки-то, ох, налетят как мухи». — «Мухи, — прямо зло меня взяло, — известно на что налетают». — «Вот, — снова мигает, — я и говорю...»

«А ну, — за грудки его схватил, — повтори, сволочь!»

«Дурак, — отпихивается. — Я ему бабу подкладываю, а он же на меня и с кулаками. Можно сказать, сватаю». — «Надо будет, — остыл, — сам просватаюсь». — «Ага, — отряхнется. — То сидел как рак под корягой, а то уж так просватался — по заводу звенит...» — «Чего это звенит? Сами, небось, и звените». — «И ребеночка сами настрогали. А ты — сторона...» — «Это откуда ж — ребеночка?» — «А чего? — удивляется. — Военная тайна? Так все уже знают».

Ни хрена себе, думаю... Все у них знают — кроме меня.

«Так а чего? — К зеркалу оборачивается. — Может, ветром надуло? Либо, — смеется, — непорочным образом? Лектор-то, помнишь, рассказывал... Бывают примеры. — С расчески сдунул — пихнул в карман. — Ну, идешь?»

Лежу. На койке вытянулся.

«Ну и черт с тобой, раз святой дух».

Куда ж это я влип, соображаю? Не-ет... Идти мне надо. Разбираться. Пусть сама объяснит.

Посидел, а сам-то и думаю: и чего она мне объяснит? На хахалю своего укажет? Так ей, небось, невыгодно. На меня

спихнуть намерилась. Тут и Зоя за нее горой — повесят на шею... А потом думаю: кого вешать-то? Избавилась же она...

Посидел-посидел. В мозгах и просветлело.

Это же она специально подстроила, чтоб на себе женить. Первый раз не вышло — теперь поумнела. Дескать, вот оно — доказательство. А я-то, дурак: болезнь, говорю, придумай. А ей и думать не надо — давно придумано.

Ну ничего! Кулаком погрозил. Попомнят они меня... И Антонина, и мамаша ее. Старухи, небось, и надоумили. Ох, попомнят!..

Сижу, злобу коплю. Серега обратно влетает.

«Сидишь, — говорит, — ешкин кот! А я, главное дело, бутылку забыл. Вчера еще приготовил — в кино-то идти. Ну, — из-под матраса тащит, — может, передумал?» — «Передумал, — решаю. — Пошли».

«Вот-вот, — кивает, — проветришь. Пока напрочь не захомутали». — «А это уж поглядим... Хомутальщики еще выискались! Самим бы им не запутаться — в вожжах...»

В кино пришли, Серега в бок меня толкает. «Последний ряд, — говорит, — взял. Не было, — мигает, — других».

А девки хихикают, будто щекочет их кто. Рассаживаться стали, а Зинка прямо так и протиснулась — рядом села. Кино началось, ко мне придвигается. Руку мою — хватить! — к себе на коленку.

Пощупал-пощупал, а — не чувствую. Прямо холодом несет. Будто и не нога, а болванка какая-то... Это что ж такое, думаю? Порчу, что ли, наслали — чертовы ведьмы...

Из кино выходим. Зинка мордой крутит. Серега говорит: «Допить бы надо. Или уж, — Шурке своей подмигивает, — дома допьем?»

Вот они сговариваться стали, чтоб на женскую половчее проникнуть. Лестница там пожарная. Девки через дверь войдут, раскроют окно.

Послушал-послушал. «Сами, — отказываюсь, — пейте. А я домой пойду». Слышу: вслед мне смеются. А Зинка — так громче всех...

Ничего, себя успокаиваю. Ротный наш как говорил? Главное, не впадать в панику. Приду, в глаза ей гляну — совесть-то должна пробудиться. Признается, небось...

Открывают. Мамаша ее на пороге. А имени не помню. Все из головы вылетело. Кивнула.

Комната большая, мебелью заставленная. Абажур над столом.

«Я, — в карман полез, — помощь вам принес. Зоя Ивановна прислала».

Руку протянула — спрятала под фартук. Другие — будто каменные сидят. И я сижу, а как приступить, не знаю. Шелто, как думал: Антонина сама откроет.

«Мне б, — говорю, — с Антониной повидаться... Как там? Поправляется она?» Мамаша глазом ведет. «Нет, — отвечает. — Помирает».

Ну, думаю, все: из ума выжили старухи. Ишь, помирает у них...

«И жить ей осталось с полгода. А может, и меньше. Только не знает — надеется еще».

Имя со страху вспомнил. «Да не убивайтесь, Евдокия Тимофевна. Поболит и выздоровеет. Люди-то болеют». — «Люди, — отвечает, — болеют. А рак — не болезнь, а смерть».

Какая такая смерть? Откуда взялась?..

«Если б, — говорит, — не ребенок... А так сиротой останется. Так что жениться ты должен, чтобы ребенка спасти».

Слушаю, а не понимаю. Будто ватой все заложено. Как это — ребенок? Неужто не избавилась? И рак, значит, и ребенок?..

«Ребенок этот, — объясняю, — не мой. Я бы, если что, не отрекся. Вы к подлинному отцу обратитесь. Пусть он и женит-

ся». — «Умер отец. Не призовешь с того света. Так что тебе придется — иного выхода нет. А ты, — утешает, — не шибко сокрушайся. Документы оформишь, а ребенка мы сами обиходим. При нас будет жить. А тебя в комнату их пропишут. Помрет, один поселишься. По-другому-то, — глянула, — никак».

«Так, — время тяну, — подумать бы надо... Не решать с кондачка...» А в голове одно: бежать отсюда. Ишь, устались. Глядят...

Тут она с места встала: «Думай. — В шифоньере порылась, достает. — Мы-то помрем, тебе достанутся». Коробочку раскрыла, под нос мне сунула. Поглядел — прямо в глазах брызги. А она — раз! — и захлопнула. «Не теперь. После нашей смерти»...

Не помню, как и выбрался. Выхожу, стал у фонаря. Так и есть, думаю, идолы деревянные... Петра вспомнил: там-то тоже старуха... Неужто и со мной повторяется? И золото это, и камни... Вот оно, едитская сила! Петр-то вон про что говорил...

К себе вернулся. Лег, одеяло на голову натянул. Серега чайник несет: «Продуло, что ли?» — «Тело, — буркаю, — ломит». И вправду крутит меня...

Вот иду, будто. А в руках смотровая. Только без выбора — бери что дают.

Подхожу, а дверь-то открыта. Вроде дожидаются меня. Комната большая, просторная, только без мебели. Всего и есть, что три сундука. Мамаша ее и обе другие — родственницы. Сидят, спицами шевелят. А по полу клубки набросаны. Шагу не ступишь.

Бумагу предъявил. «Где, — спрашиваю, — свободная?» — «Так вот же, — отвечают. — Вселяйся». На дверь мне указывают. «Как же, — удивляюсь, — вселяйся? Антонина ж

там...» — «Переехала она, — утешают. — Считай, совсем переехала. Вон ее кофта».

Гляжу — кофта цельная, только без рукавов. И нитка оборванная вьется — до самого полу. «А как же, — спрашиваю, — ребенок?» — «А с нами, — говорят, — проживает: вот и кофточка ее».

Значит, дочь у меня, думаю. Поглядел, а кофта эта пестрая, из разных ниток. «Что ж вы, — пеняю им, — вяжете? Как ей ходить в такой?» — «Так из остатков. — На пол указывают. — Вон их сколько оборванных... Так и будет ходить».

Огляделся, а клубков-то и нету. Нитки рваные, перепутанные. Весь пол ими устлан.

Бежать хочу, а будто силком тянет...

Крикнул. Глаза открыл. Темно.

Мужики по углам храпят. Серега, сосед, вскинулся: «Чего орешь?» Встал, к окну прошлепал — одни пустые бутылки. «А, — на другой бок поворачивается. — Допили вчера. Федька Костыль приходил».

Лег, а самому муторно. Дочь, значит, думаю, будет. Жалко, что не сын...

\* \* \*

Евдокия на дверь оглядывается: «Ничего... Главное, сговорились. Правда, и побыл недолго. И она молчит... Слабая. Не знаю, как доедет. Самолучно ведь потребуют, когда заявление подавать?» — «Это ничего, — Соломон Захарыч утешает. — Геннадий Павлович звонил им. Обещали, что пойдут навстречу. Пусть жених подъедет, оба паспорта сдаст».

«Ох, — Гликерия восхищается, — и как же у тебя ловко выходит! А уж мы-то как тебе благодарны...» — «Не вы. Это я вас должен благодарить». Сам сидит, скорбился.



«Сколько лет прошло, а до сих пор снится. Жена покойная не снится, а тут... — Закашлял. — Глаза закрою, снова собрание перед глазами: лес рук. И голоса... Речи их обвинительные слышу». — «Большинство-то, — Гликерия сморщилась, — небось, по принуждению. Время нехоршее было».

Плечами пожал.

«Конечно, — Ариадна вступает. — Все же вас знали...» — «А что толку? — Дыхание перевел. — Да я ведь, в сущности, понимаю. И тогда понимал. А сам стою и думаю: это ж мои ученики... Неужели так никто и не встанет? Да не *против*, конечно, а хотя бы *воздержался*... Так и не встал ни один. Я ведь как думал: так и умру с этим... А теперь, — дышит тяжело, — знаю: помнят меня».

Евдокия глянула: «Чайку горячего попейте. — Блюдец ополоснула. — Першит у вас». — «И погода, — Ариадна торопится, — плохая, неустойчивая. Где ж это видано, чтобы в это время — снег?» — «Так черемуха, — Гликерия подсказывает, — черемуха расцветает. Каждый год похолодание...» Ариадна в окошко поглядела: «Конечно, похолодание... Но ведь не снег...»

«Да... — Евдокия к окошку обернулась, на снежинки любит. — И шарфик у вас, гляжу, внатруску». — «А я, — Гликерия обрадовалась, — к осени новый тебе свяжу».

С собой справился: «До осени дожить еще надо... Да, вот еще что... Геннадий, конечно, обещал. Все, что в его возможностях, сделает. Только советует, подумать вам надо. Николай молодой, рано или поздно женится...» — «А мы, — Евдокия брови вскинула, — на что?» — «Вот, — палец поднял. — В этом все дело. Пока живы, девочка на улице не останется. А дальше?.. Поговорил я с Николаем. Человек он неплохой, но слабый. Раньше говорили: без внутреннего стержня. Что жена скажет, то и сделает... А детдомовским хоть комнаты выделяют. Плохонькие, но все-таки крыша над головой... Ей

сколько? Ой-ой-ой! — Головой качает. — Нынешние дети — не мы. И в шестнадцать еще беспомощные... Я по внуку своему сужу. Двадцать шесть оболтусу, а случись что...»

«Ничего, — Евдокия глянула коротко, — у нас свой расчет... Бог даст, продержимся. Поживем».

«Ну, — встает. — Вам виднее. Так что звоните Геннадью Павловичу. Что возможно, все для вас сделает. Но главное... Николай вам не помощник. На себя рассчитывайте... Да-а, — головой качает, — запуга-али вы его... Он ведь как понял: беременная она. Какой, мол, говорит, ребенок? Ничего ж не было... Клялся...»

«Антонине, — Евдокия глаза опустила, — плохее. Кушать совсем отказывается. Шоколад один сосет. Может, вредно ей?» — «Да нет. Пусть. Попить вот предлагайте почаще. Компот, что ли...» — «Так сварим, — Гликерия кивает. — Вон из сухофруктов. С прошлой осени остались». — «А боли начнутся, я договорюсь. Найдем медсестру. Только, — смутился, — платить ей придется. Не из поликлиники».

«Колоть-то, — Гликерия морщится, — опий?» — «Ну... В общем, наркотик». — «А много ли, — Евдокия насторожилась, — платить?» — «Не знаю... — руками развел. — Раньше пять рублей было, а теперь...» — «Может, — губами шевелит, — так бы осталось? По пятьдесят бы копеек?.. А из поликлиники если, тогда — бесплатно?»

«Из поликлиники бесплатно. Только лекарство могут не выписать. То есть выпишут, но не полный курс. А ей каждый день понадобится, а потом и по два раза». — «Господи, — Гликерия руками всплеснула, — неужели опия жалеют? Таким-то большим...»

Евдокия ее не слушает: «По рублю, значит?» В переднике порылась, вынула коробочку: «Вот. — Открыла. — Продать мы задумали. Серьги хорошие, старинные. Может, дочери вашей?..» Поглядел, руками развел. Откуда, мол, такие деньги.

«Так, — Евдокия не отступает, — хотя бы предложите кому. Нас-то, ежели что, обманут». Плечом пожал: «Попытаюсь...»

В руках повертел, спрятал в карман...

«А вас, — Гликерия приглашает, — Соломон Захарыч, на свадьбу — милости просим». — «Благодарю вас, — улыбнулся. — Если здоровье позволит... Да, — вспомнил, — как с да-той определитесь, у Геннадия своя машина. Я ведь, — шапку надевает, — сказал ему, что вы мои родственники. Так что — породнились»...

— Соломон-то, — Евдокия рассуждает, — от умный мужик. Ишь, родственники мы...

— Так, — Гликерия губы поджала, — родство-то не только по крови.

— По крови, — Евдокия рассердилась, лицом темнеет, — только и есть — кровь... Не нами сказано: враги человека — домашние его.

— Это же совсем о другом говорится... — Ариадна ее поправляет. — *Кто не оставит отца или матери и вслед мене не идет...*

— Вот-вот! — палец воздела. — Мене, а не бесам...

Отвернулась, в окно глядит.

Чернота. Бесы одни вьются.

Небо низкое, серое. Хоть бы уж снег пошел...

— Ох, — вздохнула. — Страшно мне. Ведь прав Соломон. Глупость, видать, делаем. А Николай — это он теперь боится. А вселится, никому не простит, не забудет: ни нам, ни Софье... Да где ж она? — вспомнила.

— А она, — Ариадна сидит гордая, — книгу читает.

— Сама, что ли? Вот умудрил Господь... Иные жизнь проживут, а все через пень колоду. А эта, видали-ка — сама...

Гликерия на Ариадну поглядывает.

— Самостоятельная. А в шестнадцать-то, ох, какая станет... И не догонишь...

— Дава-айте, — Евдокия обессилила. — Выдумывайте. Тешьте себя...

— Раньше-то, — Гликерия вспоминает, — в деревнях, и рака этого вроде не было. Никто и не слыхивал про него. Туберкулезом мучались, водянкой, зубы еще болели...

— От зубов, — Ариадна укоряет, — никто не умирал.

— Не скажи! — оживилась. — Вот в деревне у нас было...

— Так рак, — Евдокия не слушает, — это ж разве болезнь? Я когда еще думала: вот облучат, например. Вроде все одинаковое, а один — раз! — и поправился, а другому только хуже. Что ж это за болезнь такая, если от человека все зависит? Не от лекарств.

— Ну как же — не болезнь? То печень поражает, то легкие... То вот — матку...

— А коли и болезнь, так сами аспиды ее и придумали. Мало им других смертей...

— Ничего, — Гликерия тесто затворяет. — Ежели что, найдем на него управу... А вдруг, — руки об тряпочку обтерла, — и правда — добрый человек... Вон Соломону-то понравился. Добрый, говорит, да слабый.

— Навидалась я их, — Евдокия сковородку на огонь ставит, — и добрых, и слабых... Вон у сына моего. Друг все ходил. За столом с нами сиживал. Тоже добрый был, а случилось — отрезало будто. Я-то не поняла сперва. Ох, решила, и его забрали, значит. Сам-то детдомовский. Кто ж ему, думаю, несет передачу? Ну, собрала, понесла...

— Неужели приняли? — Гликерия удивляется.

— А ты не перебивай, дослушай сперва. Время проходит, встречаю его. Идет по улице... Я-то как обрадовалась... Здравствуй, зову, Володя. А он как увидел меня, шаррахнулся, будто крыса...

— Ну, — Ариадна не соглашается, — видно, и был такой. Добрый-то — всегда добрый. У брата моего тоже друг был. Вместе в полку служили. Только брат офицером, а Сергей —

вольнорешающим. Голод начался, часто к нам заходил. У отца совсем ноги отказали. И я одна с сыном. Так Сергей нам помогал: то селедки принесет, то полешко. А у самого ведь семья. Правда, детей не было, не успел жениться. А у отца рубли золотые оставались. «Возьмите, — просит, — Сергей Николаевич...» А он только усмехнется: «Оставьте это!» Исчез в двадцать первом. Видно, дознались...

— Вольнорешающих-то, — Евдокия хмурится, — вроде щадили.

— А он, — объясняет, — офицером стал к тому времени. Экзамен успел сдать на прапорщика...

Евдокия в комнату зашла. «Кто там? — спрашиваю. — Вроде в дверь звонили...» — «Да, соседка, Надежда Карповна. Гликерию на лестнице встретила. Гликерия у нас прямо радио... Все раззвонит. Вареньица тебе принесла. Пусть, говорит, Антонина покушает. Райские яблочки. Ей родственники послали, из Краснодара...» — «А где это?» — «Так на юге, должно... Я городов-то не больно знаю. Вон. — Блюдечко держит. — Попробуй. Мы уж съели по одному».

Яблочки маленькие, сморщенные... За хвостик взяла — пожевала. Совсем вкуса не чувствую. Видно, когда свежие — вкусно...

## VII

### Ариадна

Соломон газетку развернул. Бумажки отсчитывает. Евдокия глаз не сводит. «Ох, — жалуется, — сбилась я. Совсем глаза плохи. Больно много чего-то получается. Ты уж сам считай».

Собрал — подбил по краям. «Вот, восемьсот ровно».

Евдокия руку протянула. Замерла. «Сколько-сколько?» — переспрашивает.

«Да я и сам не ожидал. Это все Геннадий. Пациентка у него оперировалась. И случай, в общем-то, несложный. А муж ее антикваром оказался. Вот и оценил...»

«Дай Бог здоровья, — Гликерия крестится. — Надо же, честный человек...» — «Кто? Геннадий?» — «Да нет, — напугалась, — этот-то, муж... Другой и обмануть мог». — «Нас, — усмехается, — редко обманывают. Врачей».

Евдокия приняла — Ариадне сует. «Поди, — шепчет, — спрячь». А сама суетится, на Соломона поглядывает. «Чаек пейте, — угощает. — Вон с райскими яблочками». Ариадна сидит, не уходит — прилипла к стулу. Евдокия уж и так на нее глянет, и этак...

Чаю напилась, Гликерия провожать отправилась.

Ариадна вслед поглядела: «Что-то много очень...»

— Ох, много, — Евдокия вторит. — Теперь-то на все хватит — и на уколы, и незнамо на что... Повезло нам. А я-то, — сощурилась, — ведь сразу, грешным делом, сообразила, да не стала уж при Соломоне. Муж этот, думаю, как рассудил? Доктор сережки показывает...

Гликерия возвратилась, прислушивается к разговору.

— А антиквар-то и рад. Богатый, а так вроде и не сунешь... А тут сам будто бы намекает. Ты только, — Гликерии пальцем пригрозила, — Соломону-то — ни-ни!

— Что ж я, глупая совсем! — та обижается. — Ни словечка не скажу.

Ариадна сидит.

— Стыдно. Как будто чужое берем.

— Тьфу! — не сдержалась. — Эта — не глупая, так другая дура нашлась. Жить-то на что собираешься? А то давай, неси обратно. Нам-то чего — богатые... Вон, — в стенку указывает, — хоть телевизор продадим. Мне-то он без

надобности. Это ты у нас — любительница. Сидишь прилипши.

Ариадна всхлипнула — прочь пошла.

Гликерия вслед глядит — страдает.

— Что ж ты, Евдокия Тимофевна... Или сердца у тебя нету? Она ж о своих надеется — увидеть хоть одним глазком.

Молчит, насупилась.

— А! — машет. — Делайте как знаете. Все продавайте. Вон на толкучку несите. Хоть за три рубля...

Гликерия за Ариадной пошла — к изголовью садится.

— Не плачь, — утешает. — Деньжищи его не трудом нажитые. Откуда — трудом? В блокаду, небось, промышлял. А нам их Бог послал — на бедность.

— А я, — голову с подушки подняла, — не желаю таких денег. А Бог послал, так и от Него не приму.

— Господи, — крестится. — Гордость-то смири. Нам она не по чину...

— А уж это, — говорит, — мое дело. С отцом на том свете встречусь... Что ему ответчу? В блокаду, мол, нажито, на чужой крови...

— Ох, — Гликерия сдается. — Вы умные, самидумайте. Я-то чего...

Евдокия заходит. «Лекарствами больно пахнет. Проветрить, что ли... А может, компотику налить?» — «Не хочу. — К стене отвернулась. — Ничего не хочу». — «А молочка, сырку, может? Сырку-то хорошо — мягонький. Нельзя так, Антонина. Где ж это видано — на одном шоколаде...» — «Телевизор, — шепчет, — включите». — «Господи! — Руками всплеснула. — Цельный день в него смотришь... А это откуда?» — «Сюзанночка принесла».

Квартирка склеенная, у самой кровати стоит.

«Сама, что ли?» — «Сама... И снежинок своих нарезала — вон разложила повсюду...» — «Да... — Евдокия по комнате оглядывается. — Красиво стало. Будто зима...»

«Вы, — просит, — мало ли, так про долг про мой не забудьте. Двести пятьдесят рублей осталось. Сто-то ему отдала». — «Так, — опешила, — муж ведь он будет...»

«Нет. — Глазом больным сверкнула. — До последней копейки отдайте. А телевизор Сюзанночке останется. Она пускай владеет»...

Евдокия к Ариадне пошла — дверь притворила. «Чего скажу-то...»

Та послушала. «Что ж... — кивает. — Значит, такова ее воля». — «Так копейки ж сущие останутся. Отдадим, а как дальше жить?» — «А может, — задумалась, — он и сам постесняется. Не возьмет...» — «Он-то?!» — Евдокия с места встала. Ушла.

\* \* \*

Бабушка Гликерия в комнату заглядывает:

— Ну как ты, Тоня? Не холодно тебе? А мы подтопить решились. Плиту разожгем в кухне. Дверь оставим — и у тебя чуток согрется. Ты уж, — ко мне оборачивается, — собирай свои снежинки, а то тепло станет, растают у тебя.

Мама рукой ее поманила.

— Присядьте, — просит. — Ох, и тошно мне, Гликерия Егоровна. Помирать, а вроде и не жила.

— Так живи, — вздыхает. — Дочь у тебя.

— Глаза закрою — чаны, чаны... Болванки эти... Люди помирают, другое, небось, мечтается... Раньше я тоже мечтала: замуж пойду, муж колечко подарит. Сроду колечка не было золотого.

— Вдруг и подарит еще.

— Да уж нет, — усмехнулась. — Разве на том свете... Я вот, — шепчет, — в телевизор гляжу: хорошо там... Все у них ладно, по-доброму. Не то что у нас.



— У кого это — у них?

— Не знаю. — Глаза отвела.

Бабушка Гликерия зовет:

— Поди посиди у печки. Пусть мама поспит тихонечко. Отдохнет.

«Страшно мне, Гликерия Егоровна... Навсегда ведь. А потом и думаю, а вдруг засну только? А потом и проснусь... С Григорием, — шепчет, — свидимся. Этот, — шепчет, — в квартирке, на него больно похож... Лежу, а сама представляю: стол у нас в комнате. С работы пришли, обедать садимся. Борщ, мясо с гречневой кашей... Да так увижу ясно, прямо запах мне будто слышится. А нанюхаюсь — и тошнит. Видно, душа не принимает — человеческую еду...»

«А ты, — утешить старается, — не думай об этом. Господь сам все устроит — распорядится. На том свете тихо, мирно. В месте злачем... Со всеми, с кем расставалась, свидишься. Какие твои грехи... Это пусть они содрогаются, которым дорога в пекло».

«Я вот, Гликерия Егоровна, в коммунизме мечтала б пожить. Взглянуть хоть одним глазком... Счастливые, кто доживет». — «И-и! — Рукой машет. — Когда ж это будет?.. До войны еще обещались...» — «До войны-то так, прикидывали... А теперь точно определились: через двадцать лет. Все, говорят, по-другому будет. Стирать, и то ведь машинами...» — «Да ну! — Изумляется. — На улице, что ли? Вроде убиральных?.. Так белье ж у них перепутается. Потом не разберут».

«Нет, зачем же на улице? У себя поставят — по домам». — «Батюшки! Неужто в дом втащат? И куда ж ее?» — «Ну, — на квартиру склеенную поглядела, — может, на кухне». — «А варить где? Или, — улыбается, — скатерть-самобранка задумана? Как в сказке». — «А зачем им? — Сама серьезная, не улыбнется. — Варят-то картошку, ну суп еще... А они конфет возьмут шоколадных. Все у них будет — и не надо варить».

«Для всех, что ли?» — удивляется. «Да, — кивает, — для всех».

«Что же у них за пенсии такие, чтобы всякий день — шоколад?» — «Так не будет пенсий». — «Совсем, что ли? — напугалась. — Как раньше, в колхозах? Ох! — Крестится. — Неужто опять вознамерились? Не дай Господь дожить...»

«Совсем денег не будет. Вовсе их отменят». — «Как же это? А продукты? По карточкам, что ли? А мануфактуру?» — «Всё, обещали, свободно давать будет. Кто сколько хочет... У них, — в угол глядит, — все по-иному планируется. Я вот, — шепчет, — и думаю: заранее в телевизоре показывают. Деньги хоть и есть пока, а люди совсем другие. Я уж гляжу — не налюбуюсь: не такие, как мы. Добрые, праздничные. На производство придут — все у них хорошо. И дома по-людски...»

«Все, что ли, добрые? — Гликерия к телевизору оборачивается. — А злых куда же?» — «Так не будет их, совсем не будет». — «Совсем-то, небось, только в раю...» — «Вот, — кивает. — Я и думаю: такой он и есть — рай. Как там, в телевизоре. Раньше-то не верила. А теперь, думаю, есть. Вот бы попасть туда, мечтаю...» — «Так, — Гликерия глаза вытирает, — чего ж, попадешь... Поверь моему слову... Кому ж, как не тебе. Так и будет — как в телевизоре. Небось, не просто показывают — знают»...

Ариадна газетку смяла. Без газеты не разгорится. Сама в три погибели согнулась, спичку сует. Газетка корчится, корчится — вспыхнула. Занялось...

Евдокия кочергу взяла — огонь шевелит. Из плиты пар, поленья потрескивают.

— Ох, — раскраснелась, — как же я люблю у печки... Молодая, бывало, сяду. Гляжу в этот пламень...

— И я, — Ариадна радуется. — люблю. Отец меня ругал. «Чего, — говорит, — в огонь уставилась? Бесов тешишь».

— Да ну! — Евдокия рукой машет. — Бесы-то, неужто по печкам?..

Софья сидит, прислушивается.

— А я, — Ариадна оглянулась, — один раз видела. Вот как тебя сейчас.

— Чего это? — изумляется.

— А вот представь себе, было. Из гимназии прихожу, а у брата гости. Он в университете тогда учился. К себе к комнату прошла, а стенка тонкая... Его комната с моей рядом. Слышу: смеются!.. А тут дворник наш, Архип. Печи у нас топил. Дрова подкладывает — тоже прислушивается. «Ишь, смеются, баричи... Смешно им...» Ушел. Дверцу распахнула — греюсь...

Смотрю, язычок огненный. Хрустнуло, как будто уголек выскочил. Он. Сам маленький, юркий. Ручки сморщенные — ладошки себе потирает... И страшно мне вроде, и любопытство берет. У ног моих крутится. Сам смеется, головку назад откидывает...

— Ну? — Евдокия торопит. — А потом-то?

— Потом? — очнулась будто. — Ничего. Исчез.

— Привиделось, может? Так Богородицу б почитала.

— А мы в те времена не веровали. Я стихи любила, а брат философией увлекался. Книги всё носил — прятал от отца. На германскую уходил — и то в сумку сунул. «Мало ли, — говорит, — затишье выдастся — почитаю...»

— Призвали, что ли? — Кочергу к стенке приставила.

— Нет. Добровольцем ушел. Георгия заслужил солдатского. Отец им гордился. В отпуск приехал — рассказывает: «Живу не в казарме, но все равно любят меня солдаты. И я к ним — с душой».

Евдокия усмехается:

— А отец?

— Мы обедали как раз. Отец салфетку кинул. «Дурак! — кричит. — Заучились в своих университетах. Нашли себе за-

баву — мужика! Мужик твой и себя за копейку продаст, а уж тебя — ни за понюшку!

— Ну? — Евдокия слушает. — А брат?

— Спорит: «Вы не правы, папаша. Мужик в Бога верует. А нравственность у него детская, природная — с ним добром надо». А отец поглядел и отвечает: «Я в университеты не хаживал и книжек ваших не читывал. Только сам из мужиков. Родитель мой в крепости состоял — я ж его и выкупил. И тебя, дурака, выкупил — в пятом-то году».

— Чего это? — удивляется.

— На демонстрацию он вышел. Со студентами. Отец в участок ходил — говорил с приставом.

— Откупился, что ли? Да-а, — мечтает, — хорошие были времена...

— Чай пить сели, а отец снова: «Знаю я твоих мужиков. Повидал на своем веку, и вот чего скажу: жиды-то хоть за деньги Бога продали, а наш мужик, если доведется, так — за шиш. Из куража одного или по пьяни. И хвастаться еще будет, как ловко-то... А все потому, что не верует, а боится. И страх свой за веру принимает. Вот и бьются страх с куражом. Кто кого одолеет, то и будет. Пока что, — говорит, — держит страх. А страх уйдет — все и рухнет. Да как еще посыпется: только успевай!»

А брат ему: «Страх, папаша, унижает человека. А мужик — тоже человек. Это, — говорит, — закон логики...» Отец блюдце отставил. «Эх, — вздыхает, — плохо же вам придется. У мужика одна правда: отцы-деды делали, и мы будем делать. А деды-то, может, разбойники с большой дороги... Души губили невинные... Вот, — палец воздел, — в Писании-то сказано: отрицают слово Божие ради преданий старцев. Это, — говорит, — про них».

— Ну, — Евдокия слушает, — а брат-то?

Ариадна кочергу взяла. В печке шевелит. Пламя веселое, высокое. Жар сухой. Слезы сами высыхают.

— Расправились с ним. В семнадцатом. Волнение было в казармах. Офицеры у себя отсиживались — боялись выйти. А он: «Пойду, — говорит, — побеседую с солдатиками. Я для них не чужой». На бочку влез. «Братцы! Братцы!» — кричит. А они его за ноги... Нам ведь не сразу сообщили, потом. Отец как узнал, всю ночь не присел, так по комнате и ходил. «Говорил ему, говорил дураку», — бормочет. А наутро слег: ноги отказали. «Не чую, — говорит, — ног»...

Гликерия в кухню вышла. «Антонина-то чего говорит: деньги вроде отменят. Уже вот-вот».

Евдокия от печки оборачивается: «Как отменят?! Опять, что ли, реформа?.. Когда ж объявили? В магазин-то вчера ходила... Крупу уж всю бы смели...» — «Нет, — объясняет. — Это им на заводе рассказывали...» — «На каком еще, — за сердце взялась, — заводе? На завод-то не ходит. Третий месяц как не встает...»

«Боже мой, — Ариадна побледнела, — наши деньги... Столько не обменяют. Снова один к десяти...»

«Так, — Гликерия сказать им пытается, — это же...»

«Вон оно что! — Евдокия кочергу кинула. — Антиквар-то не взятку сунул. От бумажек пустых избавился. А мы-то... Всё. — На табуретку села. — Конец. Так. — Подняться старается. — Мешки давайте готовьте. Консервов каких взять, если чего осталось. С утра, небось, побежали. Может, хоть рыбных... Как их — эти-то — крабы...»

«Да нету, — Гликерия чуть не плачет, — никакой реформы. Вроде как будущее ихнее: рай... В телевизоре им показывают. Антонина, страдальца, и мечтает...»

«Чего!? — замерла. — Какой для них рай? Им-то известная дорога...» — «Да они ж, — Ариадна подхватывает, — и сами не верят». — «Как это? — Гликерия возражает. — В рай-то все верят. Вон на демонстрациях: тряпки свои, демоны, таскают. Я когда еще думала: заместо хоругвей».

«Так чего? — Евдокия хмурится. — Демоны, они и есть демоны. Значит — бесы. И хоругви у них бесовские». — «Так бесы-то, — торжествует, — тоже помнят про рай».

«Тьфу! — Евдокия на место села. — Кондратий с тобой хватит. Нам-то чего за дело — про ихний рай?.. Или нет, — прикидывает, — или сходить все-таки? Дойти-то недолго». — «Так семь часов, — Гликерия говорит. — Только что пропикало. Закрыли магазины. Разве наверх, к Карповне подняться?..» Евдокия как зыркнет: «Совсем с ума сошла! Скажут, слухи им распускаем...» — «Так я, — говорит, — вроде как сахарок кончился. Кружечку пустую возьму...»

Евдокия подумала. «Ладно, — решает. — Только ты иди, Ариадна. Эта-то опять чего ляпнет».

«Вот, — возвращается, полную кружку предъявляет. — Надежда Карповна отсыпала». — «Слава тебе, Господи! — Евдокия крестится. — А мы уж ждем-пождем. За смертью тебя посылать. Ладно, девятый час скоро. Ужинать пора».

Картошку слила.

«Не будет, — говорит, — для них раю. Пусть и не мечтают. А ты, — к Гликерии обращается, — на будущее тебе. Сперва разузнай как следует, а потом уж людей пугай». — «Так я, — оправдывается, — и сама не поняла. Машины у них еще, белье будто бы стирать. Говорят, в кухне поставят. Не знаю, как и втащат». — «Нам-то чего? — Евдокия картошку разминает. Маслицем постным полила. — Это у начальства. У них квартиры большие. Приспособятся».

«Ты, — Гликерия глаза опустила, — ежели заведет про этот рай, согласишься уж с нею. Пусть напоследок порадуется. Господь-то правду видит — простит...» — «Дак поучи меня... — Евдокия тарелку отставила. — Что я, зверь какой?.. Понимаю»...



Бабушка Гликерия одеяло подоткнула — села.

— Ох, жизнь-то какая жестокая... Радуйся, пока мала. Вырастешь, кто ж его знает... Как соберется-сложится?.. Ладно. — Глазки вытерла. — Всего уж на этом свете было. Это злыдни живут — не знают. А другие всё-ё понимают. Только молчат...

Платок на голове пригладила. Стала косички расплетать.

— Беспамятные мы с тобой. С утра совсем позабыли. А ты-то? Могла бы и напомнить. Принесла гребешок: расчеши, мол, бабушка. Теперь-то все спуталось... Ну ничего. Разберу по прядочке. А ты терпи да слушай...

*Как расплачется душа, как растужится. Перед Спасовым стоит перед образом. Как же трудно ей, душе, с белым телом расставаться — в даль небесную уходить, да за три горы. А за первой-то горой там смола кипит — смола черная да липучая. Али хочешь ты, душа, во смоле сидеть? Она плачется, отбивается.*

*Как услышал Господь, сам расплакался. Посылает на встречу двоих ангелов. Вот идут они дорогой небесною — повстречали ее, взяли под руки. Что ж ты, спрашивают, душа, мимо раю прошла? Мимо раю прошла — не заглядывала...*

*Опечалилась она, клонит голову. Обращает речь к божьим ангелам. Я б и рада к вам в кипарисный рай. Да грехи мои нераскаянные. Чем я, грешная, оправдаюсь? Окаянная, чем порадуюсь?*

*Отвечают ей божьи ангелы. Ты не плачь, душа, обо-три слезу. Кабы нам судьба на земле прожить, уж и мы б, небось, грех извели...*



...Ручеек мелкий. Бежит, играет, только вода больно мутная. По мосточкам сошла: ничего, думаю, напьюсь. Только нагнулась, глядь, глазам своим не верю. Дно-то колечками усыпано. Изумилась, зачерпнула горсть. Сейчас, радуюсь, выберу драгоценное, золотое... Ладонь раскрыла, а они как порскнут. Прыгают, прыгают — будто лягушки. В детстве-то, помню, сунешься под корягу, а там гнездо. Нашаришь, полной горстью ухватишь, а они порскают, порскают... Что же это за сторона такая, если кольца у них — взамен лягушек?..

Голову подняла: гора высокая. А на горе башня. До самого неба дотянулась. И радио, слышу, играет — громко, по всей земле.

Так это ж Москва, догадываюсь... И радостно мне стало. В Москве-то доктор живет. Сюзанночку от немоты излечит. Только найти его надо — поспрашивать людей. Мосточки сухие, гладкие. Иду, по сторонам оглядываюсь. Вижу, женщина приятная. На Зою Ивановну похожая.

Пошла к ней.

Так и так, советуюсь. Вот она меня выслушала и говорит: а где же ваш ребеночек? Так дома, отвечаю, осталась. Она ведь в садик не ходит, все с бабушками сидит. Это я, говорю, поехала — выходить замуж. А женщина эта обрадовалась. Что ж вы, говорит, сразу не признались? Растерялась я, отвечаю. И жених мой запаздывает — видно, заблудился. Тут она засмеялась: не может быть! Одна к нам дорога: не собьешься. Вон, указывает, ворота. Через них и въезжают.

Пригляделась: и вправду ворота, только стеклянные как-то и без створок. А зачем нам, спрашивает, створки? Ворота наши особые. Сами собой отворяются. Для тех, которые верят.

Лягу: машина въезжает. Зыбится, зыбится. Проехала, снова застыло. И машина тоже особая — без колес. Так это,



объясняет мне, стиральная. Раньше-то обмывали покойников, а теперь в машинах стирают...

А как же, спрашиваю, болезнь злокачественная? Так выстирали ее, утешает. Нет у нас больше болезней.

Эх, догадалась, Сюзанночку бы с собою... А передничек ей собрать не позволила, из маковых лоскутков. Дура я, дура. Смерти напугалась. А смерть-то веселее жизни...

Слышу, гул подземный. Гора ходуном ходит. Вскрикнула. Глаза открыла. Гликерия надо мной.

«Вставай, — будит, — пора. Скоро машина приедет. Чего наденешь-то? Юбку подавать?»

«Нет, — говорю, — платье маковое. Его и подавайте...»

В кухню выходит — объявляет: «Утюг ставьте. Новое платье приказала — не поедет в юбке»...

Только глаза закрыла, снова Гликерия зовет. «Вставай, — торопит, — подымайся. Чулки вот твои и трико».

Натянула кое-как — за платье взялась. Пуговицы растегиваю, а пальцы чужие. Еле-еле сладила — напялила через голову. Гликерия поглядела — всхлипнула. «Пойду, — глаза отводит, — туфли твои погляжу. Тряпочкой протереть»...

— Не могу, — жалуется. — Совсем исхудала она. Как смерть бледная — краше в гроб кладут. Будто мертвую ее обряжаю. Ты уж сходи, Ариадна.

Ариадна заходит — гребешок принесла. «Давай, — говорит, — Тонечка, волосы тебе причешем». Сама голову клонит — не глядит. По волосам провела — больно. Кожа на голове изболевшая. «Вы уж, — прошу, — разберите по прядочкам». — «Так, — слеза у ней набежала, — теперь не разберешь». — «Ладно, — киваю, — и не надо. Платком повяжусь. Пусть уж как есть».

В прихожую вышли. Евдокия в спину меня подталкивает. Гляжу, мужчина молодой, приятный. «Не беспокойтесь, — говорит. — Мы с Антониной Дмитриевной сами справимся».

По лестнице идем — поддерживает. Добрый, думаю, обходительный. До машины довел. «Куда, — спрашивает, — сядете? Может, лучше на заднее сиденье?»

Мотор шумит, шумит... Тепло мне, празднично. Снова женщина давешняя. Идет навстречу. Что, спрашивает, дождались жениха?

Тут я и спохватилась: а вдруг живой он еще? Я ведь не знаю в точности и на суде не была. А она смеется: да вон он, с той стороны спускается. За вами идет...

Сердце-то как стукнет: он, Григорий. Идет, за перильца держится. Глаза черные, веселые. Совсем как живой.

Приблизился. Я, говорит, подарок тебе принес. Ладонь раскрыл, а там тряпочка. Вот он ее разворачивает, а в ней палец мой отрезанный, а на нем золотое кольцо...

«Задремали, Антонина Дмитриевна?» Глаза открыла — мужчина ко мне обернулся: «Приехали уже. Выходим».

Из машины выбралась — Николай навстречу. Под руку меня взял. Иду, а сама думаю: неправда это. Свадьба-то моя в другой стороне...

Мужчина сбоку подходит: «Мало ли, голова закружится, так вы мне знак какой-нибудь подайте. У меня с собой лекарство».

В книжке расписалась. Шатнуло меня. Не помню, как и в машине оказалась. Ну все, думаю. Слава тебе, Господи... Сейчас и башня покажется... Там моя жизнь начнется, там и муж мой...

## VIII

## Соломон

Евдокия открывает. «Батюшки, — напугалась, — совсем белая. Уложить бы ее».

Глаза темные, впавшие. Будто грифелем нарисованные. Геннадий Павлович под руку держит. «Пришел Соломон Захарович?» Здесь, кивают, пришел.

Уложили, из комнаты выходит. «Схожу, — говорит, — поздороваюсь и побегу на работу». — «Так, — Гликерия приглашает, — может, покушаете с нами? Стол-то накрыли». — «Спасибо, — отказывается. — У меня дежурство в больнице. И так, боюсь, опоздал. А вы, — на дверь указывает, — не беспокойтесь. Это укол так действует. Поспит — отойдет».

Николай тут же стоит, с ноги на ногу переминается. Ариадна к нему. Манит рукой. «Пойдемте, — просит, — Николай Никифорович. Дело к вам есть». Евдокия глянула — спохватилась: за Геннадием Павловичем пошла.

Софьюшка в прихожую выглянула. Гликерия рукой машет: скройся, мол. Не до тебя.

Холодно мне, холодно. И голова будто стеклянная. Где ж это я, думаю?.. Снежинки кругом изрезанные. Вспомнила... Свадьба у меня.

Евдокия к Гликерии склонилась.

— Ну все, — говорит. — Отказался он. Я нарочно пошла, завела при Соломоне. Он же учитель ему: при нем, небось, стыдно. Много, мол, вроде денег получается, за эти сережки. Антиквар-то другое имел в виду: вас отблагодарить.

Гликерия на дверь косится.

— А он?

— Покраснел. Отказывается. Быть этого, говорит, не может. Так ни копейки и не взял.

— Ну, и слава богу, — Гликерия радуется. — Не может, так не может. Вот и скажем Ариадне. Душа-то ее и успокоится. Переживала больно.

Ариадна возвращается. Поговорила с Николаем.

— Ну? — к ней приступают. — Отказался?

— Взят, — стыдится. — Все, до копейки. Пересчитал даже.

— И что, — Евдокия усмехается, — сошлось у него? Ладно, — итог подводит. — После об этом. Теперь свадьба у нас.

По рюмкам разлили. Жених с невестой будто рядышком сидят. Софье тоже поставили — водички с вареньем.

Ариадна на Соломона поглядела: «Бужу, бужу ее — отказывается. Вы уж, говорит, без меня». — «Так что, — Евдокия рюмку подымает, — поздравляем вас, Николай Никифорович, с законным браком». А он водки выпил — отставил.

Гликерия к Евдокии склонилась. «Прибор бы убрать пустой. Нехорошо как-то», — шепчет.

Жених себе налил. Снова выпил. Другие пригубили.

«Вы, — Евдокия винегрет подвигает, — закусывайте, Николай Никифорыч. Вот селедочка еще». На вилку подцепил — усмехается: «Да не опасайтесь, Евдокия Тимофевна. Чего обещал, все выполню. Не откажусь». — «Господь с вами, — Гликерия покраснелась, — разве ж мы...» — «Я, — сам на Евдокию глядит, — человек честный. И слову своему хозяин. Ну, — к Соломону повернулся, — где на ребенка бумаги? А то давайте, несите — все враз подпишу».

«Полно вам, — Евдокия урезонивает. — Свадьба сегодня. Угощайтесь». — «Сва-адьба. — Жених-то пальцами вертит. — Может, и свадьба... А блинков часом не напекли?» — «Да какие ж блинки, — Гликерия торопится, — картошечка.

В подушках у нас завернутая, чтобы не остыла. Принести, может?» — «Так теперь-то, — третью рюмку выщедил, — чего уж... Несите».

Евдокия на Соломона глянула: «Там рецептик у нас, Соломон Захарович. Вы уж взгляните, а то самим не разобрать». А сама глазом ведет: выйдем, мол...

В коридор вдвоем вышли. «Ну, — Евдокия спрашивает, — когда бумаги?» — «Геннадий Павлович хлопочет. Обещали недели через две». Евдокия на дверь оглядывается: «Скорей бы... Вон чего делается. Фордыбачит. Не ровен час, выкинет фортель...» — «Ну выпил человек лишнего. Тоже переживает... Надо бы, — глаз прищурил, — с переездом его поторопить».

Евдокия стоит, кивает: «Поторопим, теперь уж поторопим. Комнату ему освободили. Пусть живет...»

«Ну, — Николай повеселел, оглядывает, — за невесту с женихом выпили. За вас теперь полагается... Пусть ваша жизнь будет богатая да счастливая. Вот, значит, за это».

К Соломону потянулся — чокнуться. «Музыку бы хоть какую, — оглядывается. — Жалко, музыки нету. С ней бы повеселее. Я, — глаз кулаком трет, — разве думал, что жизнь-то обернется... Вы ведь как, небось? За комнату, мол, согласился... А нету этого. Чего она мне, комната?.. Так, по человечеству пожалел». — «Да кто ж вас винит...» — Гликерия сокрушается. «А может, — не слушает, — и за комнату... Разве разберешь...»

Соломон Захарович подымается: «Пожалуй, пойду я потихоньку». — «Ишь, — Николай пальцем ему грозит, на стол налегает, — вот ты ведь не уважа-аешь меня... Про себя-то как думаешь: скрутили, мол, дурака, загнали в угол. А я — не-ет. Я ведь сам все решил. Самостоятельно. Потому что по прав-

де это. По человеческому закону. И никто мне тут не указ...» — «Перестаньте, — Соломон морщится. — Никто вас ни в чем не обвиняет». — «Ишь ты! — еще пуше страдает. — А за что ж меня обвинять? Разве я какой обвиняемый? Нету моей вины...»

Гликерия с места поднялась. «Кому, — оглядывается, — картошечки? Остынет».

«Вот ты, — Николай ее не слышит, — жизнь вроде прожил. И умный мужик, еврей... Да, — рукой машет, — не обижайся. Я ж не в обиду про это — так, уважительно. Но, — палец поднял, — за правду. Вон предки твои Христа, Бога нашего, распяли. А Бог — ничего. Просгил...» — «Неужели? — Соломон усмежается. — Откуда ж у вас такие сведения?» — «А как же? — Брови морщит. — Ум вам оставил — оставил. Хитрость еще. — Пальцы загибает. — И вместе, друг за дружку держитесь. У одного беда — все на помощь бегут. Не то что, — фыркает, — мы...»

«Чего это? — Евдокия губы надула. — Мы-то звери, что ль, какие?.. Тоже, небось, люди». — «Не-ет, — пальцем грозит. — Мы иначе... Друг дружку ох как боимся». — «Вот, — Евдокия соглашается. — И есть за что».

«Удивляюсь я вам, — Соломон глаза опустил. — Вы же молодой человек еще, а речи, вы уж простите меня, средневековые. Как будто и в школе не учились...» — «А чего? — удивляется. — Школа-то ни при чем. В школе одному учат, а жизнь по-другому окорачивает...»

«Чайку-то, — Гликерия вспомнила. — У нас пирожок еще — с капустой».

«В школе, — Соломон волнуется, — правильно учат. Все нации равны». — «Как же! Равны... — Прищурился. — Вот ты, если б выбирать, небось, тоже русским бы родился... А и правильно. Несладко вам, евреям».

«Русским, — Евдокия тарелку отставила, — зато ох как сладко... Прям рот не успеваешь отереть — от сладости этой».

«Русские, — лоб наморщил, — в войне зато победили». — «Да-а, — Евдокия тянет. — Только-то и радости одной». — «А я вот, — Николай на Соломона глядит, — все равно на вас удивляюсь. Умные-то вы умные... И за советскую власть — горой. А не любят вас. А нас по всему миру любят — уважают. В телевизоре-то... Хоть куда приедем... Хоть вон в Америку. Встреча-ают...»

«А это, — Евдокия не уймется, — издалека любят. Вот бы они тут пожили — среди нас». — «А вот и нет, — смотрит. — Европу ихнюю мы освободили. Без нас-то что — так бы и жили под немцем. Темно тут... — воротник на шее раздернул. — Занавески б, что ли, раскрыли. Хоть бы свет какой...»

«Так в кухне ж сидим. — Гликерия оглядывается. — Какие ж в кухне занавески? А-а, — на окно показывает. — Это она снежинками своими заклеила. Украсила к свадьбе».

«Украсила... — Горло чешет. — Ну чего ж, пу-уть... Ребенок. Разве чего понимает... — с места встал, пошел. Снежинку ногтем скovyривает. — Ишь, — удивляется, — и как крепко-то. Намертво приклеилось. Видно, цепкий клей...»

«Вас послушать, — Соломон сидит, насупился, — как будто русские одни воевали». — «Ну, — хмурится, снежинку ковырять бросил, — конечно, не одни. И другие многие. Только русские-то — главные. Товарищ Сталин как про это говорил... А ты, — снова рюмку себе налил, — объясни вот мне. Вот, говорю, евреи. Умные-то вы умные — а на смерть шли как овцы. Сколько ваших погибло?»

Молчит Соломон.

«А я отвечу. Мил-ли-он. А почему? А потому, что это супротив нас вы умные. А против немцев — пшик! Против немцев-то мы одни в силе. Вон оно...»

«Господи. — Евдокия за щеку взялась. Зуб опять ноет. — Да где они, немцы эти? Я вон век прожила, ни одного не встретила. Так и помру, видать».

«Немцы, — объясняет, — народ основательный. Отец воевал — рассказывал. Вот бы пример с кого взять... Все у них по уму». — «Нам бы, — Евдокия морщится, — супротив себя в силу войти. Вот бы дело».

Соломон о клеенку оперся: «Пойду я».

«Ты чего? Никак обиделся, Захарыч? А не на-адо на правду. На правду грех обижаться. Вот скажи мне про русских, всю правду скажи. Ни в жизнь не обижусь. Ну, — налегает. — Ну?»

«Не знаю, — головой покачал, — всей вашей правды». — «Вот то-то. И никто ее не знает. Даже вы — евреи. Потому что русские — сами по себе. Особые. Таких-то нету больше, хоть по всей земле пройди».

«Я, — Соломон лоб вытер, — одно вам скажу. Христос ваш воскрес, а жена моя не воскреснет...» — «Вот-вот, — Николай подхватывает. — А была бы русская — в рай бы попала. Христос для русских приготовил».

«Вы бы, — Ариадна страдает, морщится, — картошечки поели... Чем рассуждать...» — «Отчего же. — Соломон усмехнулся, останавливает. — Может быть, Николай Никифорович и прав. Христианство — религия милосердная. Был бы русским, мог бы надеяться. А так...»

«Батюшки, — Гликерия спохватилась, — ребенка-то укладывать. Ишь, бедная, совсем ее сморило. Пошли, — зовет, — голубка». — «И идите, — Евдокия кивает. — Посидела, по-праздновала... Разговоры лишние слушать»...

\* \* \*

Пирогом с кухни тянет. Глаза открыла. Водички бы глоточек... В горле совсем пересохло. Потянулась, сняла марлечку. Только глотнула, обратно выплюнула. Видно, не принимаю...



Мать-то как говорила: кипяченая вода — мертвая. Ни в жизнь не напьешься. Чистой бы, мечтаю, напоследок. Хоть глоточек бы, да живой...

На локте поднялась, а ног не чувствую. Позвать бы... Так не услышат...

Голова плывет, кружится... Мать свою вижу. Рядышком села, руки мне сложила. А я будто маленькая еще. Губами шевелю: расскажи, прошу, сказку. А она платок на голове пригладила. Спи, шепчет, закрывай глазки...

*Собрался Ворон в тридешатое царство. Всю ночь летел. А степь-то широкая, бескрайняя. Снегом белым засыпанная: все белым-бело.*

*Подлетает и видит: перед ним ворота кованые, а в воротах камень пудов в полтораста. Огляделся. А за камнем — два колодца. По сторонам его вырытые, и вода в них — чуть ни через край. Справа живая, слева — мертвая. Сел на камень, призадумался. Выбрал с мертвой.*

*Корку ледяную склюнул, набил полный зоб. Обратно лететь, а вода мертвая — тяжелая. Встала в зобу. Перемогся кое-как, взмыл под облаками. Летит, а сам думает: дай спущусь пониже, может, теплее будет — легче лететь. Крылья сложил, через плечо вниз поглядывает. Видит: полё. А по полю кости человеческие. Все ими устлано, куда ни глянь.*

*Обрадовался да как каркнет. Вода изо рта и брызнула. Снежинками белыми рассыпалась. На землю пала: все косточки и срослись.*

*Ползут они по полю. Встать бы, думают, да руки-ноги не слушаются. Огрузли, видать. На Ворона снизу вверх поглядывают, плачут слезно... А он щеки надул, клювом железным щелкает: вот, клекочет, и ползайте. Нет у меня для вас живой воды...*

## IX

### Внучка

Когда падает снег, я всегда вспоминаю бабушек. Стою у окна и думаю. Мои бабушки ничем не болели, просто ушли в один год. Сначала Гликерия, потом — Ариадна. А бабушка Евдокия дожила до осени — я уже училась в Мухинском на первом курсе. Тогда мы жили одни.

Семье отчима дали двухкомнатную квартиру, но к нам никого не подселили — в той комнате сделали ванную, и бабушки еще успели помыться по-человечески. Раньше им приходилось в комнатах — в кухне Зинаида Ивановна не позволяла, а до бани им было не дойти. Я грела ведра, выносила грязную воду, а Зинаида кричала, что мы разводим сырость, хотя я подстирала клеенку и никогда не сливала в раковину — всегда в туалет.

Последнее время у них начались мозговые явления. Бабушка Евдокия радовалась, что всех перехитрила и теперь я имею право переехать к Зинаиде, ведь я там прописана: квартиру дали на троих. Мне не хотелось ее расстраивать. Я-то знала, что Зинаида меня не пустит. Она и раньше заявляла: всякую приبلуду селить — никаких метров не хватит. А бабушка Ариадна грозилась найти на нее управу: говорила, мир не без добрых людей. Заводское начальство заступится, а если надо, дойдем до самого Калинина, а Зинаида только смеялась: давно, мол, пора...

У бабушки Ариадны тоже все путалось: ей казалось, они еще живы — и ее внуки, и моя мама, и даже Калинин. Шептала: там в телевизоре...

Помню, как я заплакала и пошла к Зинаиде Ивановне, чтобы она оставила их в покое, обещала, что никуда не перееду. А Зинаида опять смеялась: «Так попробуй... Думаешь, напугала? У меня авторитет на заводе. А ведьмы пусть только сунутся, увидишь, как перья полетят...»

Когда все умерли, ко мне пришли из жэка и объявили, что на нашу квартиру выдан ордер и я обязана выехать по месту прописки: в течение трех дней. Тогда отчим посоветовал поговорить с Зинаидой, сказал, что его она не слушает, а я должна попробовать: все-таки она — председатель профсоюза, а мама столько лет отдала заводу, вдруг да и предоставят комнату — хоть маленькую, хоть в подвале. После похорон я совсем растерялась, а Зинаида ответила, что лишних комнат у завода нет.

Если бы не училище, я вообще осталась бы на улице, ведь у меня была ленинградская прописка, но мне все-таки предоставили общежитие. Помог мой французский.

Я пришла в деканат подать заявление, а они как раз получили письмо из Франции, вот я и предложила свою помощь. Когда французы приехали, меня снова вызвали с занятий и попросили переводить. У них была переводчица, но она не все понимала, особенно быструю речь. Сначала я тоже немного плавала, но потом приоровилась. А их руководитель подошел ко мне и говорит: «Удивительное сочетание: юная мадемуазель и старинный язык». Я объяснила, что французскому меня учила бабушка. А он улыбнулся: «Теперь понятно».

Сперва я жила в общежитии, а потом встретила Гришу, и мы снимали комнату: его родители нас не пустили, не хотели, чтобы я жила с ним. Его отъезд обошелся нам дорого, у меня совсем не осталось денег. Вот я и моталась по чужим мастерским. Пока не купила эту квартиру. В то время мои работы стали продаваться. Сначала задешево, потом дороже и дороже, особенно после того случая, когда одну приобрел Русский музей. Она даже висела в экспозиции, но потом ушла в запасники. Кое-что осело в частных собраниях — у нас и на Западе. Теперь мне трудно проследить судьбу своих картин.

Я сделала ремонт и перевезла мебель — все, что осталось от бабушек. Это отчим придумал все вывезти и спрятать у него в деревне: после смерти родственников остался пустой дом.

Об этом его жена не знала, ведь дом никак не оформляли, да ей он был и не нужен. Что-то пришлось реставрировать, но теперь в моей квартире нет ничего нового: ни шкафов, ни диванов, ни кресел.

Когда мы встретились на выставке, Гриша снова звал меня с собой, говорил, что здесь ничего путного не получится, ведь жизнь устанавливается не по смыслу, а по уровню людских душ. Я отказалась, потому что подумала о бабушках. И о маме. Я уеду, а они останутся... Как бы они остались без меня?

Теперь я понимаю, что Гриша был прав. Сейчас я бы с ним поехала, но об этом говорить поздно.

Иногда я стелю камчатную скатерть с розами и представляю, как мы садимся вокруг стола — и отец, и мама, и бабушки. Это для них я купила такую большую квартиру. Чтобы у них был дом, в котором больше не страшно, потому что это — наши комнаты и их никто не отнимет.

Теперь я всегда с ними, даже если они меня не видят, как будто между нами глухая стена. Но я все равно хожу. Сяду, посижу и снова встаю к мольберту, чтобы, превращаясь в друга, памятливу девочку, слушать их голоса.

Недавно мне попался старинный стих, который называется «Голубиная книга», хотя это и странно, ведь там нет ни слова про голубей. В этой книге есть история про Кривду и Правду, и, когда я ее читаю, мне кажется, будто я всё помню. Я узнаю слова, которые меня тревожат, и надеюсь найти образы, чтобы написать эту картину. А иначе зачем я стала художником: спала и проснулась?..

*Восходила туча грозная. Приносила книгу голубиную. Не малая она, не великая — двадцать саженей в поперечине. Вот сошлись христиане православные, поглядели на книгу — призадумались. И никто к ней толком не приступится, и никто к ней, Божьей, не пришатнется.*

*Тут выходит вперед Володимир-князь, обращается к Давыду Евсеичу:*

*«Ой ты, гой еси, наш премудрый царь! Прочитай нам книгу голуBINую. Разъясни про русское житье-бытье. Отчего у нас солнце красное? Отчего у нас ветры буйные? Отчего у нас ум поворачивается? Отчего у нас горьки помыслы? Отчего у нас кости крепкие? Отчего у нас кровь-руда бежит? Так и льется из жил — все не выльется...»*

*Отвечает ему мудрый царь Давыд:*

*«Не умею я ваших книг прочесть — не постиг, видать, русской грамоты. Тяжела она эта грамота, да стократ тяжелее книга Божия. Ни в руках сдержать, ни умом объять. Расскажу, что знаю по памяти — по памяти, как по грамоте.*

*Солнце красное — от лица Христа, Бога вашего, Царя Небесного. Ветры буйные — от Святого Духа. Кости крепкие — от каменных гор. Кровь-руда у вас от сырой земли. Так и бьет из жил, все не выбьется...»*

*Поклонился ему Володимир-князь:*

*«Ой ты, гой еси, мудрый царь Давыд! Не постигнул ты наших русских букв, да постиг беду нашу смертную. Разъясни, Псалмопевец, грусть великую — грусть великую, неизбывную. Расскажи, что знаешь, по памяти — по памяти, не по грамоте».*

*Вопрошает его мудрый царь Давыд:*

*«Ой ты, гой еси, Володимир-князь! Ты поведай мне вашу грусть-тоску. Рассужу, как сумею, по памяти — по памяти, не по грамоте».*

*Отвечает ему Володимир-князь:*

*«Ой ты, гой еси, мудрый царь Давыд! Расскажу, что сам-то не ведаю. Прошлой ночью мне ох малю спалось — хоть малю спалось, да много виделось. Увидел я во сне будто двух зверей — в чистом поле сошлись, дрались-би-*

*лися. Уж как первый зверь — да с подземной стороны, а второй-то зверь — да с полуденной. Как взглянул я на них — сердце кануло. Черной кровью облилось, как смертной мукою. Растолкуй ты мне, кто из них лютей — кто кого лютей да злопамятней».*

*Отвечает ему мудрый царь Давид:*

*«Ой ты, гой еси, Солнце русский князь! Ты скрепи свой дух — сердце буйное. То не звери на бой собралися, то не лютые друг к дружке сбегалися. Это ж Кривда с Правдой сходилися да промеж собой дрались-билися. Кривда Правду одолеть старается. Только Правда-то у вас лютей лютого. Победила Кривду, переспорила. И отправилась прямиком в небеса, к самому Христу, Царю небесному. И воссела одесную Отца — подле Духа Святого, рядом с Матерью. А Кривда по земле пошла — по всему народу христианскому. От Кривды земля колеблется, а народ-то молчит, терзается. Вот и стал народ от Кривды неправильный — неправильный да злопамятный. А Правда лютая в небесах сидит. На грешну землю не спустится...»*

# Крошки Цахес

## Свидетель

Теперь, когда мне сорок и деятельная часть моей жизни, если верить мудрецам, заканчивается и сменяется созерцательной, я, в здравом уме и твердой памяти, которыми она в себе гордилась, смиренно приступаю к описанию ее жизни, меньшая часть которой прошла на моих глазах, а большая известна по ее рассказам, что в *данном случае* является достоверным источником. Однако, едва начав, то есть решительно высказав то, что я высказала, я чувствую необходимость пуститься в объяснения, поскольку первая же моя длинная, но все-таки сравнительно лаконичная фраза уже прорастает вглубь чуть ли не каждым словом. Пускает корешки. Возможно, виною тут мой характер, а может быть, само созерцание, на которое претендует мой возраст. Похоже, оно не чуждается воображения, способного превратить мою первую и слишком длинную фразу в подобие торфяного горшочка, куда незадолго до Пасхи, расковыряв почву пальцем, опускают пшеничные зерна, чтобы они успели прорасти и укорениться к Празднику. Слово — зернышко со своим вершком и корешком.

А может быть, меня выдает привычка сравнивать себя с нею — привычка абсолютно беззаконная, в чем я отдаю себе отчет. Эта привычка укоренилась настолько, что я сама



(и никакие фразы и слова здесь ни при чем) стою проросшим зерном, на лопнувшей шкурке которого запечатлелись ее пальцы. Проросшим, но так и не заколосившимся. А впрочем, кто же дожидается колоса от пасхального зерна! Чтобы заколоситься, надобно быть брошенным в настоящую полевую почву, чреватую жизнеспособными сорняками, чтобы, схватившись с ними под настоящим — живительным и жестоким — солнцем, выиграть, выбросив колос, или проиграть. Это и есть та самая деятельная жизнь, на которую люди тратят самые восхитительные свои годы, чтобы, перевалив за мой нынешний рубеж, с горечью или гордостью оглядываться на прожитое: предаваться заслуженному созерцанию, жалея о несбывшемся или удовлетворяясь сбывшимся. Ни то ни другое мне недоступно.

И все-таки я не хочу, чтобы кого-то ввело в заблуждение мое признание в том, что мне не досталось солнца. Мне досталось другое солнце. Мои вершки стоят под другими, жесткими лучами, и мою жизнь никак, разве что с долей горьковатого юмора, нельзя назвать идиллической. Если и можно заикнуться об идиллии, то ровно в той степени, в которой она сама идиллию допускала. Большею же частью не допускала вовсе — с жесткостью, которую на бумаге трудно соединить с ее деликатностью. В жизни же они соединялись накрепко: стояли в первом — под замковым камнем — ряду кладки. Я не стану доискиваться до причин, по которым моим корням не досталось полевой земли. С меня довольно и того, что я и понимаю, и принимаю незаслуженность созерцания, которому готовлюсь предаться в силу своего нынешнего возраста. Пусть уж лучше продолжится мое сравнение с пасхальным ростком: видно, в торфяных горшочках попадают и зернадвойчатки, прорастающие двойными ростками — гордости и горечи.

Она никогда не учила меня смирению. Наверное, это единственное, чему она никогда не взялась бы меня на-

учить. Сама-то она ни в малейшей степени смиренной не была. Если бы она знала, чем кончится дело со мною, она, не тратя лишних слов, просто прищипнула бы оба ростка. Случись так, и они никогда не сплелись бы в один, в одно: смирение. Она просто не успела сделать этого, а потому так уж и вышло, что именно она, ее не успевшие пальцы, научили меня смирению, тогда как все другие, действовавшие со мной не мытьем, так катаньем, потерпели на этой стезе поражение.

Теперь об одной странности, о которой я вынуждена упомянуть: мне больше не дается ее имя. Отношу это исключительно на свой счет. Сотни уст после первой, не всегда удачной попытки с привычной легкостью произносили ее имя и не утратили этой способности до сих пор. Мои же, долгие годы не бывшие исключением, теперь замкнулись, оставив себе местоимение, а руке передав одну букву Ф, хотя глазам, читавшим ее открытки, привычнее — F. Так она подписывала их до того последнего дня, когда, взяв вместо открытки свою фотографию, изменила подпись.

Розоватая, цвета зари, кипень сирени — с каждым годом все шире забирающий куст под ее балкончиком, маленьким, как и вся квартирка. Пустой балкон, выкрашенный белым, на котором она стояла, провожая меня. Очень маленькая, в розоватой широкой кофте. Перед этим мы разговаривали о чем-то, и теперь, когда я, уходя, обернулась, она, продолжая разговор, крикнула, чуть-чуть наклоняясь над перилами: "I am a witness"\* — и быстро-быстро принялась ударять себя в грудь.

Если понадобится, я сумею вспомнить весь разговор, но *помню* только одну ее фразу. Перед самым моим уходом разговор шел (теперь я уже вспомнила) о самом обыденном, а значит, мы разговаривали по-русски. Верхние же, балконные слова она произнесла по-английски. Значит, самое про-

---

\* «Я — свидетель» (англ.).

стое объяснение — язык. Сказанное ею по-английски я всегда запоминала накрепко. Она одинаково совершенно владела обоими языками, но русская ее речь была как будто слегка размыта по краям, как акварель.

Английская же походила на тонкий и изысканный рисунок пером. А поскольку за исключением нескольких школьных лет я никогда не отвечала ей по-английски, может быть, опасаясь повредить тонкие перьевые линии, наши диалоги частенько бывали англо-русскими: мое русское масло и ее английский — тонкий рисунок — поверху.

Значит, пусть так и будет — пусть двуязычие будет причиной, по которой я снова и снова вспоминаю тот балкон, а вслед за ним и те места, где она, мне хочется сказать, оставалась. Нет, она их украшала, ее стены не были голыми, но теперь, по прошествии лет, я помню их пустыми, как белый экран. Беловатую гладь полотна оживляло ее присутствие. Теперь, когда фильм кончился, экран пуст.

Поэтому я вижу и буду видеть: белый балкон, кривая балконная дверь, косой шкафчик, над которым она смеялась: подносила руку ко лбу английским жестом “crazy”\*. Глаза мои не застит, мои плохие глаза. Досуха, до красноты, до черных мух, до белого тополиного пуха, до желтых снежинок над пустырями. I am a witness. Свидетели не плачут. Они стоят на белых балконах, на самых крайних этажах.

## Новый свет

Ее мать была дворником и так и не научилась хорошо говорить по-русски. И то и другое, учитывая ее национальность, было в петербургской традиции. Поэтому русский язык, на котором говорили все вокруг, и в квартире, и во дворе, был

---

\* Шаткий, нездоровый, безумный (англ.).

для дочери не то чтобы не родным — иным. Над ее колыбелью звучал родной язык ее матери. Русский был родным *не отродясь*, он *стал* родным. С дочерью мать разговаривала на своем родном, но дочь, войдя в сознательный возраст, то есть лет с шести, отвечала ей только по-русски. Ей казалось, из упрямства. Если и так, это было особое упрямство, не имеющее ничего общего с обычным — дочерним. Язык диктовало окружение. Явление, знакомое эмигрантам и их детям, знающим это упрямство.

Ее мать родилась в далекой нерусской деревне и не называлась эмигранткой только потому, что и Петербург, и ее родина входили в одну империю, и к моменту рождения матери никто из живых за это уже не отвечал. И все-таки *в какой-то степени* ее мать была эмигранткой, учитывая то, что так хорошенько и не выучила имперского языка, а значит, вряд ли могла рассчитывать на более чистую и легкую работу.

Дочь ни исторически, ни по сути дела эмигранткой не была, однако жизнь матери, похожая на эмигрантскую, не могла не наложить отпечатка на ее жизнь. Они жили — здесь вступает в силу уже не петербургская, а ленинградская традиция — в маленькой комнате в большой полуподвальной коммунальной квартире. Жизнь матери, похожая на эмигрантскую, заставляла дочь быть начеку: она была ушами матери в окружающем мире. Мать не могла забыть того, что шепталось, буркалось скороговоркой, говорилось в воздух на коммунальной кухне. Конечно, мать не просила, а дочь не передавала ей чужих разговоров, но если в обычных — одноязычных — семьях ребенок не прислушивается к разговорам чужих взрослых, молчаливо полагаясь в этом на родителей, здесь, в языковом смысле, дочь не могла положиться на мать. В мире, говорящем на языке, не вполне ей доступном, мать не могла быть посредницей между дочерью и миром. Дочь выходила с миром один на один.

Она была младше и должна была разговаривать с миром на его языке.

В то же время мир открывался перед нею безбрежностью русского языка, с которым она без материнского посредничества выходила один на один, и русский язык сам становился миром. Он был всего лишь частью огромного мира, но тогда она об этом не подозревала, как Колумб, мир которого, в силу ограниченности знаний европейцев, не доросших до нужного исторического возраста, не включал в себя обеих Америк. Колумб шел к другим, виданным берегам, но открыл невиданный берег. Однако радость, заключенная в крике «Земля!», была остра и не зависела от того, к какой земле она подходила. Это была радость земли *в чистом виде*. Ей, выросшей в *такой* семье, была знакома *эта* радость. В шесть лет она нашла книгу Чосера «Кентерберийские рассказы», в переводе на русский. Шла предвоенная зима сорокового года. Прочитав, она испытала радость, и поняла, что Чосера должны узнать все. Она была маленькой и по возрасту, и по сложению, и ей приходилось вставать на кухонную табуретку — где еще кроме кухни она могла читать *всем*, чтобы они слушали и смеялись. Она читала им так, как Колумб рассказывал согражданам о невиданных землях, которые он увидел, об открытии им Новом Свете. Мне кажется, они слушали вполуха, потому что ни на секунду не прекращали своей копотни: разжигали деревянную плиту, с хрустом отщепляя лучины, кипятили белье в баках и терли его в тазах, шевелили картошку на сковородках и громко мыли в раковине посуду. Я думаю, что никто из них не отвернулся от своего таза или бака, чтобы повернуться к ней, сесть и слушать. Однако она не обижалась на них, потому что независимо от того, какой мир она для них открывала, они сами со всеми их тазами, баками и сковородками тоже были ее когда-то большим миром, от которого она уходила на «Святой Марии»

и возвращалась вновь. Если бы она не уходила от них и к ним же не возвращалась, она никогда бы не догадалась о том, что прежде чем стать Марией, надо долго и терпеливо быть Марфой. Так она начинала: под грохот тазов, шкварчание картошки, гул поленьев в печи. Зима сорокового была шумной.

Внимательная тишина, достойная Чосера, наступила на следующий год. Постепенно, от месяца к месяцу, стихали голоса и тазы, гул печи исчезал из голодной памяти, и треньканье капель о железную раковину сменилось мерным капаньем метронома. Той же зимой она прочла «Капитанскую дочку» — про себя. Там ей встретились сияющие глаза, которыми она зачаровалась. Об этих глазах она не могла читать им вслух: у блокадников было свое представление о сияющих глазах. Как и у соотечественников Колумба, у которых было свое представление о сиянии — золота. Она голодала, пила кипяток и становилась обманчиво пухлой. На этот обман попался страшный мужик с сияющими глазами, от которого она бежала по пустырю. У блокадников было правильное представление о сиянии.

Закончив школу — о ее школьных годах я почти ничего не знаю, — она, наученная тем, что чужие правильные представления все равно остаются чужими, решила поступать в университет. Это решение было чудовищным прыжком из материнского прошлого, и если бы ее прошлые слушатели, едва умевшие читать, заранее прослышали об этом, они сочли бы ее или ненормальной, или героиней. Это был поступок из тех, которые не вызывают зависти — завидовать можно слыханному. В их полуподвальной квартире это было неслыханным. Ее поступок — а за решением последовало осуществление — вызвал бескорыстное удивление, недолгие пересуды и отчуждение: как бы то ни было, она становилась не их поля ягодой. Она поступила с первой же попытки, и эта удавшаяся по-

пытка навсегда не то чтобы примирила ее с некоторыми сторонами окружающей жизни, но стала чем-то вроде противоядия, словно раз и навсегда уверила ее в том, что главное — возможно. Встречаясь с тем, что вызывало ее отвращение, она, никогда не будучи терпимой к тому, что ее отвращало, как будто глотала тайный, ей одной известный порошок: «И все-таки...»

В те времена, когда она поступила, на кафедрах Ленинградского университета уже, по разным причинам, не оставалось петербургских преподавателей. Однако среди случайных людей, сменивших дореволюционных профессоров по принципу естественного отбора в пролетарском государстве, нет-нет да и попадались их ученики, которые успели получить знания из первых рук. Кроме того, были и преподаватели, которые сами — своими усилиями, умом и талантом — сумели выбрать и продолжить. В отличие от студентов, для которых университетская скамья была делом решенным, то есть, образно говоря, родители мысленно записывали их в университет, как дворянского сына в полк, — она никогда не могла *привыкнуть*. Привычка, которой в той или иной степени подвластны все студенты — нельзя бесконечно радоваться тому, что случилось, пусть и с усилиями, но, так сказать, по плану, — не имела над нею ни малейшей власти, потому что гигантский и чудовищный прыжок из материнского прошлого не мог иметь амплитуду полета, утыкающуюся в университетское крыльцо. Он требовал гигантского, конгениального разбега. Вот почему там, где остальные студенты *уже* шли, она все *еще* летела, не в силах опуститься на землю.

В глазах же упомянутых мною немногочисленных преподавателей этот полет был совершенно естественным состоянием — они сами летали и порхали в научных эмпиреях, и то, что сверкало в ее глазах, не нуждалось в проверке на зуб. Она училась так, как будто все еще бежала по пустырю

от того — блокадного — мужика-людоеда, с той только разницей, что тогда, в детстве, она бежала от него, а теперь она бежала к тому, что с каждым университетским годом все яснее видела за пустырем. Они же учили ее так, словно, стоя под спасительной сенью здания, к которому она стремилась, видели за ее спиной того мужика. Амплитуды с избытком хватило на то, чтобы немедленно по окончании университета влететь, распахнув дверь с улицы, в Первую английскую школу, что снова было делом неслыханным. Кандидатуры преподавателей для этой школы рассматривались чуть ли не на бюро райкома.

## Завет

Мне было шесть, когда родилась моя младшая сестра. Там же, прямо в роддоме на Васильевском, она заразилась золотистым стафилококком, вернее, они ее заразили: всех новорожденных выкупали в общей ванночке. По маминим воспоминаниям, факт этот не был ни безответственностью сестер, ни недосмотром врачей. Позже, когда мамы с младенцами оказались в больнице Педиатрического института, врачи, лечившие их, объясняли действия своих роддомовских коллег чуть ли не научным экспериментом, выпавшим на младенческую безответную долю. Казалось бы, такое объяснение должно было накалить страсти, но 1963-й был еще очень «научным» годом. Космос, физика, большая химия рождали своих героев, и объяснение сошло за уважительное. В продолжение трех летних месяцев заразу методически изгоняли из детской крови, но побежденная болезнь не осталась без последствий: еще лет десять-одиннадцать, года до 1974-го, когда я закончила школу, она давала знать о себе симметричным высыпанием на сестренкиных ручках и ножках, а в периоды вспышек болезненно воспаленной коркой на лице. Это



называлось диатезом. Его сушили зеленкой, и сестра время от времени ходила с ног до головы усыпанная симметричными зелеными точками. Научный опыт роддомовских врачей не прошел без последствий и для меня. Правда, оказалась я не в больнице Педиатрического института, а на даче с детским садом. До этого, как родители потом называли его, волюнтаристского опыта роддомовских врачей я была домашним ребенком.

Детсад, в который меня определили, на лето выезжал в Ушково — дачный поселок на бывшей финской территории. Чурбачки, прибитые к стволам высоких финских сосен, напоминали о тех временах, когда по ним лазили финские кукушки-снайперы. Об этих кукушках проболталась большая дочка воспитательницы, которая жила вместе с матерью в дощатом домишке-сарая в самой дальней части территории. Сосновых кукушек мы представляли себе смутно. Ее мать, Лариса Львовна, работала в нашей, старшей, группе по-сменно (утро-вечер), меняясь с другой воспитательницей, Ниной Ивановной. Ларису Львовну мы любили больше, потому что, во-первых, с нами дружила ее дочка, а во-вторых, по вечерам, когда выпадала ее смена, Лариса Львовна пела с нами песни: про сверчка за печкой, про коричневую пуговку и про Леньку Королева. Когда ей выпадала вечерняя смена и Лариса Львовна будила нас после дневного сна, спальни оглашались криками: «Ура! Лариса Львовна!» Она не пресекала неумеренных восторгов. Войдя в раж, некоторые из детей, пользуясь хоровой безответственностью, переиначивали ее трудное отчество и вопили: «Лариса Вольна!» Этого она тоже не пресекала. Лариса Львовна ждала ребенка. Ее дочка, в материнскую смену болтавшаяся с нашей группой, сообщила нам по секрету и об этом, и, распевая про Леньку, мы косились на Ларисин живот — дочка ввела нас в курс дела. Песенка про Леньку словно бы имела отношение к этому животу, как будто Лариса ждала мальчика, который должен был

погибнуть на войне. Осенью она действительно родила сына. Нина Ивановна была старой и песен с нами не пела, но мы ее все-таки любили, потому что она рассказывала нам про коммунизм.

Утром после завтрака, взявшись парами, мы уходили за территорию на залив. Сначала по песчаной дороге мимо высоких дощатых заборов, огораживающих другие территории, мы шли вдоль придорожных канав, в которых стояла вода, затянута пластинчатой ряской. Запах распаренных солнцем кустов шиповника стоял в воздухе. Под сандалиями хрустели мелкие камешки. Длинные двойные иглы финских сосен прилипали к подошвам. Мы пересекали шоссе, впечатывая налипшие иглы в слабый, размягченный солнцем асфальт, который пах смолой. За асфальтированной полосой открывались песчаные дюны, лежавшие гребешками у края залива. Нина Ивановна указывала нам место в тени, под соснами. На открытое солнце медсестра выпускала нас на считанные минуты, выбрав каким-то одной медицине известным способом наиболее благоприятное время.

Старшая группа жила в старом двухэтажном доме, похожем на все дома ленинградских курортов. Спальни мальчиков на первом этаже, девочек — на втором. Перед тем как уйти к себе, воспитательница, заканчивающая вечернюю смену, заходила пожелать всем спокойной ночи. Сначала стихал шум у мальчиков, потом слышался скрип деревянной лестницы. Мы уже лежали, дисциплинированно сложив руки. Она обходила спальни, усаживалась на стул в среднем коридорчике, куда выходили двери всех трех спален, и, сидя в этой точке обзора, прислушивалась, как мы засыпаем. Этого ритуала обе воспитательницы придерживались одинаково, не вкладывая в него ничего от себя. Каждая сидела, погрузившись в свои думы, но если думы Ларисы Львовны, вероятнее всего, витали вокруг будущего сынка и были до такой степени личными, что с засыпающими шестилетками

она не могла и не хотела ими делиться, то мысли Нины Ивановны, как очень скоро выяснилось, в эту предночную пору были такими, что ими не грех было поделиться с уставшими за долгий и суматошный день детьми. «Когда я сижу вот так, на этом стуле, — она начала однажды тихим напевным голосом, как начинают сказочный зачин, — я думаю о том, что скоро наступит прекрасное время, оно называется коммунизм». Она произносила это с такой уверенностью, словно речь шла о чем-то определенно близком, как завтрашнее утро. Как будто стоило нам закрыть глаза, чтобы во сне незаметно для себя пережить темноту, и новое счастливое время само собою наступит. «Закройте глазки». Мы слушали ее, не открывая глаз. «Это будет такое время, когда все будут счастливы: и вы, и ваши родители, и ваши воспитатели». — «А детский сад будет?» — «Будет, будет», — она уверяла вопрошающего. «Я не хочу, чтобы детский сад». — «Значит, не будет. Кто захочет, для того будет, кто не захочет — не будет». — «А как же на дачу?» — «На дачу будут ездить все». — «И мама?» — «И мама, и мамы». Теперь, когда выпадала ее смена и Нина Ивановна садилась на стул в среднем коридорчике, всегда находился кто-то, просивший «Расскажите», — и она снова и снова, добавляя новые подробности и обязательно ссылаясь на науку, словно эта ссылка могла укрепить мечты шестилетних, рассказывала о том, будущем времени, похожем на нашу дачу, пахнущую распаренным на солнце шиповником, мягкой асфальтовой смолой и пресной водой залива.

Дождавшись, пока все уснут, воспитательница уходила в свой дощатый домик, а нас оставляла на ночную няню, которая, обойдя спальни дозором, укладывалась спать на диван у самой входной двери. Закрыв глаза, я еще некоторое время, по мечтательной инерции, видела песчаную дорогу, зелень лопухов над канавами, неровные кроны высоких сосен — все то, что должно было наступить наяву, стоило только перетер-

петь неважное ночное время. Оно приближалось к моим векам с каждой секундой и готово было вот-вот наступить, но в самый последний момент все-таки не наступало, потому что наступало другое время — время моих ночных воспитателей. Полные, в белых халатах, с плоскими, почти неразличимыми лицами, сейчас я бы сказала, безликие. Они были похожи на детсадовских поварих. Поварихи никогда не выходили в столовую. Однажды я видела, как поварихи готовят: мешают в больших котлах, на которых красной краской написаны буквы и номера.

Ночные воспитатели не садились на стул в среднем коридорчике, куда выходили двери всех трех спален. Они не нуждались в этой общей точке обзора, потому что все дети спали, незаметно для себя пережидая неважное ночное время. Ночные воспитатели были моими и учили одну меня. Они садились на край моей кровати так легко, что под их полными безликими телами кровать не скрипела.

Задирай повыше свою ночную рубашку — под самые подмышки, аккуратно ложись на спину, чтобы не описать пододеяльник. Теперь можешь уснуть, но не легким, неприметным сном, уносящим в утро, а коротким, недолгим, не доутренним. Если проспишь до утра — ночные воспитатели не думают ни о своих детях, ни о коммунизме, — придут обе няни, ночная и дневная, и станут кричать, что ты опять обфурилась, и ты — урод, не как все дети, эта только ссыт, полюбуйтеся, снимай с себя все обоссанное и убирайся вон, теперь стирай за ней, нарожают уродов.

Вот я просыпаюсь и щупаю рукой мокрое. Осторожно, никого не разбуди, разбудишь, будут смеяться, вылезай из кровати, одеяло в сторону. Радуйся, что рубашка суха, радуйся, что окно раскрыто и ночь суха как рубашка, радуйся, что подоконник невысок и можно вскарабкаться с коленками, радуйся, что ноги свисают из окна, а руки держат простыню. Терпеливо, не давая закрыться глазам, маши и ма-

ши своим мокрым пятном, пока оно не пожелтеет. Нет у тебя — только не закрывай глаз — ни родителей, ни нянь. Досуха, до желтого пятна, до их неминуемого и легкого — белесого рассвета, до пляски осенних листьев, до белых мух... Вот ты сидишь в тоске и страхе на открытом окне, под ногами земля и небо над головой, мальчики внизу и девочки за спиной, и не смеешь заснуть, потому что мокрое пятно еще не светится свечной желтизной и никто не придет к тебе, кроме нас, потому что ты — урод, но мы милосердны, и так будет всегда.

Они уходили с первым рассветом, и я сползала с подоконника, ловко застилала простыню и засыпала. На рассвете их нет у моей постели. Я сплю совершенно свободно, незаметно и легко дожидаясь неминуемого утра — вместе со всеми. Они снова спасли меня и не вернуться раньше ночи.

## Темно-бархатная роза

Пожалуй, только теперь я могу оценить бесшабашную смелость того чиновника, который первым придумал это громоздкое название: «Средняя школа с преподаванием ряда предметов на иностранном языке». Не сомневаюсь, что сам-то он не говорил ни на каком другом, кроме русского, то есть все иные языки были для него не другими, а именно *иностранными*, теми, на которых говорят в *иных* странах. Может быть, он мечтал побывать в ином, заграничном, запредельном мире, счастливо вымышленной моделью которого стал для него Первый Московский фестиваль молодежи. А может быть, он всегда, сколько себя помнил, мечтал — как тишайшие дети втайне мечтают стать космонавтами — выучить свободно другой — любой — язык. Мечтал, не веря своей мечте. Ну пусть не он, кто-то другой, но похожий на него, хоть и по-другому одетый, невиданным образом шевелит гу-

бами, глотает звуки, внятные не всем, а таким же избранныкам. А может быть, его родное дитя подходило к семилетнему рубежу, и он рискнул возложить на ребенка свои несбывшиеся надежды. Какой такой ряд предметов он имел в виду? Как не побоялся так неуклюже заявить о своей мечте? Знали ли о том, как — окольными путями — случается по слову? Нет ответа.

На этот раз он взялся за дело особенно энергично. Самолично, не доверяя заместителям, развернул карту и, оглядев свой Октябрьский район, выбрал — у самого края, почти у воды. Одна улица между школой и Невой, да и та — Галерная. Он, конечно, назвал ее Красной: старые названия сродни иностранным. С противоположной стороны — Новая Голландия — остров за крепкой стеной и тополями. От блокадных бомбежек остался зазор между старыми домами. В начале шестидесятых он стал пятном застройки: прореху закрыли школой. Один раз в году, первого сентября, внизу по периметру дворовой площадки выстраивались классы — десять пар «а» и «б». Классные руководительницы сбивали шум, и шестьсот без малого учеников ровняли ряды на выход Матап. Она появлялась на балконе в длинном, до полу, глубоко декольтированном бархатном платье: За нею, соблюдая интервал — полшага от бархатных плеч, — шли двое мужчин: завуч английского и русского языков. Раз и навсегда. Слева от Матап завуч английского языка Борис Григорьевич Кац — сорока пяти лет, еврей и дипломат, воплощенная деликатность, которую однажды мы видели в слезах любви к нам, часто в сдержанном волнении за школу и один-единственный раз в страхе за себя. Справа от Матап завуч русского языка Сергей Иванович Беликов — лет сорока пяти, русский, обладатель длинной русой челки, которую он откидывал со лба широким есенинским жестом, любивший и баловавший нас и знавший русскую литературу в объеме институт-

ской программы. В глубине балкона соблюдалось место секретаря парткома, а точнее, дамы-секретарши. На моей памяти их сменилось три: одна полная и мягкая, две другие — жилистые, но не твердые.

Еще глубже, у самой кирпичной стены, висело или — в зависимости от погоды — обвисало школьное знамя, у древка которого несли почетный караул. Бархатное знамя за бархатными плечами. В определенном смысле знамя было реликтом других времен, которых мы уже не застали. Само по себе оно было бы привычным и почти неприметным элементом школьного обряда. Декольтированное же платье — реликт еще более отдаленных, углубленных в прошлое времен — неприметным остаться не могло. Больше того, недавнее прошлое знамени — именно в силу своей незаметности — побеждалось давним прошлым платья, но для нас, стоявших в самом низу под балконами, платье не просто играло роль притягательного знака дальнего времени, удаленность которого подчеркивалась бархатом знамени. Удвоенный, дублирующий и одновременно компрометирующий себя бархат вносил явную двусмысленность в этот из года в год повторяющийся обряд. Эта двусмысленность казалась нашим юным глазам какой-то веселящей душу несообразностью, за которой, впрочем, могла таиться еще неясная, а значит, преждевременная глубина.

Я уже не слышу приветственных слов, льющихся сверху и повторяющихся из года в год. Это вовсе никакие и не слова, поскольку даже в момент произнесения в них не было смысла, достойного полного и нераздельного внимания шестисот пар ушей. Поэтому, слушая и не слушая, паства веселилась исподтишка. Легкое отчуждение, результат трехмесячных каникул, позволяло взглянуть на ближнего со стороны — взгляд, суливший многое. Вряд ли Матап замечала легкомысленное шевеление в наших рядах. С ее верхотуры она видела довольно широкий двор, засаженный чах-

лыми деревцами, который на один час расцвел скромными белыми (передники и рубашки) и красными (галстуки) цветочками. Эфемерные клумбы, которые должны были разбегаться с первым школьным звонком. Их яркость не могла не радовать ее учительских, почти материнских глаз. Этот сад был осенним, и она — темно-бархатная роза — торжественно и двусмысленно возносилась над ним, и голос ее медоточил.

С первого же дня своего директорства Мапап дорожила честью школы. В ее представлении эта честь складывалась не только из общей картины успеваемости, но и из того, насколько в школе *соблюдаются традиции*. Некоторые из этих традиций были введены еще прежней директрисой — невзрачной, но властной женщиной, умершей в 1964 году, то есть в первую же нашу зиму. Даже до нас, первоклассников, дошли слухи о том, что Полину Ивановну загубила неотложка. Говорили, что врач принял инфаркт за отравление и промыл ей желудок, отчего она мгновенно и умерла. Кстати, вопросом о том, с чего бы это быть инфаркту у директора школы, никто не задавался. Именно при Полине Ивановне было введено для того времени невиданное обыкновение. Я имею в виду собеседование при приеме в школу, в результате чего оба наши класса, «а» и «б», стали первыми *отобранными* классами. Умершая директриса ввела и странный обычай, свято соблюдавшийся в первые годы Мапап. За полчаса до начала уроков в арку, отделявшую вестибюль от длинного школьного коридора, вставала сама директриса и один из завучей. Каждый ученик должен был остановиться и сделать легкий поклон (мальчики) или реверанс (девочки) и, лишь получив милостивые кивки с обеих сторон, следовать дальше. Этот же традиционный поклон ожидался от нас и тогда, когда на нашем пути встречался *любой взрослый*. Кстати, это не всегда было делом безопасным. Однажды во втором классе я, сбегаю по лестнице, наткнулась на всю тро-



ицу: Матап с эскортом одесную и ошую. Они шествовали мне навстречу, и я, на бегу сложившись в реверансе, скатилась с лестницы вверх тормашками, провожаемая тремя ошарашенными взглядами. Пока я вставала, Матап, не в силах сойти с места, смотрела на меня в немом испуге. Позже этот обычай выродился в привычку здороваться со всеми взрослыми, и было смешно наблюдать за каким-нибудь *родителем*, бредущим по нескончаемому школьному коридору, когда толпа, валившая навстречу, здоровалась с ним на десятки голосов, а он ошарашено кивал по сторонам как китайский болванчик. Вообще-то, положи руку на сердце, родителей в нашей школе не жаловали. Конечно, их встречала исключительная вежливость, то есть учителя, как говорится, держали их *в курсе*, но этот курс лежал в стороне от сокровенных земель. Когда же дело доходило до дела, врата закрывались, как будто кто-то подавал возглас: «Оглашенные, изыдите!»

## Порог

Теперь мне пора переходить к делу — к рассказу о том, что в действительности случилось с нею, с нами, с нашим миром. Если угодно, с нашим мирком. Однако то, что я употребляю уменьшительную форму, не должно вводить в заблуждение. Тот мир, к которому я принадлежала, вызывает мое неизменное уважение, сводящее на нет употребленную мною уменьшительную форму. Это уважение связано с одним в полной мере присущим ему свойством, которым не может похвастаться большой мир. Это свойство целостности. Людям, принадлежащим большому миру, оно известно понаслышке или из книг, и, может быть, именно по этой причине они всячески стремятся это свойство опорочить. У меня нет их сил с ними бороться.

Вскользь упомянув о целостности нашего мирка, я должна упомянуть и о том, что эта целостность никоим образом не означала однородность. Наш класс дружным никогда не был. В нем сосуществовали, не сливаясь друг с другом, три группы, клана или касты, принадлежность к каждой из которых определялась в первую очередь социальным происхождением родителей, а уже во вторую нашими личными способностями и удачей. Эти группы образовались сами собой. В высшую попали дети гуманитарной интеллигенции, в среднюю — технической, а в низшую — те, чье социальное происхождение не имело значения, потому что каждому было понятно, что они тупицы и дураки. Теперь я думаю, что высшие узнавали друг друга по особым словам и выражениям, которые они черпали из отвлеченных разговоров своих родителей — разговоров, не относящихся к текущим домашним и служебным делам. Эти особые выражения играли роль разорванных бумажек, неровности которых мгновенно совпадали, стоило совместить их — сложить вместе. Своего рода пропуск или пароль. В наших семьях — я имею в виду себя и мою ближайшую подругу Иру Эйсер — такие разговоры не велись.

Справедливости ради я не хочу преувеличивать предопределенность нашего разделения. Группы образовались в младших классах, однако с самого начала перегородки между ними не были непроницаемыми. То есть, в принципе, можно было попасть в высшую группу, однако накатанного пути для беззаконного попадания не существовало. Тут можно было ожидать любых неожиданностей. Так, одна девочка, по рождению принадлежавшая ко второй группе, мгновенно попала в первую после того, как ее мама съездила в Югославию и привезла оттуда много дешевых, но невиданных по красоте сапожек и платьев. За нею возвысилась ее ближайшая подруга, потому что подходила ей по росту — обе в то время были сами высокими девочками в классе.

Теперь, возвращаясь в прошлое, я должна признаться, что и у меня однажды была такая возможность, однако я ее проворонила. Мой почерк был самым лучшим в классе. Как выяснилось много позже, его красота внушала робость одной из высших девочек. Пораженная моей каллиграфией, она-то и сделала попытку поднять меня до своих высот. Эта попытка была сделана в четвертом классе и совпала с важнейшим событием моей жизни, а может быть, само по себе это важнейшее событие и стало своего рода детонатором так и не последовавшего взрыва. Дело в том, что до этого времени я носила толстые хлопчатобумажные чулки, которые пристегивались к поясу металлическими застёжками на резинках. Чулки были короткими, и из-под платья сверкали голые ноги и металлические застёжки. В то лето 1967 года мой отец съездил в командировку в Чехословакию, откуда привез мне несколько пар нейлоновых колготок — синие, зеленые, красные и цвета морской волны, и еще одни темно-голубые — на вырост. Первого сентября я явилась в школу в колготках, и это решило дело. Не прошло и месяца, как Лариса Юрченко подошла ко мне на перемене и в качестве вступительного предложила вопрос, ответ на который был бы очевидным для любой высшей девочки, однако меня он поставил в тупик. «Что бы ты выбрала, французскую шубу или дубленку?» Я не знала, что такое дубленка, а потому жалко промялила «французскую шубу», и была решительно отсеяна из претендентов. В тот год каждому дураку из «своих» было известно, что выбирать надо дубленку. Разделение, закосневшее к шестому классу, не касалось списывания домашних заданий, подсказок на уроках и решения чужих вариантов на контрольных работах. Своих отличников у верхних не было. Они относились к учебе с некоторым оттенком благородной барственной лени, в то время как большинство из наших не позволяло себе расслабляться, может быть, надеясь компенсировать некоторую свою социальную неполноценность

плебейской усидчивостью. Наш час наступал на контрольных работах, когда глаза и верхних, и нижних одинаково молили нас о помощи.

Конечно, в те времена нашего, весьма замкнутого, существования мы вряд ли серьезно размышляли о свойствах нашего мирка и большого мира, ограничиваясь предварительными профессиональными устремлениями, которые в значительной степени охлаждались трезвыми, почерпнутыми от наших родителей оценками возможности поступления в тот или иной вуз. Само понятие вуза было некоей чертой, границей, порогом, отделяющим нас от большого мира. Этот порог именовался словом «поступление» и сам по себе застил нам глаза, не позволяя разглядеть перспективу, которая должна была бы за ним открываться. Проще говоря, поступление было в значительной степени самоцелью. Дальнейшее мы не обсуждали. Я могу вспомнить только один случай, который можно назвать попыткой заглянуть за этот порог. Кажется, в шестом классе мы с Ирккой шли домой, и наш разговор зашел о поступлении. «После института я уеду». Она произнесла это совсем неожиданно и очень серьезно, и именно поэтому я мгновенно поняла — куда. Я помню, что я начала горячо ее отговаривать, как будто дело решалось именно сейчас. Она слушала, не перебивая, однако смотрела куда-то в сторону. Я подумала, что она уже жалеет о том, что сказала об этом мне, но у меня не хватало благоразумия остановиться. Я летела вперед, приводя все новые и новые доводы, которые, судя по ее выражению лица, не были для нее новостью, словно кто-то до меня, может быть, она сама, навязчиво повторял их на все лады несчетное количество раз. Она переждала мою атаку, дождалась, когда все мои доводы кончатся, и только после этого заговорила сама. Ни опровергать меня, ни разъяснять она не стала. Она легко перешла какой-то порог, перед которым толклись мои доводы, и заговорила о другом. «Зна-

ешь, о чем я все время думаю. Дед с бабушкой прожили здесь почти всю жизнь, но все-таки плоховато говорили по-русски. Их родители совсем не говорили. Если мои дети родятся там, их родной все-таки будет не русский. Знаешь, я все время думаю об этой цепочке. О том, что я получаюсь где-то посередине. Ну как переводчик. Если бы все они встретились». Я не нашлась с ответом, да и ответа-то она, конечно, не ждала. Она сама очень быстро перевела разговор на другую тему, конечно же, нисколько не предполагая, что весь этот странный разговор останется во мне навсегда, чтобы по прошествии двадцати с лишним лет соединить какую-то другую мою цепочку, став для меня одним из объяснений того, что случилось со всеми нами. Хотя в нашем — общем — случае дело не только в языке.

Впрочем, Ирка была права, переведя разговор на другую тему.

## Выбор поэта

Думаю, до поры до времени эти тонкости общественного развития оставались невидимыми для учителей. Применительно к нам учителя мыслили категориями дружбы и дисциплины. Выбор именинных гостей объясняли дружбой, успеваемость — индивидуальными природными способностями и, едва ли не в той же мере, усидчивостью. Что само по себе правильно. Я же, со своей стороны, настаиваю на ином ракурсе лишь потому, что однажды — кстати сказать, при весьма неподходящих для социальных обобщений обстоятельствах места — мы все как один ввязались в спор об обстоятельствах времени, точнее говоря, о том, что со временем стало его важнейшим обстоятельством. Смешно сказать, но именно та история, случившаяся в нашем 6 «б» классе, была первым актом истинного и долгого противостояния, по отношению

к которому персональный состав наших дней рождения был лишь первой прикидкой.

Сама по себе она не стояла выеденного яйца. Анастасии Федоровне — нашей тогдашней учительнице по русскому языку и литературе и секретарю школьной партийной организации — пришла в голову мысль устраивать на своих уроках пятиминутки поэзии. Идея была встречена с энтузиазмом, к искренности которого примешивалось желание свести до минимума время опроса. При умелом подходе пятиминутка сулила растянуться минут до двадцати. Анастасия же Федорова, кроме естественных для учителя литературы просветительских устремлений, метила на серию мероприятий, которые можно смело записать себе в актив. Таким образом, наши интересы счастливо совпали, что само по себе — уже половина успеха. Обрадованная нашей сговорчивостью, Анастасия предложила не откладывать дела в долгий ящик, а тут же, не сходя с места, выбрать поэта на будущий урок. Выдвижение кандидатов она предоставила нам самим, сформулировав ограничение лаконично, почти что в виде строчки кроссворда. Поэт, не входящий в текущую школьную программу. Окончательный выбор она, конечно, предполагала оставить за собой. Шум поднялся невообразимый. «Средние» выкрикивали Есенина, Друнину, Ваншенкина, «верхние» — Мандельштама, Пастернака, Ахматову.

Я очень хорошо помню выражение ее лица, когда она терпеливо вскидывала глаза навстречу нашим крикам, тихонечко постукивая по столу обручальным кольцом. Душой она, конечно, была с «нами», но «они» напирали сильнее, однако Анастасия предпочитала не вмешиваться. Может быть, она боялась своим преждевременным вмешательством спугнуть наш энтузиазм, а может быть, не видела в этом противостоянии ничего опасного ни для нас, ни для себя — дело-то, так сказать, домашнее. А может быть, еще того проще, она не читала тех, кого выкрикивали «верхние», ко-

торые, в свою очередь, вряд ли и сами их читали. Но: французская шуба или дубленка?.. Если это простейшее объяснение верно, то спор и вовсе обретает черты отвлеченности и беспочвенности. А может, она-то как раз и читала, однако, подозревая, что никто из нас не читал, надеялась, что нам самим не понравится эта заумь. И все-таки Анастасия Федорова попыталась доказать верность нашего мнения, однако «верхние» переорали.

У меня дома Пастернака не было. Пришлось заказывать на Фонтанке, в юношеском читальном зале. Читала, как на чужом языке, хуже, чем на чужом: странные слова, хрустящие острыми осколками, ранили мою старательную память, когда, все-таки выбрав, я учила наизусть: я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет, какие такие суставы в запястьях, надо к завтрашнему, потому что нельзя же стихи по бумажке, неужели Федька действительно это любит, кричал, что лучший поэт, не знать нельзя, чтобы комкая корки рукой, если переставить запятую, получится — рукой мандарина... Испариной вальса, придется взять с собой листочек — утром еще повторю.

Федька Александров сидел на последней парте, пролистывая книжечку. Я сразу узнала — такая же, как в Публичке. Принес из дома. Я вышла первой, с листком. Читала, не подглядывая. Успела доучить утром — сложить осколки. Анастасия кивала, уткнувшись в стол. Я вернулась на место, сунула листок в передник. Федька поднял руку, улыбаясь, мне показалось, виновато. Улыбаясь, шел по проходу. Сказал, что так и не выбрал, выбрать трудно, прекрасные стихи, буду читать по книге. Анастасия не возражала. Прежде чем начать, он полистал, откидывая голову и отводя руку с книжкой. Анастасия смотрела, как мышь на крупу. Читал, растягивая слова, вскидывал кисть, неслышно пощелкивая пальцами. Анастасия ежилась, но терпела. Минута, две, шесть... Народ скучал. Желание смеха одолевало всех без разбора, сильное, сильнее

всех разделений. Преграды оплывали: то тут то там лопались легкие пузырьки. Она постучала о стол обручальным кольцом — скорее по привычке. Хихиканье привычно улеглось. Расцветало беззвучное веселье. Больше она не останавливалась. Глядела весело, как на клоуна. Наверное, она думала о том, что все сделала правильно, дети должны разобраться сами, тогда это останется. Чтец поглядывал поверх книги, сбиваясь все чаще. Не дочитав, мотнул головой, прищелкнул каблуками с поклоном. Нескладно и криво. Смеялись все. Анастасия склонилась над журналом смеясь. Федя заглянул под руку. Шел на место, победно улыбаясь — оценка была великодушной. Больше никто не поднял руки. Пятиминутка кончилась. На следующем уроке читали Друнину.

Карточка, с которой живу я, не хохочет. Она смотрит на меня с нежностью.

До сих пор я помню наизусть и не люблю их, боюсь этих ломких строк, как будто, выучив, ими отравилась. Встречаю время от времени — иногда их цитируют. Каждый раз я объясняю свою неприязнь тем, что, наверное, учила их через силу. Объясняю, зная, что это — неправда. Многое из того, что я люблю больше жизни, я учила через силу — со страхом и смирением. Может быть, какой-то тонкий яд проник в меня тогда — с пылью юношеского читального зала, со звуком постукивающего о деревяшку чужого обручального кольца. Золотой ободок на безымянном пальце. Однажды я заболела гриппом, а накануне съела полную сковородку жареных кабачков. С тех пор меня мутит от этого запаха.

## И единственный взгляд

После зимних каникул наша английская группа осталась без учительницы. Муж Лидии Александровны завербовался в Египет на строительство Асуанской плотины. Замену



заранее не подобрали. Наверное, она до последней минуты держала свои семейные планы в тайне — боялась сглазить. Как водится, нашу группу разбили на две и отправили к другим: половинку к Валентине Павловне, половинку к Борису Григорьевичу. Я всегда ходила к Б.Г., потому что у него училась моя Ирка. Через месяц он заболел. Я помню этот день. Мы сидели за партами по трое — в английских кабинетах парт всегда мало, и, не поднимая шума, надеялись, что нас оставят в покое, забудут. От урока прошло минут десять. Надежды сбывались. Дверь распахнулась, Сашка Гучков влетел как черт на помеле. «Сека! Идут! С директрисой!» Дверь жажнула и снова открылась. Мы поднимались с мест. Крайние вставали в проходах, замирая по-солдатски. Средние скрючивались, нависая над партами. Вошла маленькая, неправдоподобно маленькая женщина, закрыла за собой дверь и взмахнула рукой. Директрисы не было. Женщина назвала свое имя — непривычное для нашего русско-английского слуха, и заговорила по-английски. Шум затих. Никто из учителей *так* по-английски не говорил. Не в том дело, что они не знали языка — мы-то знали еще хуже. Наверное, это странно звучит, но английский, к которому мы привыкли, ничем не отличался от математики или литературы: английский второклассников, английский шестиклассников. Он был по нашей мерке или чуть-чуть на вырост. Учителя учили нас так, как родители покупали одежду.

Она говорила свободно и быстро, нисколько не боясь, что мы не пойдем, как будто знала заранее, что не понять нельзя. Почти не глядя на нас, она рассказывала какую-то свою историю, время от времени подходила к доске и быстрым белым мелком чертила английское слово — без перевода. Это слово мы слышали впервые, и она заранее знала об этом. Мы видели, как оно выступает белым из-под ее руки, и этого было достаточно и для нее, и для нас, словно она доверяла

нашим глазам больше, чем нашим ушам, как будто наши глаза уже встречались прежде с этим словом и узнавали его, стоило ей написать. Ее английский был легким и веселым, шутки быстрыми, каблуки тонкими и высокими. Наверное, я что-то собралась сказать Ирке, потому что, отвлекшись на секунду, увидела Иркино хмурое лицо и скошенные в сторону глаза, как тогда, во время того нашего разговора. Как будто Ирка, отвернувшись от моих доводов, продолжала тот разговор, но на этот раз — не со мной. Секунду-другую я еще стояла у порога — нежданным гостем. Потом отвернулась и отошла. Я снова стала глазами, зоркими, как ястребы. Смотрела вперед, то на доску, то на маленькую женщину, стоявшую ровно, как тетива. Она не видела меня, да и разве могло ей прийти в голову выхватить кого-то одного из-за парт переполненного класса, выделить из настоящего ради сомнительного будущего. На это требовались другие глаза, смотрящие издалека на нас обеих. Мне, двенадцатилетней, они были неведомы, я не умела различить. Все, что я сумела, это расслышать голос: «Ты будешь с нею всегда». Зазвонил звонок. Она замолчала, как будто остановилась на полуслове. Воспользовалась звонком как порогом, за который не пожелала переступать. Звонок давал ей на это полное право. Она отошла к учительскому столу, приблизилась к нему впервые за весь урок. Все потянулись к выходу, все еще улыбаясь ее истории. Проходя, каждый говорил «до свидания», и она прощалась с каждым. Спокойно и безразлично. Ей-то не было никакого дела до того, свидится ли она с нами снова. Она стояла все еще ровно, но я уже видела, как ослабла тетива. Все ушли, и я одна пошла вперед по проходу.

Она смотрела, как я приближаюсь и с каждым шагом становлюсь все меньше, так что в конце концов она уже различала с трудом. Она же становилась больше, длиннее стали узкие крылья ее носа, острее скулы, пустее улыбка, не оставлявшая надежды. Еще не поздно было просто-напросто сказать «до

свидания». «Вы расскажете дальше?» Я не знаю, что заставило меня спросить. Я была одна, но неужели в тот миг, единственный за всю нашу с нею жизнь, она не знала того, что *уже* знала я? Я спросила и снова стала большой, больше нее. Она поморщилась, мои слова были для нее чудовищной грубостью, ей пришлось собрать силы, чтобы сдержаться. Я отступила, не вполне осознавая, что случилось, но уже содрогаюсь от содеянного, и тогда за моими плечами встали мои детские воспитатели — страх и тоска. Шесть лет, пока я училась всему на свете на свой страх и риск, они не давали о себе знать. Но теперь, ах, как же ловко они выбрали время. Спустились на помощь из моих давних лет, как с неба. Шорох крыльев, поднимавшихся над моей головой, как руки — для защиты, чтобы я поняла, что я люблю ее.

Господи, почему ты оставил меня? Я не знала слов, я не умела говорить, я была бессловесна. Чему могли научить меня мои бессловесные учителя? Это говорю я, та, какой я стала сейчас — в мои сорок лет. Теперь я знаю множество слов, и русских и английских. Я знаю слова, которые умнее меня, они сами становятся мною, моей памятью, моими мыслями. Я умею глотать их как тройчатку и класть под язык как валидол. Русские и английские — обезболивающее двойного действия. Что я могу знать о времени, о Его времени? Говорят, Он смотрит на нас всегда, а если и отводит взгляд, всегда можно позвать. Почему же я до сих пор уверена, что со мной по-другому? На меня — один-единственный миг, один-единственный взгляд — тогда. Нет ни правила, ни закона, по крайней мере, я не могу вывести. Ничтожен и слаб. Что ж, пусть так и будет: страх и тоска и единственный взгляд.

На самом деле я не онемела. Уже на следующий день я почти и не помнила об этом случае и болтала как ни в чем не бывало. Даже приходя на урок английского и видя ее воочию, я забывала о ночных страхах и слушала вздох. Уро-

ки пошли своим чередом, она больше не возвращалась к той истории, даже не вспоминала, как будто вся история и белый мелок нужны были лишь для первого знакомства, для того, чтобы посмотреть почти безразличными глазами, как *все* проходят мимо нее, бормоча «до свидания». Между тем Б.Г. вышел на работу, и число английских групп вернулось к первоначальной тройке. После долгого перерыва, занятого болтовней, Ирка Эйснер снова заговорила со мной серьезно. Она решительно вознамерилась перейти в группу к Ф. Отводя глаза, Ирка говорила о том, что ей необходимо *такое* качество обучения, но как об этом скажешь... В общем, она уговорила меня идти к Б.Г. вместе. Б.Г. выслушал спокойно. Не знаю, было ли ему обидно: Ирка — лучшая в классе. Точный математический ум, память, добросовестность. Перебивая друг друга, мы говорили о дружбе. Он согласился сразу. Сказал, что ему будет ее не хватать. Единственное условие — подобрать кого-то из моей группы, кто согласился бы перейти к нему вместо Ирки — добровольно. Вероятнее всего, это условие казалось ему легким. Мы же, выйдя из его кабинета, стояли ни живы ни мертвы, потому что — тут уж ни одна из нас не отводила глаз — кто же, находясь в здравом уме, согласится уйти от Ф. И все-таки Ирка не хотела сдаваться. Перебирала пофамильно. Сошлись на Лариске Панферовой. Тройки. Ума с гулькин нос. В группе Б.Г. подружка. Врала точно и артистично. Хочет перейти, потому что дружим. Б.Г. не против, только попросил замену. Он — добрее, спрашивает не так зверски. *Сам* предложил ее — Панферову. Лариска согласилась сразу. Мы в Иркой чувствовали себя победительницами. Наконец-то, говорили мы. Конечно, удобно. Презванивались вечерами, обсуждали домашнее задание.

Ночами я исходила болью. Боль лилась из глаз, как слезы, сочилась изо рта, как слюна. Подушка, пропитанная болью, становилась мокрой, как детская простыня. Я не вста-

вала сушить. Ужас смерти — ее смерти — обессиливал меня. Из ночи в ночь я видела одно и то же. То, что увидела наяву через двадцать пять лет. За ночь боль подсыхала сама. Кутру на голубой наволочке оставались желтоватые подтеки. Так я и выплакала свои глаза. Через три месяца мое зрение испортилось. К маю глаза стали плохими: 07 — 06. Мне закапали лекарство и на две недели освободили от уроков. Я приходила в школу и слушала. Ни читать, ни писать я не могла. Потом мне выписали очки. Оправа была уродливой. Страх ее смерти отпустил меня. Теперь я боялась ослепнуть.

### Голубоватый пол

В сентябре ей предоставили новый кабинет. Он находился в дальнем корпусе и был очень маленьким, парты впритык. Летом его отремонтировали. Голубой линолеум, голубые стены. Первого сентября кабинет выглядел ослепительно. Классы и кабинеты мы убирали сами. На всю нашу школу приходилось две уборщицы. Они мыли кабинет директора и завучей, учительскую, вестибюль и лестницы. В каждом классе стояло ведро со шваброй. Учителя показывали, как мыть. У них получалось ловко. Так они мыли дома: тряпка в ведро, выкрутить обеими руками, намотать на швабру. Привычное дело. Показывая, учительницы мыли с энтузиазмом. Их руки становились мокрыми и грязными. Это называлось влажной уборкой. Дежурные возили тряпкой, время от времени макая ее в ведро. На крашенных половых досках разводы были почти не видны. На нашем голубом линолеуме высохшие разводы становились желтоватыми подтеками. Через две недели дежурных трудов на нем не осталось живого места.

«Кто из вас читал Шекспира?» Она спросила по-русски и посмотрела холодно. Поднялась Фекина рука. Взгляд оста-

новился на нем, но не потеплел. «Что именно?» Рука опустилась и щелкнула пальцами. «Как это?.. — беззвучное пощелкивание. — “Ромео и Джульетта”». Он вспомнил название и улыбнулся. «Это все?» Стояла ужасная тишина. Она обращалась к нему одному. Остальные затаились. Она смотрела на него так, как будто нас, не читавших и этого, ее презрение не касалось. Мы были вне поля ее презрения. «Останешься после урока». Федя встрепенулся и смолчал. «Пол должен быть чистым. Вы знаете, что такое чистый пол?» Теперь она обращалась к остальным. «Кто дежурный», — она спрашивала. Я поднялась. «Как на корабле», — она вынула из кармана белый носовой платок, стремительно нагнулась и провела. Развернула и показала. Мне. Серый след на белом. «Тебе понятно?» Теперь она разговаривала только со мной. Мне было понятно. Она скомкала платок и заговорила по-английски. На математику Федька вернулся к самому звонку. Я провожала глазами. Он заметил и согнал улыбку, как будто именно от меня должен был скрывать свое новое счастье.

После уроков я нашла тетю Валю и выпросила порошка. Она повела меня в подсобку под лестницей. Там стояли новые ведра и новые швабры. «Чего мыть-то?» — «Голубой кабинет». — «Ведро-то там есть?» — «Нету, и тряпка рваная». Она протянула ведро. «Порошку немного сыпь — не отмоешь». Она рвала мешковину. «А нету щетки какой-нибудь? Там на стенах еще написали, тряпкой не оттереть». Голубые стены были чистыми. Никто бы не посмел. «На. Посыплешь порошка на мокрую, щетиной потрешь, и сразу чистой водой. Не жди, пока засохнет». Она показала как. «На-ка еще швабру». Новую швабру она подарила мне от себя. Старое ведро и тряпки я подбросила в туалет. Притащила теплой воды — целое ведро. Отодвинула парты. Обмакнула щетку и нарисовала мокрый квадрат — метр на метр. Сыпанула порошка из плошки, встала на колени и принялась оттирать. Терла и ма-

кала, терла и макала. Стирала сухой тряпкой. Так меня никто не учил. Из-под желтых разводов проступала ослепительная сухая голубизна. Волосы выбивались из косы и лезли в глаза. Я отводила мокрой рукой. Вода в ведре темнела после каждого квадрата. В туалете я сливала грязную, мыла ведро и набирала чистой. Пять, шесть, сбиваясь со счета. За спиной в коридоре было тихо. Я допятилась до двери и разогнулась. Спину ломило. Ослепительное сухое сияние. Дверь скрипнула. «Ты еще тут? Домой-то собираешься. Мне запирать». — «Вот, отмыла». Уборщица огляделась. «Отмыла, и хорошо. Теперь закрутлюсь». Она закрыла дверь. Я сняла туфли и пошла босиком. Все было сухо. Мой пол — чистый, как постель. Я легла и вытянула ноги. Ни одного подтека. Закрыв глаза, я думала о том, что теперь бояться нечего. Теперь я могу прочитать Шекспира.

В понедельник грамматика, во вторник учебник, в среду английская литература, в четверг учебник, в пятницу домашнее чтение. К каждому уроку — свое. Для домашнего чтения взяли Киплинга. Про моряков. В первый же раз она не приняла ни одного ответа. Без оценок. Выслушала и предупредила, что следующий раз будет оценивать так: две грамматические ошибки — 3, два невыученных новых слова — 3, медленный темп — минус один балл. Объяснила, как учить. Вам дается три листа книги. В понедельник читаете и выписываете новые слова, во вторник ищете их перевод по словарю. В среду их учите. В четверг пересказываете близко к тексту. *Только* в косвенной речи. Прямая не допускается. Через месяц втянулись все. Остальные группы постепенно привыкали: наши не высовывают носа. Смотрели, как на страдальцев. По утрам Ирка заходила за мной. По дороге мы гоняли друг друга по словам.

После урока она кивала Феде. Это означало, что после уроков он идет в голубой кабинет. Иногда она не кивала — не обращала на него внимания. Тогда Федя шел к двери, огляды-

ваясь, ждал, что кивнет. По пути домой мы с Иркочкой обсуждали. Федька молчит и ходит голым. Ирка уже прочитала. Шекспир нашелся дома, правда, не Ромео, а Гамлет. Обещала выпросить у родителей и принести мне. Вчера Ф. позвала Мишку Дудинцева. Ничего он не читал, просто сидит с Федькой за одной партой. Ирка злилась. Я не смела. В понедельник на уроке Ирка подняла руку и сказала, что уже прочитала Гамлета. Ф. выслушала безразлично. Родители книжку дали. Перевод Пастернака. Эти слова не ранили мозг, не хрустели острыми осколками.

Порошок, который я выпросила, кончился. Щетку я сама унесла домой еще в тот раз. Дежурные мыли тряпками и не каждый день, только тогда, когда Федя с Мишей не приходили. Мне это было на руку. К моему дежурству голубой пол снова стал желтоватым. Теперь я всегда носила в портфеле порошок и щетку и ждала.

Она кивнула мне во вторник. Наступал мой день. После уроков я пришла. Она сидела в углу и писала. Я сдвинула парты и выложила щетку. Притащила ведро воды. Снова, как и в прошлый раз, — квадратами от окна. Шур, шур, сыпала порошок, терла, смывала, носила воду — квадрат за квадратом. Колени сырели. Она не смотрела в мою сторону, просто сидела и писала. Я доползла до угла, она поднялась и перешла к окну. На вымытом отпечатались ее следы. На коленях я проползла за нею и вытерла насухо. В туалете я вылила последнее ведро и посмотрела в зеркало. Красное лицо, растрепанная голова, темные пятна на коленях. Я вернулась и поставила ведро в шкаф, щетку засунула в ведро. Носить с собой бесполезно. Если бы я посмела, я бы заплакала. Она поднялась и вынула белый платок. Я ждала, что теперь она нагнется. Мне это было все равно. Она не нагнулась. Я стояла у двери. «Садись». Я мыла два часа. Это было ее первое слово. Я села за свою парту и спрятала красные руки. Она открыла проигрыватель и вынула из конверта пластинку.



Свела брови, подняла иглу, опустила в длину и вышла на середину.

*Там, там, там* — как будто кто-то подходит ко мне, три мягких шага, издалека, их много, но как одно, но шире, чем одно. Ее рука поднимается, открываясь, и голос, ее голос, но другой, какой я никогда не слышала даже по-английски, как будто не голос, а что-то другое, большее и выше, *непостижимее*, опустилось на звук, как игла. Звук вздрагивает, но голос идет над ним как над водой, по звукам, едва касаясь.

When in disgrace with Fortune and men's eyes  
I all alone beweepe my outcast state,  
And trouble deaf heaven with my bootless cries,  
And look upon myself and curse my fate...\*

Я не понимаю, я не знаю всех новых слов, я еще не выучила новые слова, только некоторые, но мне и не надо, чтобы понимать. Сижу и сжимаю красные руки, свожу и развожу пальцы, сижу и сжимаюсь до верха, до горла, когда ее голос, не голос, что-то, чему я не знаю слова, отходит, отступает на шаг, руки опускаются, звуки разжимают мои пальцы, и *им*, тем, соединенным в одно, удастся взлететь, вырвавшись из моих красных рук, которые хотят удержать. Медленная дрожь, и там, высоко, все разрывается, как завеса, передо мною: *они* выпевают то, чему я не знаю слов, то, что никогда не назову. Каблуки — к проигрывателю, рука быстро поднимает иглу. «Это сонет Шекспира. Вот, я написала здесь, для тебя». Каб-

---

\* «Когда в раздоре с миром и судьбой,  
Припомнив годы, полные невзгод,  
Тревожу я бесплодную мольбой  
Глухой и равнодушный небосвод...»  
(В. Шекспир. Сонет 29. Пер. С. Маршак)

луки — к столу, на котором листок. Подает мне. Моя красная рука, ее — маленькая, белая, с голубоватыми прожилками. Голубые прожилки крови. «Ты выучишь, и мы попробуем с тобой. В этом цикле три сонета, я хочу, чтобы вы читали вдвоем. Ты — первый и третий, Федя — второй». На столе пусто. Пока я терла, она писала.

Уже целый месяц, день за днем, я стою в голубом кабинете у доски. Она передо мною. Проигрыватель под ее рукой. Она поднимает и опускает иглу. Сначала часто, почти с каждым словом, потому что мой голос не слушается, вихляет в ее руке, как сковородник. Пальцы сведены, руки деревенеют, горло деревенеет, мое дурацкое горло. Все, чему научилась раньше, — не в счет. День за днем она стоит передо мною, ее рука держит мой голос, голубые прожилки крови перед глазами. Одну первую строку, теперь вторую, день за днем. Уроки проходят неслышно, ночи проходят неслышно, мы читаем по очереди, она, я. Каждое слово — на свой звук. Когда она — в моем горле натягиваются жилы. Когда я — надо следить за горлом и лицом. Надо следить за музыкой и ее пальцами. Она терпелива. Я не знала, что можно быть такой терпеливой. Я терпелива — моему терпению не будет конца. Она не утешает. Переносит иглу назад. Сначала и по одной строке. Она снимает иглу и больше не ставит. Я дошла до конца. Наверное, она думает о том, что прошло целых два месяца. Я смотрю в ее лицо. Тени под глазами, она измучена. Сидит, не двигаясь. Она манит меня, сажает рядом, обнимает. Утешает — теперь. «Теперь ты считаешь дома, сама, чтобы запомнить». Она снимает пластинку и укладывает ее в конверт. Теперь мне можно доверять. Дома я вынимаю пластинку. *Мой* кусочек Глюка заезжен до белизны. Дальше черное. В середине будет Федино. Его будущая белизна, в середине.

Я сижу в углу и шевелю губами. Федя у доски, она напротив. На этот раз напротив него. На меня не обращают

внимания, и это — хорошо. Я могу слушать, как она читает, как раньше для меня. Через неделю мои губы попадают в слова.

No longer mourn for me when I am dead  
Than you shall hear the surly sullen bell  
Give warning to the world that I am fled  
From this vile world with vildest worms to dwell...\*

Она читает терпеливо и терпеливо переставляет иглу, но с каждым днем ее лицо замыкается. Я вижу, как он старается — каждый раз вступает с надеждой. Она уже почти не останавливается. Дает прочесть до конца. Потом снова сама. Он не попадает, не попадает, не попадает, снова и снова не попадает. Улыбается виновато. Я вижу. Он читает о себе, о своей смерти. Она не хочет видеть его виноватой улыбки. Эта улыбка погубит. Через две недели она протягивает его листок мне, показывает рукой, и я выхожу. Мои скрипки — мое вступление. Федя смотрит из моего угла. Она ничего не объясняет, но мне и не надо. Это — не про меня. Про нее, про ее смерть. Я — ее губы. Я говорю ее губами, про нее. Про себя я бы так не посмела. Кого я посмела бы утешать в *своей* смерти? В ее смерти она утешает — меня. Там только одно мое слово — *for I love you so \*\**, — но оно *так*, по-ночному, мое, что я не боюсь сказать. Она делает мне знак рукой, чтобы я молчала, и встает. Поднимает иглу и ставит на конец Фединой...

---

\* «Когда умру, напрасно слез не лей  
И знай: тягучий мрачный звон вдали  
Разносит весть, что мне теперь милей,  
Чем смрадный мир, могильный смрад земли...»  
(В. Шекспир. Сонет 71. Пер. К. Азадовского)

\*\* ...потому что я так люблю Вас... (англ.)

But be contented when that fell arrest  
 Without all bail shall carry me away  
 My love hath in this line some interest  
 Which for memorial still with thee shall stay... \*

Ее лицо оживает, она читает мне — про себя. Она жива, она заранее утешает меня, пережившую ее смерть, потому что в этот миг она знает, что когда-нибудь мне снова придется пережить. *For I love you so* — это не ее слова, мои слова, так она не может сказать. Так она не сможет сказать еще много лет. Но скажет. *Do not so much as my poor name rehearse \*\**, — скажет, и потом я больше никогда не смогу повторить ее имя.

### Крошка Цахес

С точки зрения районо, наша школа — гордость района и блаженный островок показухи. С точки зрения школьной администрации, районо — это Министерство иностранных дел. Оно направляет к нам многочисленные иностранные делегации, которые мы принимаем с почетом. Их водят по классам, демонстрируя процесс обучения. Мы давно свыклись. Открывалась дверь, и появлялся по-нашему улыбающийся Б.Г. За ним тонкой струйкой просачивалось человек двадцать, улыбающихся по-иностранному. Урок не прерывали. Пришельцам предоставлялась возможность изучить

---

\* «Когда меня отправят под арест  
 Без выкупа, залога и отсрочки,  
 Не глыба камня, не могильный крест,  
 Мне памятником будут эти строчки...»  
 (В. Шекспир. Сонет 74. Пер. С. Маршака)

\*\* ...Не повторяй мое жалкое имя... (англ.)

советских школьников в естественных условиях. Естественные условия изображались просто, но артистично. Хорошие ученики дружно поднимали руки, плохие не поднимали — от греха. Видимо, изображали тоже хороших, но с ленцой. Голос учительницы становился звонче. Если это был не урок английского, Б.Г. переводил шепотом, вводя гостей в курс дела. Минут через десять, видимо, уже окончательно войдя, улыбочивые гости покидали нас на цыпочках, оставляя по себе дары: аки манной небесной наши парты покрывались жвачками, ручками, бусиками. Б.Г. выходил последним и одаривал нас совершенно нормальной улыбкой.

В отличие от Б.Г., Мапап иностранцев не водила. Она водила дружбу с заведующей районо, от которой зависели ежегодные ремонты, новая мебель и лингафонные кабинеты. Естественные условия, в которых принято было нас показывать, должны были быть не столько естественными, сколько достойными. Однако это был фон. Мапап не могла этого не понимать. Шекспировский театр, который организовала Ф., становился козырной картой. Для нас начиналась новая эра — мы выходили в любимые дети Мапап.

«Дорогие друзья. Я — конферансье небольшого коллектива, который организован в рамках Клуба интернациональной дружбы имени Роберта Бернса. наших друзей мы по традиции встречаем маленьким концертом. Конечно, мы не профессионалы, но приложим все старания». Я стою на открытом месте в рекреации второго этажа. Передо мной скамейки, на скамейках английская делегация. Делегация очень важная — Мапап в первом ряду. Рядом с нею несколько пожилых английских дам в кружевных воротничках. Публика попроще — джинсы, свитера, бороды — рядами за их спинами. В общем, форменный Шекспировский театр. Мое английское вступление закончено. Благосклонные улыбки и легкие аплодисменты. Ф. в углу у проигрывателя.

Первой я объявляю Лену Трону. Классический танец. Ф. ставит пластинку, Ленка выплывает на пальцах. Танцует замечательно. Легкая фигурка в шуршащей пачке. Гости фотографируют. Бесперывные вспышки. Кружевные дамы кивают: русский балет. Мамап шепчется с ближайшей. Что-нибудь вроде того, что дети в СССР учатся балету с раннего детства. Кружевная непроницаема. Я еще тогда заметила, что она какая-то не совсем кружевная. Джинсы и свитера аплодируют с энтузиазмом. Кружевные сдвигают ладони. Мамап смотрит на Б.Г. выразительно.

«*An Ideal Interview with the Greatest Actor*»\*. Я объявляю то, что никогда не видела, то, ради чего они оставались после уроков. Федя — великий актер, Миша — журналист. Берет интервью: «Итак, вы готовы явить себя в Шекспире?» — «Я бы выразился по-другому... — Федька надменен и вдохновенен. — Шекспир готов явить себя во мне». Взрыв хохота. Я смеюсь со всеми. Мишка ходит кругами на почти-тельных цыпочках. Великий актер представляет публике нового Гамлета: не в черном, в коричневом бархате. Это — революция. Они говорят быстро, слишком быстро для меня. Но это не для меня — для иностранцев. В Федькиной руке череп, настоящий, из кабинета биологии. Зрители хихикают. Поднимается с табуретки, бросается на пол, ползет на животе, судорожно дергая ногами: «Я ползу медленно, мои ноги и живот движутся, выражая грустную историю Йорика». Хохот нарастает. Мишкин открытый рот. Федька вскакивает. Спинай к публике, дергает лопатками, вот оно страшное горе Гамлета, потерявшего друга. Мишка как пес на задних лапах. Великий актер скромен как никогда. Уже снисходя к восхищению, сообщает, что на самом деле он собирается представить публике нечто большее, чем Шекс-

---

\* «Воображаемое интервью с великим актером» (англ.; рассказ Стивена Ликока).

пир. «Как бы это выразить — что-то... В общем — я представлю самого себя». Медленно, как подкошенный, журналист опускается на колени и отползает вперед пятками. Аплодисменты — долгие и продолжительные, взхлеб. Быстрым взглядом я оглядываю главных. Ф. в своем углу. Смотрит в окно. Мапап смеется со всеми. Б.Г. оглядывает зал, привставая с места. Кружевная улыбается вежливо и сдвигает ладони. Этой все равно, что Федя, что советский балет. Я хлопаю, но у меня уже сосет в животе, потому что теперь я должна объявить себя. Сонеты Шекспира под музыку Глюка. Они ждут, когда я уйду. Привыкли, что объявляю. Стою, дожидаясь шуршания. Ф. за моей спиной. Господи, какая пустота, как в животе. Шуршание и мой голос, бредущий за скрипками.

Ватная тишина. Я ничего не вижу. Это мне просто кажется, что я вижу их лица. Куда мне, моим плохим глазам. Это мне просто кажется, что на их лицах вежливое недоумение. Они не могут не понять. Это же ИХ Шекспир. Они мне мешают. Если бы я посмела остановиться, я крикнула бы им, что они мне мешают. Выше зала, выше их голов. Уже не может помешать. Я начинаю третий сонет и опускаю глаза. Я не хотела смотреть, я взглянула случайно. Пальцы, белый кружевной платок, плачет и рвет его зубами, рвет его кружева. Совсем близко, два шага, я не могу ошибиться, даже мои плохие глаза. Это могу видеть только я. И Ф., если она смотрит. Остальные не могут видеть, как главная кружевная дама плачет и рвет зубами свои кружева...

Они идут прямо к нему, мимо меня, не обращая внимания, парами и поодиночке.

Бороды, джинсы, свитера, кружева. Обступили, жмут руку, галдят наперебой. Триумф. Он кланяется и кивает: меня зовут Теодор. Он высок и красив. Я-то уж вижу, что он красивее их всех. Суют ему ручки, ручки, сувениры, значки. Он улыбается и благодарит. Карманы полны подарков. Я огляды-

ваюсь. Ф. сидит в своем уголке и смотрит мимо всех. У нее рыжеватые короткие волосы на прямой пробор. Как будто вспыхивают золотом — прядь за прядью. Она проводит рукой по волосам, смягчает золотой отсвет прядей. Я стою и верчу их в руке. Это мои подарки — две шариковые ручки, синяя и зеленая. Мужчина и девушка. Они проходили мимо и подарили, поблагодарили вежливо. Девушка в коротком сарафане на молнии — от горла до подола.

Мапап машет рукой. Подзывает меня. Я оглядываюсь. Ф. сидит у окна. Снова золотой отсвет, или мне кажется, снова золотом прядь за прядью. Она не касается рукой. Не видит и не слышит. Они стоят втроем: Мапап, кружевная, Б.Г. Конечно, плакала. Глаза красные. Мнет рваный платок. Никакая не кружевная. Все кружева порвала зубами. Я вижу обрывки. Мапап обнимает меня, подталкивает едва заметно.

Ее английский очень быстрый, теперь она волнуется и почти глотает слова. Я понимаю, я привыкла понимать, когда быстро. Говорит, что полна восхищения, ничего подобного не ожидала, не ожидала, что в СССР такое возможно, пропаганда есть пропаганда, всегда врут. «С этой музыкой, как вам пришло в голову? Это соединить, как будто одно написано для другого». Она взмахивает маленькой коробочкой. «Я записала на пленку, теперь я всегда буду слушать, я хочу, чтобы они услышали все». — «Это не я», — как будто надо вырваться, она говорила про соединение музыки, обязательно вырваться. Я озираюсь, ищу Ф. Ее нет. Угол пуст.

Делегации стали являться чаще. Не проходило и недели, как Б.Г. вежливо стучался на урок и кивал нам троем от двери, оповещал о появлении очередной. Наша троица подымалась с мест, и учительница, вынужденно прервав урок, наблюдала, как мы, торопливо записав учебники, уходили за Б.Г. Перед вестью о делегации меркло все. Нас могли снять даже с контрольной. Compliments и подарки, выпадавшие на нашу долю, стали делом привычным и больше не ввергали в радо-



стный трепет. Подарками мы делились с одноклассниками — Федя с «верхними», я — со своими. наших возвращений ожидали, не вполне бескорыстно прощая наши прогульные привилегии.

По окончании концерта Ф. делала нам короткие и жесткие замечания. Быстро проговаривала строки, на которых каждый из нас недотянул. Ее замечания были ложкой дегтя в бочке нашей славы, однако это был особенный деготь, за ложку которого мы отдавали всю бочку. Вкус этого дегтя был сладостным вкусом наших репетиций. Иногда она уходила молча, не сказав нам ни слова. Это означало, что все нормально, мы исполнили как полагается и не о чем говорить. Иногда после очередного концерта лицо Ф. становилось особенно замкнутым, и она вызывала кого-то из нас, чтобы, поработав часа два, вернуть на прежний уровень, с которого мы сползли. «Это никого не касается, ни гостей, ни Маман, никого. Вы обязаны *выдавать уровень* — он должен быть неизменен». Бывало так, что после особенно бурных аплодисментов и богатого урожая комплиментов и подарков Ф. не оставляла камня на камне, с каким-то особенным удовольствием передразнивая наши жесты и интонации. Бывало и наоборот. Иностранцы уходили, вежливо и холодно благодаря, но Ф. вдруг признавалась, что сегодня она сама заслушалась, особенно вот эта фраза, и лицо ее сияло восхищенным удивлением. Она никогда не спрашивала о том, какие комплименты мы получили, и уж тем более никогда не заговаривала о подарках. Два раза я заговорила с нею сама. Первый раз после того, самого первого выступления. Я нашла ее в кабинете и, набравшись смелости, рассказала о кружевной. Она сказала, что видела, как та плакала. Потом я сказала, что кружевная говорила о сочетании музыки и сонетов, сказала, что это чудо, что она не ожидала увидеть такое в СССР. Ф. слушала совершенно бесстрастно, словно это никак ее не касалось. И только тогда, когда я произнесла — в СССР, ее

лицо вдруг стало таким же страшным, как в тот раз, когда я шла по проходу. Узкие крылья носа стали длинными, скулы заострились мгновенно, и так же мгновенно опустела полу-презрительная улыбка, с которой она выслушивала комплименты кружевной. «СССР. *Indeed\**. Крошка Цахес». СССР — Крошка Цахес. Я не поняла, но не посмела переспросить. Был еще один раз, когда я сама подошла к ней после выступления и сказала, что мне подарили губную помаду, а поскольку я, конечно... и протянула ей. Она взяла и кивнула благодарно.

### Английская школа — это я

Может быть, она никогда не задавала нам вопросов потому, что все, что могла спросить, уже спросила у наших предшественников из Первой английской школы, в которой работала больше десяти лет, с конца пятидесятых, до того, как перешла в нашу. Она любила рассказывать о том — первом — времени, но эти ее воспоминания были мало похожи на прямые примеры к случаю, а больше походили на мысленные возвращения в какой-то недоступный нам, золотой век. Призрак легенды о Первой английской витал над нами все доставшиеся нам семидесятые годы. В сравнении с тем веком наш был железным. В сравнении с ее прежними гостями наши районóвские и райкомовские гости, методисты и случайные иностранцы были дворниками. Это — ее слово, которым в разговорах с нами она награждала их всех без разбора. Впрочем, при случае могла наградить и любого из нас, если было за что.

В Первой английской школе — самой бластной по тем временам — учились дети некоторых товстоноговских акте-

---

\* Здесь: Воистину (*англ.*).

ров. В частности, кто-то из детей Смоктуновского, который как раз тогда снялся у Козинцева в Гамлете. Этот фильм был встречен плохо. Интеллигенция предпочитала сдобренные политическим мускусом ароматы Таганки. Для Ф. же растянутый свитер Владимира Высоцкого, его хриплый «современный» голос, *выкрикивавший* «быть или не быть», были оскорбительны. В этих криках она слышала диктат настоящего времени, которые (и диктат, и настоящее время) неизменно презирала. Ее манило что-то, остававшееся от времени прошедшего: след, который она могла опознать мгновенно. Точнее сказать, это был след не любого, а *подлинного* — то есть неизбывного — прошлого. Однажды, перед самым его отъездом в Москву, она столкнулась со Смоктуновским лицом к лицу. Она шла по школе, он — ей навстречу. Почти столкнулись в дверях. Он вежливо отступил, пропуская. Она вознамерилась пройти, но, посмотрев в его глаза, увидела в них то, что (так она объясняла нам через много лет) навсегда осталось в них от *его, единственно подлинного* Гамлета. Это, оставшееся *навсегда*, заставило ее отступить на шаг и пропустить его вперед. Жест, который в исполнении любого другого был бы не чем иным, как простым проявлением любви к прекрасному актеру.

С ее уходом великолепная Первая английская превратилась в самую заштатную школу, о которой в наши времена никто в городе и не слыхивал; ее любимые ученики-актеры, как она выражалась, постарели. В это слово она вкладывала куда более страшный смысл, чем физическое следствие движения времени. Время от времени она тревожила наши души рассказами о своих прежних учениках, которые в нагрузку к своему возрасту приобрели загадочную для нас способность делиться с Ф. подробностями своих, как правило, не вполне удавшихся семейных жизней. С каким царственным отвращением она цитировала нынешние — *дворнички* — фразы своих прежних девочек. Цитировала и слуша-

ла наш смех. Однако никогда не скрывала от нас того, что с нами будет то же самое, абсолютно то же самое, вы не заметите, как это с вами случится. Мы, конечно, и верили, как привыкли ей верить во всем, и не верили, потому что прежние ученики, наши предшественники, казались нам обыкновенными дураками, которым не хватило ума. «Английская школа — это то место, где нахожусь я». Она уже почти не вставала, по крайней мере, больше не могла выходить из дома. Я абсолютно точно воспроизвожу ее слова, однако, написанные на бумаге, они выглядят чуть-чуть искаженными, поскольку здесь отсутствует ее интонация. Ее подлинная интонация превратила эти слова в подобие других: «Английская школа — это я». Она произнесла эти слова много позже, через два десятка лет после окончания нашего с нею рабочего времени. И эта ее формула, которая стороннему наблюдателю могла бы показаться самоуверенной, оказалась абсолютно точной, причем эта точность вышла далеко за рамки буквального смысла.

Вряд ли она всерьез размышляла о том, что кардинальная смена аудитории ее постановок (товстоноговские актеры в Первой английской и районские иностранцы в нашей школе) означает некую новую приметку времени, осознав которую можно многое осмыслить. Она работала с нами, добиваясь того, чего лишь она одна могла добиться, и любила нас в созданных ею самой шекспировских образах, потому что прекрасно знала, что мы обречены. Такими прекрасными мы, обреченные больные, больные временем, уже не будем никогда. Старение, то есть то, что она подразумевала под этим словом, вносило особый, дополнительный смысл в ее любовь, никогда не безоглядную. Она несколько не обманывалась на наш счет и никогда не обманывала нас, однако упорно возвращалась к этой мысли. Со стороны могло показаться, что она заклиняет нас не стареть. А может быть, и заклинала, зная бесполезность за-

клятия. И все-таки продолжала «отапливать улицу». Последние — ее собственные слова.

Наши мелкие страсти — любовь к славе, гордость, самолюбие, от которых — по нежной немощи своей юности — мы не были вполне свободны, становились ядами, проникшими в нашу кровь, захваченную временем, его особыми смертоносными тельцами или бактериями. Да не она ли сама, своей рукой, дала нам попробовать этих ядов, протянув их на кончике кинжала или шпаги (если воспользоваться нашим шекспировским реквизитом)? Однако в те времена, когда Ф. стояла рядом, на страже, она умела жестко и безжалостно вводить нас в берега. Давала противоядие. Прирожденный восточный владыка, она отмеривала нужные порции ядов, чтобы потом, когда их некому будет дозировать, они не стали для нас нашей мгновенной смертью. Когда речь шла о нас, мгновенной смерти она предпочитала долгое старение. Выбирая препараты, она не очень-то церемонилась. Применяла сильные — последние — средства, как врач, знающий, что ее больные обречены. Барак, полный безнадежных. Горестный опыт подсказывал, что, строго говоря, не выздоровеет никто. Как не выздоравливали наши предшественники — мифологически прекрасные ученики Первой от Сотворения мира английской школы. И все-таки она продолжала свое дело с трагическим упорством, как будто носила в себе особую клятву Гиппократу. Отступить она могла только от мертвых. От тех, которые, закончив школу, уходили сами. В наши пятнадцать лет мы не могли по-настоящему разделить ее трагических предчувствий. Однако ощущение неотвратимости надвигающегося сопровождало нашу юность на протяжении последних лет нашей школьной жизни.

А может быть, время, с которым она враждовала, — это всего лишь буря, перевешивающая вывески? Может быть, дело всего лишь в том, что лукавый и слабый враг плутует,

сбивает меня с толку? Путает свои приметы, чтобы помешать мне свидетельствовать против него. Приставляет к моему виску оружие, висящее на стенах чужих комнат, стоящее в углах чужих кабинетов, замыкающее металлическими скобками чужие запястья. Что я могу засвидетельствовать в испуге? Ходики с кукушкой над обеденным столом, большие каминные часы, погибшие при бомбежке дома, в который мы еще не вселились, тяжелая серебряная луковича с репетицией, принадлежавшая моему прадеду, который уехал из страны лет за сорок до моего рождения и увез ее с собой, маленькие дамские часики на золотом браслете, смененные на козу в уральской эвакуации... Все они показывают разное время, давно прошедшее. Ни к одному из этих смертоносных орудий не прикасалась моя рука. Какое же право я имею поднимать ее, свидетельствуя?

Вывеска «Булочная» висела над булочной с изразцами. Мы пили кофе со сгущенкой, стоя за высокими, крытыми серовой пластмассой столами, и ели ромовые бабы по семнадцать копеек и бублики — по восемь. Однажды я была здесь с Ф. И все-таки я хороший свидетель, потому что главное — детали. А я помню и цены, и сбитый снег на тротуаре, и мокрые опилки на зашарканном широченной шваброй полу... Смотрите, вот я стою на площади у Дворца труда, над которым время уже перевесило свою вывеску — повесило что-то новое, неразличимое для моих плохих глаз. Мои глаза видят другое. Потому что не все слова одинаковы. Зажигаются и остаются только те, которые требуют труда и любви, и тогда некоторых из них минует судьба *воплощения* — их нельзя будет потрогать чужими руками. Для чужих они останутся бесплотными, но на самом деле станут *отражением*. В них останется все: ежедневная усталость, из которой они родились, когда день за днем, из репетиции в репетицию другие слова — предшественники нашего отражения — повторялись десятки раз ее и нашими губами; в них

останется миг, когда улица становится жаркой как летний полдень, и ей наконец все нравится, и мы сами становимся ее отражением — Ромео и Леди Макбет, Мальволио и каждый солдат из Генриха IV. В них останется и смертельная безнадежность, потому что мы состаримся, а отражение — это все-таки слово, которое с каждым годом все труднее записать пером...

### Крест-накрест, туда-сюда, взад-вперед...

Незадолго до Нового года, недели за две до каникул, Ф. оставила после уроков Усенкову и Перову. Они сидели на второй парте, сразу за нами. Ф. восхищается их красотой. Говорит, они похожи на героинь американского вестерна — блондинка и брюнетка. Вряд ли кто из нас, включая героинь, мог оценить комплимент. А еще Ф. говорит, что Усенкова похожа на Катрин Денев, только красивее. В общем она оставила обоих после уроков, а на следующий день кто-то из них разболтал: Ф. дала им сцену из «Двенадцатой ночи». Шнур загорелся, и весть, побывавшая быстрым огоньком, достигла ее ушей дня через два. Мгновенный взрыв: отстранение без объяснений. После урока Ф. оставила меня и Ленку Бланк, которая в тот день *случайно* оказалась за моей партией: Ирка болела. Нашей внешностью Ф. не восхищалась. Из ее рук мы получили листки, побывавшие в руках предшественниц, и предупреждение: после каникул быть готовыми к репетициям. О необходимости держать рты на замке Ф. не упомянула, резонно полагая, что после случившегося наши откроются только под пыткой. Я — Виола, Ленка — Мария, камеристка. Роль Мальволио Ф. отдала Косте. Сказала, что времени мало, День театра в марте, другие классы готовятся.

Репетиции «Двенадцатой» начались в середине января, после каникул, и с самого начала мы намертво сели на первых

фразах. Моя — первая. Я должна осведомиться благородным тоном. Ленкин книксен и ответ — лживой скороговоркой.

Сцена разворачивалась быстро: через две фразы, на которых мы застряли, Мальволио должен явиться с идиотской улыбкой, блистая широченными канареечно-желтыми подвязками — крест-накрест. Моя задача проста: благородная осанка, рассеянное любопытство и удивление с примесью негодования. Мария должна играть на два фронта: озабоченное сочувствие, когда хозяйка смотрит, и хихикающее наслаждение, когда мадам глядит в другую сторону. Главное — легкость и быстрота переходов. До легкости переходов не добраться. Мы ходим туда-сюда, как заведенные, крутим пленку из первых фраз: несчетное количество — вперед-назад. Каждый раз Ф. прерывает, показывает Ленке настоящую лживую скороговорку. Показывая, Ф. преобразается: я смотрю ей в лицо и удивляюсь легкости. Как будто что-то щелкает внутри, выбрасывая картинку: поддергивает веки, сводит уголки губ. Ленка слушает и кивает. Мы пятимся и выходим сызнова. На третьей репетиции терпение Ф. иссякло. Она решительно поменяла нас местами — совершила рокировку. Я рокировке не обрадовалась. Кому понравится мгновенное превращение из благородной дамы в смешливую камеристку. Однако теперь все, на удивление, двинулось. Я кланяюсь и хихикаю. Оно щелкает во мне с легкостью: сводит уголки губ, подмигивает.

Большую часть времени Ф. занимается с ними. Бессловесная Мария предоставлена самой себе. Пока они там болтают, я выбираю момент, чтобы нахихикаться всласть, но стоит Ленке взглянуть, прикрываю рот и замираю горестно. Мне кажется, Ф. почти не глядит в мою сторону, и я придумаю штучки, позволяющие, пользуясь бессловесностью, легко и быстро сновать туда-сюда. Нет, все-таки она смотрит: говорит, надо же, ты — прирожденная камеристка! Она говорит это с веселой, бесшабашной легкостью и смотрит на меня, но не с тем, привычным, сонетным напряжением: быстрым поворотом



в мою сторону она подхватывает мою короткую бессловесную выдумку, чтобы одним жестом усилить ее, придать дополнительный штришок, который я тут же перенимаю — прямо из ее рук. Нам с нею ничего не стоит, эта *мимолетняя работа*. Мы обе — и она, и я — имеем дело с чем-то простым и легким, что уже есть во мне. Оно воплощается, выходит на поверхность, стоит Ф. задать тон, усилить жест, поворот, взгляд. Мне не нравится роль Марии. После сонетных триумфов я достойна лучшего. Зрители будут смотреть на *них*.

В феврале, когда сцена почти готова, мы принимаемся за костюмы. Эскизы Ф. набросала сама. Костины родители проявили невиданное понимание — дали четыре рубля. В Гостином мы покупаем розового сатина, зеленой бязи на камзол и желтую атласную ленту на подвязки. Штаны шью я, камзол — его сестра. Дома в кладовке я обнаруживаю костюм Красной Шапочки: красный чепчик с отворотами — не то голландскими, не то монашескими — и красный же жилетик, выстроченный белой фигурной тесьмой. На юбку и рукава мне выдают старую простыню. Ф. сказала, что это хорошо. Ленкиной маме так нравится идея с простыней, что она выдает две — тонкие и прозрачные от старости. Мы красим их голубой краской для хлопка, но то ли мешаем не очень усердно, то ли краска старая: выкрасилось разводами. Ф. сказала, годится.

Костиным костюмом она восхитилась. Мне, автору розовых штанов, приятно. Все-таки мы с Ленкой перекинулись парой слов: если бы нам дали денег, а не простыни, мы бы еще посмотрели, у кого — лучше.

## Незамкнутый хоровод

По будням актовый зал — столовая. Для преобразования стаскивают скамейки и стулья из всех рекреаций, ставят столы один на другой. Стулья стоят и на галерее, с которой в будние

дни иностранным делегациям показывают кушающих советских детей. Дети сознательны и делают вид, что за ними не наблюдают. Делегации, надо и им отдать должное, проходят над нами, дисциплинированно умиляясь. Для них еды не полагается. В исключительных случаях Мапап угощает их коньячком у себя.

Возможность преобразования была заложена в проекте: по правой стене, отделяющей столовую от кухни, оборудована сцена, укрытая темно-красным бархатным занавесом. Бархат падает щедрыми складками — хватит на десять платьев Мапап. В праздничные дни занавес раскрывают, раздергивают за веревочки с двух сторон. Тут-то и обнаруживается скрытый изъян конструкции — сцена глушит голоса. А может, и не сцена, а бархатные складки, пропитанные тяжелыми кухонными запахами. Как бы то ни было, но с этой сцены ясно звучали только пионерские речевки, выкрикиваемые звонким хором, словно темно-бархатный занавес, лишенный почетной краснознаменной судьбы, вредничал, выказывая свои тайные предпочтения. Изъян Ф. обнаружила на первом же сценическом прогоне, который она устроила недели за две до Дня театра. Минут пять-десять послушав наше глухое бормотание — шекспировский текст бархату *не пришелся*, — она подняла руку, останавливая.

Слева от сцены располагался прилавок, за которым в будние дни стояла буфетчица тетя Галя. За ее могучей спиной скрывалась кухня. Справа у самой входной двери открывалась ниша, в глубине которой таился вход в мойку. В нишу сносили грязную посуду. По плану проектировщиков пицца должна была ходить вокруг сцены таким незамкнутым хороводом: из кухни через буфет и в наши голодные руки, которые относили недоеденные остатки в предмоечную нишу. За то, что хоровод никогда не замыкался, не поручусь. Решительно осмотревшись, Ф. отвергла и сцену, и занавес. Мы взяли за столы и освободили обширный кусок зала, ставший нашей сценой.

Прикинув, Ф. распорядилась: выходим через буфет из кухни и, отыграв, уходим в мойку. Тем же незамкнутым хороводом, каким ходит пища.

Понятно, что билетов никаких не было, однако были *особо* приглашенные, а следовательно, существовала и иерархия мест. Первая лавка отводилась для администрации и ее гостей, за ними — учителя, свободные от классного руководства. Средние ряды занимали ученики, последние — родители актеров. Родительствующие по совместительству, то есть высокопоставленные родители, чьи чада, к удовольствию и гордости Матап, учились в нашей школе, сидели с нею, в первом ряду. На галерее разместились учителя физкультуры и приближенные к ним школьные спортсмены — особая школьная гордость. В правой кулисе, у самого входа в мойку, сидели тетя Галя и обслуживающий столовую персонал. Сейчас, задним числом размышляя обо всей *нашей* истории, я не могу не признать, что в этом чудовищном скоплении народа — мальчишки висели гроздьями на высоких столовских подоконниках — крылась какая-то странность. Все сцены, за редчайшим исключением, о котором я расскажу в свой черед, шли на английском языке. Значительной же части аудитории, из года в год собиравшейся на наши Дни театра, этот язык был недоступен. Если можно так выразиться, в английском языке они были глухими. Однако большинство из них, из тех, кто не приглашался особо, и помыслить себе не могло не прийти. Попробовал бы кто-нибудь, к примеру, не допустить тетю Галю! Вообще говоря, именно тетю Галю можно назвать воплощенным образом этой глухонемой странности — причем не каким-то отвлеченным и пассивным, а самым что ни на есть активным. Из года в год каждый из нас, ухививших под гром аплодисментов в нишу для пищевых отходов, попадал в объятия тети Гали. Она плакала и целовала нас — всех, без разбора. Не понимая ни единого слова и не высказывая Фани тени почтительного восхищения, то есть не признавая

за нею никаких особенных заслуг, тетя Галя нашла для себя другой выход. Своей властью, абсолютной в границах столовой, она установила новый порядок: перед вечерней репетицией мы могли рассчитывать на бесплатные куски хлеба, которые всегда получали из тети-Галиных рук. То есть, лексически забегая вперед, она была нашим хлебным спонсором. Конечно, в ее табели о рангах мы, как, впрочем, и все остальные ученики, стояли на одну ступеньку ниже учителей — в отличие от них, нам не позволялось самостоятельно ходить на кухню за едой — и на две ступеньки ниже Мапап и завучей, которых она обслуживала лично, вынося им еду из-за стойки. Однако в какой-то иной системе отсчета — тут тетя Галя рассудила строже любого физика, мы были выше их всех, едва ли не выше самой тети Гали и работников кухни, не плативших за хлеб. В этой системе отсчета кухонные вообще не платили за столовскую еду, однако, по крайней мере, по их собственным представлениям, получали ее *не бесплатно*, а как *заработанный* тяжким трудом свой хлеб насущный. Мы же получали свой послеурочный хлеб *не за работу* — тетя Галя знать не знала о наших репетиционных трудах, — а исключительно по ее сердечному выбору, который основывался на, если можно так выразиться, какой-то нашей избранности, волшебности наших уст, повторяющих прекрасные и непонятные слова, которые она слышала всего лишь один раз в году, сидя в закуточке перед пустой, освобожденной от грязной посуды мойкой, волшебности слез, которые мы — единственный раз в ее трудном кухонном году — исторгали из ее обыкновенно сухих глаз. В общем, она относилась к нам как к птичкам Божьим, которые, если уж дошло до насущного хлеба, имеют полное право получать его бесплатно, не зная ни забот, ни труда.

Расположившись на кухне, мы коротко обсудили ситуацию. Подглядывать из-за буфета нельзя — из зала все видно. Пробраться за сцену. Из-за занавеса, отодвинув его на узкую

щелку, мы наблюдали внимательно. Первыми выскочили шестиклассники, питомцы Валерии Павловны. Том Сойер. Занавес, исполненный наших очей, не колыхнулся. Ф. сидела во втором ряду, крайнее место слева. Никогда, ни в тот раз, ни позже, она не оставалась за кулисами, предоставляя нас самим себе. Думаю, она догадывалась о нашей любопытствующей засаде. Однако по ее лицу, а наши глаза возвращались к ней с упорством маятников, понять было нельзя. Казалось, она смотрит чуть-чуть в сторону, но мы видели, что она прислушивается к адаптированному тексту, приспособленному к уровню шестиклассников. Пошел Теккерей: «Ярмарка тщеславия». За ним три ведьмы. Из нашей засады видны одни всклоченные парики. Аплодисменты, доставшиеся ведьмам, я слышала уже с кухни.

Объявляют Шекспировский театр. Я вижу, как мой отец поднимается с места, пробирается в самый конец, встает за спинами последних сидящих, как на фотографии. Старой санаторской фотографии из альбома, на которой он — молодой. Вспоминаю смутно, а потом больше ничего не вижу. Иду вперед, пересекая пустое пространство, останавливаюсь посередине. Стою, как слепоглая: не вижу и не слышу — чувствую Ф., сидящую с краю. Я не смею взглянуть. Она специально предупредила: никаких косых взглядов. В зале тихо. В тишине я читаю. Кланяюсь. Проходя, достаю из-под прилавка Федькин череп. Увидели. В зале за моей спиной — легкое хихиканье. «Великого актера» я не смотрю. На кухне у зеркала надеваю красный чепчик. Прислушиваюсь. Сначала тихо. Потом смешки. Потом хохот, со всех сторон, все сильнее. Я выглядываю из-за угла. Зал хохочет — куда иностранцам! Федька ползет по полу, дергает руками и ногами, Мишка летает на цыпочках. Я больше не вижу своего отца: санаторская фотография порвана — задние повскакали с мест, лезут на подоконники; трещат столы, сложенные баррикадой. Все хохочут как заведенные. Учителя, не понимаю-

щие ни слова, высокопоставленные родители, хохочущие, как простые смертные. Они поняли, зачем пришли. Старшеклассницы взвизгивают и закрываются рукавами. Краем глаза я вижу Федькиного отца.

Таких аплодисментов актовый зал еще не слышал. Они выходят на поклоны. Матап аплодирует, не жалея ладоней. Я уже знаю, какое у нее лицо. Щеки бледные, синеватые тени, желтые, плотно сжатые губы. Она смотрит в сторону, как будто ее самой нет в этом хохочущем зале, в зале, который она сама вздернула на дыбу — хохотать. Мне никак не додумать, у меня нет времени, Ленка за два шага передо мной в своем платье с голубоватыми разводами. Вижу одни разводы, голубоватые разводы на грязном, не отмытом мною полу. Иду за голубым в своем бело-красном. Зала не видно. Марево. Я хихикаю и приседаю. Они уже смеются, смеются, хохочут. Я слушаю зал, прикрываюсь рукавом, мне легко хихикать, потому что я — вместе со всеми, я — они. Я скрываюсь среди них, мое хихиканье плавает в их оголтелом хохоте...

Ленка с Костей кланяются. Я сбоку, делаю книксен. Прямо перед Матап. Сергей Иванович улыбается, откидывает со лба челку. Мы уходим в мойку. Тетя Галя встречает. У кухонных распаренные лица, хохотали до слез. Мимо раковин идем на кухню — замыкаем круг. Ф. уже там. Прошла по стеночке, пока мы кланялись. «Сядьте. Всё потом». Дожидаемся, пока все разойдутся. Теперь мы отправляемся в голубоватый кабинет. Войдя, я смотрю на пол: чистый, никаких разводов. Сказала, что все неплохо. «Мария — лучше всех. Ты слышишь, твоя Мария лучше всех. Тебе понятно, что этого никто не заметил? Никогда не заметят», — она повторяет. Мне понятно.

Дома я спросила отца. Ему понравилось, особенно Федя. «А я?» Я задала вопрос, который больше не задам никому и никогда. «Конечно, но Федя, все-таки...» Мой отец — за

справедливость. «Раньше это называлось мелодекламацией. Стихи под музыку. Очень красиво. Так часто выступали, особенно в кино, перед сеансами. Мы с мамой ходили». Я понимаю: тогда он был молодым, таким, как на той, санаторской фотографии, стоял в заднем ряду... Теперь она порвана. В понедельник Федя подошел ко мне и сказал, что я очень понравилась его отцу. Его отец режиссер, сейчас ставит спектакль, но не в Ленинграде, а в Архангельске. Сказал, поставлено профессионально. Он, конечно, не ожидал, но заслуга, в общем-то, не наша. «Это все учительница. *Вашего* здесь нет. Особенно хвалить не буду, а то станете как Крошки Цахес». — «Кто?» — я спросила с разгона и сразу же пожалела. Я не спрашивала ее, *когда* — про кружевную. Сейчас он скорчит презрительную рожу. «Крошки Цахес... Я еще не читал, отец сказал, это сказка, в которой хвалят не того, кто заслужил. Он сказал, страшная сказка». — «А ты-то ему понравился?» Федька кивает и дергает плечом. «А моим ты понравился, особенно отцу». — «Да?» — он улыбается довольным.

Я не пошла в Публичку за этой сказкой. Сначала подумала, что надо пойти, а потом не пошла. Его отец сказал, страшная. Я не захотела. Не захотела — и все.

Фея фон Розеншен, или Розенгрюншен, отнюдь не высокая женщина с очень короткой стрижкой, лицо которой ни один человек на земле не признал бы безупречно красивым. Ее лицо, когда она по своему обыкновению неподвижно и строго смотрела куда-то в сторону, прислушиваясь к нашим произносимым со сцены словам, производило странное, подчас жутковатое впечатление. Бледные щеки, синеватые тени, желтые, плотно сжатые губы. Стоя на сцене, я никогда, за все мои долгие годы, не посмела взглянуть в ее сторону, но я всегда знала об этой, другой ее стороне, в которую, слушая нас, она смотрела остановившимся, грозным взглядом, различая за словами, которые сама вложила в наши уста, что-то жутковатое, один взгляд на которое белит щеки, сводит

губы и заставляет синеть голубоватые тени. Она никогда не называла нас крошками. Маленькая фея с короткой стрижкой, отливавшей рыжеватым, или пусть уж будет — золотистым, изо дня в день причесывала наши волосы, делая их волнистыми кудрями. Она кормила нас своей пищей, как птица — из клюва в клюв: из горла, из своих рук. Она любила нас и любовалась нами, однако в этой любви было больше обреченности, чем надежды, потому что она знала о своих крошках куда больше, чем знали о своих ее любимцы эпохи Просвещения. Действительность, выпавшая на ее долю — обманчиво пухлый блокадный голод, жалкое отпадение ее прежних учеников, которое она, по своей фрейлинской гордости, никогда не назвала изменой, но относилась-то как к измене, наша отвратительная история, до которой рано или поздно я дойду, — эта действительность не могла не научить ее тому, что есть на свете силы сильнее просвещения. Иначе зачем бы ей бледнеть, глядя на беснующийся в хохоте зал? Что разглядела она в этом дружном хохоте, если за все последующие годы единственный раз вернулась к шекспировской комедии, но поставила ее так, что никому в зале и в голову не пришло хохотать? Хихикали, смеялись, веселились. Все что угодно, кроме *того* хохота. Теперь я уже никогда не сумею узнать наверное, узнать из ее уст, понимала ли она, бледнея от чужого хохота, к чему клонится дело, понимала ли, что из этого прорастет. Неужели она *всегда* знала, *что* прорастает из такого хохота? Если знала, то почему допустила?

Злобная карлица, так назвал ее один из развенчанных крошек, через двадцать пять лет своей деятельной жизни, через три года после ее смерти. Пища ходит своим путем — незамкнутым хороводом крошек Цахес, взявшихся за руки: из кухни, через буфет, в голодные руки, которые сами относят в мойки отвратительные, недоеденные остатки. Этот хоровод замкнуть нельзя.



## Уезжала и возвращалась

После Дня театра наше положение изменилось. Репетиции стали уважительной причиной, которую признавали все учителя без исключения. Перед уроком можно было подойти хоть к химичке, хоть к литераторше и, сделав серьезно-покаянное лицо, сказать, что вчера, к сожалению, потому что репетиция... Учительница кивала, принимая отказ. Хитрости хватало на то, чтобы не злоупотреблять. Никто из учителей *никогда* не сообщил Ф. об этом, не пожаловался на нас, хотя, говоря по чести, тут они были вполне в своем праве. То ли они побаивались ее, то ли действительно считали, что мы имеем право. Она-то, во всяком случае, так не считала. Да нам бы и в голову не пришло. Домашнее чтение, лекции по английской и американской литературе, подготовка к диктантам — все выполнялось неукоснительно. Был, правда, единственный случай, уже в девятом, когда химичка, отчаявшись самостоятельно ввести нас с Ирккой в берега, подошла к Ф. и пожаловалась, что мы болтаем на уроках. Мало того, она, видимо, полагаясь на учительскую солидарность, попросила Ф. временно отстранить нас от репетиций, до тех пор, пока... С химичкиной стороны это было безумием. Ограничиться она простой жалобой, и Ф. стерла бы нас с Ирккой с лица земли, но эта фраза, дай Бог Варваре Гавриловне здоровья, оказалась для нас спасительной. Нам Ф. не сказала ни слова, самой же Варваре Гавриловне предложила помощь. Сказала, что готова *на время* поменяться с нею местами и следить за дисциплиной на ее уроках, если Варвара Гавриловна со своей стороны любезно возьмет на себя ее обязанности. «Будьте уверены, если я приду на ваш урок, там станет тихо как в могиле и будет тихо — ровно столько времени, сколько я буду над этой могилой стоять». Чуть позже Ф. обыграла эту историю в капустнике, конечно, никого не называя по именам. Это был тот самый знаменитый капустник, который она од-

нажды устроила для учителей. Никого из учеников не допустили. Некоторые подробности просочились через Светку, географичкину дочку. Ф. и Б.Г. играли разные сценки из школьной жизни, играли на русском, а учителя хохотали как бешеные. Она заставила их хохотать по-русски, кинула им их русский хохот, как кость.

Она любила слова. Иначе как бы она сумела выучить столько языков кроме родного: русский, английский, немецкий, итальянский, испанский, арабский, на котором говорила в детстве. Она выучила его, когда в конце войны мать отправила ее в эвакуацию в село под Казанью, откуда была родом. В материнском селе в свои четырнадцать лет она была верующей, молилась, повторяла суры за бабушкой. Бабушка была старенькая и почти слепая. С другими девочками Ф. собирала кизяк в степи и топила печку. Козьи шарики, иссохшие на степном солнце, не имели запаха. Она подкладывала сухой шарик бабушке и говорила: это — сухая вишенка. Бабушка брала на зубок, догадывалась, смеялась, грозилась пальцем. Бог арабских сур вскорости исчез. От Него остались выстиранные добела шаровары, стянутые вокруг щиколоток; кувшины с водой для обмывания — несколько раз в день: высокие, с одной ручкой, выгибавшие длинные стыдливые шеи, когда их несли по двору. Идя с *таким* кувшином, стыдно повстречаться с женщиной или парнем. Кувшины, шаровары, выскобленные деревянные полы, запах степи — степных сухих трав. Тоскуя перед смертью, она рассказывала о степных запахах. Солнцем и степью пахли ее духи.

Она любила слова. Грамматику — меньше. Ценила, как что-то само собой разумеющееся. Я не помню ни одного случая, чтобы она задала выучить наизусть какое-нибудь грамматическое правило, даже из тех, что входили в программу. Конечно, первое время она не могла не обсуждать с нами наши многочисленные грамматические ошибки. Я говорю, не могла не обсуждать, потому что сама, как ни странно, этих

обсуждений не помню. Помню только то, *как* она исправляла ошибки: коротким, быстрым, яростным взглядом. Глядя пустыми глазами куда-то в дальний верхний угол, она выслушивала наши бесконечные пересказы и прошивала их яростными взглядами, как иглами. Сначала частые, мучительные уколы ярости, потом все реже и реже, почти не опуская глаз. Года через два непрерывных тренировок мы с Иркочкой научились вылавливать и прошивать — безошибочно. Однажды она заметила. Теперь, пригвоздив ошибку, Ф. бросала быстрый взгляд и на нас. Потом так и стало: ошибка и — три скрещенных взгляда, ее и наши. Листами и листами домашнего чтения мы пересказывали Сэлинджера и Хемингуэя, но как-то незаметно наловчились нести отсебятину, конечно, не в пересказе, а по какому-нибудь более или менее произвольному поводу. В своем присутствии она позволяла такие упражнения редко — в особых случаях. Эти случаи наступали тогда, когда на урок приходила очередная группа методистов или учителей, являвшихся перенимать ее опыт. Тогда-то, при полнейшем ее попустительстве, мы и устраивали аттракцион без тени улыбки.

Вижу как сейчас: группа тетенок важно входит в класс, тогда уже лингафонный. Мы сидим по одному за оборудованными столами: кнопка включения-выключения, наушники, микрофон. На ее столе — пульт управления. Гости подсаживаются по одному к каждому из нас. Мы надеваем наушники, подносим микрофоны ко рту. Учительницы склоняются над блокнотами, перенимают ход урока. Мы пересказываем очередные три листа из «Тропюю грома». Трагическая история любви Сары и Ленни — черного юноши и белой девушки. Отговорили. Отключились. Короткий комментарий. Ф. выставляет оценки. Никаких разборов ошибок. Проехали. «А сейчас у нас будет небольшая дискуссия по одному очень интересному вопросу», — она начинает на медленном английском, тихим и четким голосом — для гостей. «Тема дискуссии, — яс-

ность произношения граничит с нежностью, — почему Фаита каждый год уезжала в Кейптаун из своего родного села, но каждый год возвращалась?» Они аккуратно записывают тему в блокноты. Похоже, «Тропою грома» они не читали. Фаита — местная проститутка. Широкие бедра, толстые ляжки, куча детей от разных портовых мужиков. Каждую весну Фаита уезжает в Кейптаун, но каждую осень возвращается в село с очередным младенцем во чреве. К весне, освободившись от бремени, она начинает тосковать. Нам предлагается обсудить почему. Варианты не заставляют ждать: уезжала в поисках любви, хотела иметь много детей, отправлялась на заработки, жаждала городских развлечений. В общем, тема неисчерпаемая. Учительницы по-настоящему ошарашены. Все-таки даже не институт — восьмой класс. Каждую очередную версию Ф. выслушивает серьезно, без улыбки. Мы рвемся в бой, руки взлетают одна за другой. Учительницы слушают с возрастающим личным интересом. Мы обсуждаем проблему, забирая все шире и шире. Ф. слушает уважительно. Только нам видно, какой смех зреет под ее серьезностью. Тема забирает тетенок, разворачивается как в кино. Им уже не хватает словарного запаса, чтобы следить за нашими гипотезами буквально, слово в слово. Нас несет все дальше и быстрее. Ф. слушает внимательно, чуть склоняя голову к плечу, но я уже вижу то, что не видят увлеченные методистки, — ее тоску. «Что он сейчас сказал?» — быстрый, горячий шепот над моим ухом. *Моя тетенька дергает меня за рукав, просит перевести. Я тяну руку, мне некогда, у меня уже созрела своя мысль — об одиночестве. «Что она сказала?» Моя зудит как осенняя муха. Быстро и коротко перевожу общий смысл, чтобы не отвлекаться. «Нет, это я поняла, пожалуйста, подробнее». Господи, мне же не разорваться, в конце концов, кто из нас училка? Вздохнув, начинаю переводить синхронно. Кивает, кивает. Тяну руку — моя очередь. Вскликаю. Об одиночестве. В глазах Ф. пустая дымка. «Ты что сейчас сказала?» —*

моя. Перевожу свое. Теперь, оглядевшись, вижу: наши бубнят над их ушами. За этим процессом Ф. следит с возрастающим интересом. Наши увлеклись: туда — сюда. Звонок. Тетеньки поднимаются неохотно. Прячут пустые блокноты. Они бы еще послушали. Выходят гуськом, раскрасневшиеся, как из кинозала. Б.Г. выходит последним. Весь урок он тихо просидел на задней парте. В дверях оборачивается, подмигивает залихватски. Тихо, чтобы не слышно в коридоре, нам всем: «Мо-лод-цы!»

«В общем, все неплохо, Костя — три грамматические, Федя — темп, синхронный перевод — хорошо». — «А правда, — Федя приподнимается с места, — как вы думаете, почему она возвращалась?» — «Разве это имеет значение? А вообще, в Первой школе такие штуки проделывали лучше, — она причмокивает губами, как будто вспоминает о вкусном. — Больше эрудиции. Параллельные примеры из литературы. Начинали за здравие, кончали, черт знает...» Она фыркает от смеха и машет рукой. Нам немного стыдно. Кажется, мы увлеклись, как тетки.

### «Рожденные в года глухие...»

В начале мая, перед годовыми контрольными, она дала мне листок с новым циклом — на этот раз под музыку Массне. Сказала выучить. Сама же она в это время начала репетиции танца. Конечно, никто, кроме самих участников, об этом не знал, как всегда. Я узнала случайно: попала на их репетицию. Дело было так. На последнем уроке Ф. вызвала меня в коридор — приоткрыла дверь, извинилась, нашла меня глазами. Я поднялась и вышла. Она сказала, что завтра в девять утра англичане. Предупреди всех и сегодня выгладит костюмы. Костюмы хранятся в ее кабинете в шкафу. После выступления запихивают как попало. Развешивать негде, до-

мой уносить неудобно: делегации сваливаются неожиданно. Гладить костюмы — моя обязанность. Обычно я глажу перед самым выступлением, стою в ее кабинете за задней партой и машу утюгом. Другие ее группы привыкли, не обращают внимания: гладишь и гладь. То есть, конечно, обращают, но делают вид. А может, они просто радуются: подумаешь, актриса, вот ведь и гладит... Ф. стоит перед ними, как перед нами. Но все-таки — я думаю об этом неотрывно — она выбрала нас. С ними и ведет себя по-другому. С ними она добрее. С нами суровее и скорее — и на презрение, и на похвалу. На них она смотрит ласковыми глазами учительницы, как на группу Б.Г.

После уроков я пришла в ее кабинет — уже не голубой. Ей дали кабинет на одном этаже с Матап и Б.Г. Девочки заходят чуть позже, минут через десять. Перед репетицией она разрешает зайти в столовую. Сама не ходит. Я вообще не знаю, когда она успевает поесть. Пришли и встали парами. Она подходит к проигрывателю, включает музыку. Раньше я этого инструмента не слышала. Как будто пианино, но резче. Звуки тягучие, вьются, завиваются как кружева, будто кто-то плетет, вытягивает из пальцев. Две пары — девочка с девочкой. Шаг осторожный, тихий, вытягивают носок, не по-балетному. Сошлись, разошлись, руки — ветвями, коснулись ладонями коротко, горячо. Хлопок беззвучный, левая к левой — накрест. «Голова — назад, взгляд — неотрывно...» Они выполняют, смотрят глаза в глаза, снова и снова, по многу раз, как сонеты. Игла терзает звук, тянет, выплетает кружева. Про меня забыли. Счастье. Глажу медленно, выводя каждый шов. Тяну утюгом кружевные звуки. Она останавливает музыку. «У дам лбы должны быть высокими, как будто подбриты. Зачешем. Кавалерам волосы подвяжем. Глаз не отводить». Теперь я начинаю понимать. Дамы — Наталья и Лариска, кавалеры — Маринка и Вера. Медленно, медленно, как будто у меня руки-крюки, развешиваю костюмы на плечики. Голубое, попугайский, красно-белое.

Они сидят за партами, разговаривают о костюмах. Она говорит, сиреневатые. Острые узкие вырезы стянуты кружевами. Рукава двойные. Нижний — узкий, верхний — широкий с разрезом выше локтя. Она показывает им в книге. Поднялись. Ф. смотрит в мой угол коротким, нетерпеливым взглядом. Домыла, дотерла, догладила? На этой репетиции — я никто. Я заталкиваю утюг, тащу за собой портфель, ухожу. Я иду по коридору, за спиной, за ее дверью *эта* музыка. Там, за моей спиной они снова встают парами. Там — главное место на земле, но меня там нет. Нет там, значит, меня не должно быть. Я хочу лечь в угол, уткнуться в слепую стену. Если не там — значит, нигде.

В восьмом классе наши поэтические пятиминутки возобновились. Анастасия не очень-то хотела, но мы настояли. Наверное, и сама не рада, что когда-то придумала. Теперь с нами не очень-то и поспоришь. Мандельштам, Гумилев, Петрарка. Мы обсуждаем с Ф. Она подсказывает. Однажды Федя назвал Евтушенко. Ф. сказала, что Евтушенко хорошо читает. Анастасия предупредила: на следующий урок придет корреспондент из «Пионерской правды». У нас — Гумилев. «Может быть, заменим? — Анастасия спрашивает умильно, надеется на нашу сговорчивость, хотя бы на Евтушенко. — Вы ведь любите. Время еще есть». Мы протестуем шумно. Через неделю Ольга Ткачева приносит «Пионерскую правду». Она — председатель совета дружины. Им положено выписывать. Целая статья про нас. Читаем вслух. Гумилева как ни бывало. Просто дети читали стихи. Оказывается, после урока корреспондентка разговорилась с нами. Корреспондент: «Любите ли вы стихи?» Федя Александров: «Конечно. Как же можно не любить такие проникновенные строки: “Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы — как истории планет...”». У Феды совершенно обалдевшая рожка: «Она что, дура или глухая? Я же ничего такого... Она и не спрашивала. Я бы...» Хохот. «То-то я всегда думаю, — кричит Федя, — почему это те, про

кого в газете, такие идиоты?» — «Ага, идиоты, на себя посмотри, “проникновенные строки”!» — Славка орет еще громче. «Прекратите орать, я не глухая! И что здесь такого? — это уже Анастасия. — Что такого, Федя, глупого про тебя? Ты же любишь Евтушенко. Почему ты привязываешься к словам? Проникновенные. Они действительно проникновенные». Уже не шум, не хохот. Шипим как змеи. Усенкова встает, дергает передник: «Ну, и пусть хорошие. Но мы так не говорили. И никогда не будем. Вы защищаете, как будто это вы сами писали». Вот теперь наконец-то тихо. Ольга откладывает газету. Больше не смеемся, не орем, не шипим. Анастасия сидит как красная надутая жаба. Заметку мы отнесли Ф. Думали, она возмутится. Пожала плечами брезгливо. Поэтические пятиминутки кончились. Анастасия не заикалась, мы не заговаривали. Через месяц Сергей Иванович, завуч русского языка, взял нас себе.

Сергей Иванович — человек особый. Невысокий блондин, всегда в одном и том же. Брюки уже блестят. Любит выказать суровость. Суровости надолго не хватает — *страшно* добрый. Сергею Ивановичу трудно. Завуч русского языка в английской школе — довольно сомнительная должность. Второй помощник Мапап после Б.Г. На нем расписание, которое надо утрясать, учителя-предметники, все, кроме англичан. Он ходит по школе и улыбается. Отношения с Б.Г. у них ровные, орбиты не пересекаются. Никто никогда не видит их вместе, кроме тех случаев, когда они оба эскортируют Мапап. На уроках русского С.И. любит устраивать словарные диктанты. Диктует быстро и сердито: как бы то ни было, неоткуда и не от кого ждать помощи, электрификация, участвовать, расчетливый... Никогда не повторяет. Не успел, не расслышал — сам виноват. Сергей Иванович любит тех писателей, которые в программе. Знает тьму цитат. Учит отвечать, как надо. *Для поступления*. «Вот вы думаете, они там сидят за Невой, ждут вас и руками плещут?» — эпический зачин про университет.



Учит, как должно отвечать: «Бросаете тезис и дальше идете по тексту». Сашка Гучков у доски: «Сергей Иванович, а что дальше?» С.И. сидит, уютно устроившись за первой партой, как всегда на опросе. «Я же сказал, Гучков, что здесь непонятного? Бросай тезис!» — «Да мне никак не бросить», — стонет Гучков. В наших рядах медленно вскипает хохот. «Что значит не бросить? — С.И. возмущенно поворачивается лицом к классу. — Бросаешь так: “Под статью Дикому и Кабаниха”», — широкий взмах руки и челки. С.И. никогда не выводит четвертную механически, по совокупности полученных. Кто какую четвертную заслуживает, С.И. знает сам. Незадолго до конца он принимается за подготовку. По очереди подзывает тех, чьи текущие оценки не дотягивают. Предупреждает: «Учти, завтра спрашиваю. Неожиданно. У меня идешь на четверку. Спрошу Блока: “О доблестях, о подвигах, о славе...”» — «Сергей Иванович, — канючит предупреждаемый, — ну почему — *это*? Я не люблю это стихотворение». — «Почему не любишь?! Прекрасное стихотворение. Жемчужина русской лирики», — С.И. хмурится, расстраивается по-настоящему. «Я хочу “Рожденные в года глухие...”», — упрямится предупреждаемый. «Хорошо, — С.И. соглашается сразу, — это тоже жемчужина русской лирики. Учти, — разговор начинается заново, как ни в чем не бывало. — Завтра спрашиваю неожиданно. “Рожденные в года глухие...”».

К нам едет американец. Не с делегацией, один, собственной персоной. В Америке он учитель русского языка. Ф. предупредила нас заранее. Он будет вести английский в нашей группе. Целую четверть. «А вы?» — тихий и скорбный стон из рядов. «Я буду присутствовать. Вашу группу выбрал Б.Г. За особые заслуги», — Ф. улыбается тонко. Длинный, как жердина. Седой. Волосы до плеч волнистые. Усаживается за учительский стол. Выкладывает магнитофон, представляется. По-русски. «Меня зовут Хенри Крохман. А вас?» По очереди встаем и представляемся чинно. «Вы можете называть меня

дядюшка Хенри. Так меня зовут мои ученики». Ленка говорит: у нас так не принято. У нас принято с отчеством. Это просто, предлагает Ирка. Как зовут вашего отца? Значит, мы орем хором, Генри Карлович. Он в восторге. Говорит, что расскажет своим ученикам. В России у него было отчество.

Русский у него странный. Похожий на ноги-ходули. «Может быть, у вас ко мне вопросы?» Косимся на Ф. Она молчит доброжелательно. «Генри Карлович, — Федя выводит особенно тщательно, — что ваши ученики любят читать по-русски? Какие литературные произведения?» Генри вслушивается. «Они не очень хорошо. Это — мало уроков. Может быть, в университет, в университете. Они читают диалоги. Dialogues. — Он переходит на английский, должно быть, от смущения. — Например, у меня есть запись. Я могу вам включить». Шуршание. «Ваня, — ломкий девичий голос, — где твои вальенки?» Долгое молчание. «Они на печке», — это уже Ваня, нараспев. Кладбищенское, заупокойное молчание. «А что вы любите читать по-английски?» Мы отвечаем. Список растет, список литературы повергает его в транс. «Чему же я вас буду учить?!» Похоже, с его русским покончено. «Да не надо учить, — мы приходим на помощь, — просто можем разговаривать. Или вы будете проверять, как мы пересказываем». — «Вы позволите, — Ф. встает и подходит к столу. — У меня есть акварели художника Садовникова, — она выговаривает трудную фамилия по слогам. — Если вы не возражаете, я раздам ребятам, они расскажут вам о памятниках архитектуры Ленинграда». Генри в восторге. Мы — в легком унынии: без подготовки. Ф. раздает акварели. Ух! На обороте кое-что есть: дата постройки, архитектор. Генри слушает. Видимо, вспоминает Ваню в вальенках. «Вы позволите, — это он к Ф., — я всем детям поставлю пятерки?» — «О, пожалуйста», — Ф. — само гостеприимство. «Скажите, — дядюшка Генри не может удержаться, — дети, конечно, подготовили эти рассказы заранее?» — «Боюсь, — отвечает Ф., — что де-

ти и видят-то эти акварели впервые в жизни. С ними вообще очень приятно работать. Что ни возьми, видят в первый раз». Она говорит по-русски, только для нас, Генри не замечает ехидства. Он не ожидал ничего подобного. Он думал, как в Америке... В конце урока заглядывает Б.Г. Просит прощения, интересуется, как прошел урок. «Эти дети, это — такие дети!» Б.Г. улыбается скромно. Оба удаляются. «Что это он — с валенками», — нам хочется сейчас же обсудить. «Ну не все же такие знатоки Шекспира, как вы, — отрезает Ф. — Некоторые вообще Шекспира не читают. Вы тоже не будете читать, когда вырастете». Ф. собирает акварели. В других группах наш красочный рассказ о валенках имеет шумный успех. Дядюшка Генри прямо сражает всех наповал этими валенками. «А вообще у него и английский какой-то странный, как-то, не знаю — горлом», — говорит Федыка. «Чего странного? Он сам-то кто? Немец», — Мишка говорит авторитетно. «Ну почему сразу немец?» — вступается кто-то. «А кто? Китаец? Крохман. И папаша — Карл... у Клары...» — «Интересно, где это он русский выучил? — хихикает Славка. — Небось, в плену сидел, под Сталинградом». — «Ну, — кивает Федыка, — там, небось, ему валенки и запали: мечта военной молодости».

День за днем Генри Карлович сидит перед нами. Мы уж привыкли. Он тоже. Впору переходить на дядюшку. Все уроки он записывает на магнитофон — подряд. «Приеду в Америку, буду включать. А то они не поверят». Мы пересказываем, задаем вопросы, составляем диалоги. Больше никаких показательных выступлений — вошло в колею. Иногда Генри просит нас почитать ему что-нибудь по-русски. Для этого у него заведена специальная кассета. Больше всего он любит Блока. Говорит, будет включать на уроках. Пусть мои ученики слушают прекрасный русский язык. Они, конечно, не поймут, очень мало часов... Он не улыбается. Нам жалко Генри. Что это за жизнь, из года в год дундеть про свои сталинградские валенки.

## Сцена обольщения

Она сказала: сцена обольщения. Мы уже выучили роли: Костя — граф Глостер, я — леди Анна. Сегодня первая репетиция. Ф. рассказывает, что с нами было и что будет. Было убийство моего мужа, принца Эдварда. Будет моя свадьба. Граф Глостер, она называет его Ричардом, рвется к власти. Убийца. Путь — через меня. Я — вдова, иду за гробом. Я ненавижу его, ненавижу убийцу мужа. Она говорит, очень опасное чувство, ты должна полюбить его. Так, чтобы все поверили. Глостер — урод, горбун, сухая рука. Я понимаю по-своему: уродство, горб, сухорукость должны стать неразличимыми для моих плохих глаз. Я слышу по-своему: тебе, девочке с плохими глазами, остается голос — вдвойне сладостный голос урда, тебе достается речь — свободная и прекрасная речь горбуна, тебе достается ум — изощренный ум природного сухорукца. Она не просит забыть его зло, она рассказывает мне о его смерти: *«A horse, a horse! A kingdom for a horse!»*\* Полцарства — это в *русских* сказках. В английских хрониках — целое. Она встает и играет сама, играет сцену его смерти. Для меня, чтобы мне знать, за что *полюбить*. Вот я стою и смотрю. Я вижу вырастающий горб на ее маленьком, птичьим тельце, судорога, имени которой я не знаю, сводит ее руку в дугу. Рука вздергивается, высыхая. Ее голосом, гулким, как пустой горб, он орет, раздирая ее рот. Горб — цель, горб — щель для стрел, сладко целить стрелу в ненавистный горб. Нету слаще преданности злодея, когда злодей предан — тебе. Против всего мира. Значит, мир — я. Теперь я знаю, за что стоит любить. Ужас — моя последняя невинность. Уроду в глаза я выкрикну эту ненависть, прямо в его насмешливые почтительные глаза. Любовь в черном теле, в черной перчатке, сжимающей руку в кулак. Мои руки — в его руках, в паль-

---

\* «Коня, коня! Королевство за коня!» (*англ.*)

цах убийцы, берущих бутон. «Ты понимаешь, что это значит, когда ты плюешь мужчине в лицо?» Она разговаривает с нами строго и серьезно.

Ей трудно с Костей. Трудно научить его играть злодея. У него мягкие, добрые глаза. На меня он смотрит нежно. Добрый мальчик и спортсмен, он должен сыграть хромоногого дьявола. Такая задача под силу только ей. Когда мы идем домой, он провожает меня и несет мой портфель. Ей трудно, а мне легко. Мне легко плевать, любить и ненавидеть, глядя в его доверчивые, чистые глаза. Это хорошо, что она выбрала его для меня. Будь на его месте Федя, мне было бы стыдно. В воскресенье к десяти мы едем к Ф. домой, потому что у нас мало времени до марта, когда мы покажем Ричарда. Заснеженное поле, высокие редкие дома. Надо идти по цементной дорожке. Последний этаж. Мы рано. Без двенадцати. Стоим у окна. У Кости теплые руки. Мои холодные как лед. У него всегда теплые руки, у меня — холодные.

Она открывает. Заходим робко. Ее духи. Как она улыбается! Нежно, по-домашнему. Снимаем обувь. Садимся пить чай с мороза. Печенье, орехи, изюм, курага — угощение светится. Холодно? Жаль, у меня вчера был коньяк, я налила бы тебе чайную ложечку — в чай. Но приходил мой ученик, из Первой школы. Мы с ним выпили. Кстати, она смотрит на меня внимательно, он играл Ричарда. Теперь — химик, заканчивает Техноложку. Она рассказывает о той, прошлой постановке. Все время о Ричарде, об Анне ни слова, как будто умерла. Я ни о чем не думаю. Просто сижу и пью чай. Она разговаривает с Костей, посмеивается надо мной... Нет, я все-таки думаю о том, что приходил ее Ричард, ученик из Первой школы. Она угощала его коньяком, значит, он все-таки не состарился. Может быть, и мы тоже... может быть...

Я кричу и бросаюсь, кричу и бросаюсь, кричу и бросаюсь. Она морщится: «Так бросаются драные кошки. Ты... — вынима ет шпагу из моих рук. — Вот, смотри». Господи! Как она

кричит! Глостер поднимается. Теперь его очередь. Приставляет острiem, туда где должна быть моя рука. «Прикажи, и я убью себя», — с насмешкой, приправленной страстью. Слово за жизнь. Я знаю, это мой последний шанс. Я не вижу ее, но она есть, она стоит рядом, нашептывает, как будто издали. Самый последний. Со злом — только однажды, в первый раз, когда оно дает шанс.

## История болезни

Федя сказал, есть много превосходных современных авторов. Ими написано десятки шедевров. Она сказала, что за все предшествующие века шедевров написано именно десятки. С чего это вдруг при нашей с вами жизни такой небывалый взлет? Он говорит: могу доказать, принести. Например, Василий Аксенов. «Ну что ж, принеси, я прочитаю». — «Ну, — Федя мнетя, — вы же *заранее* считаете, что это — плохо». — «Неужто ты и вправду думаешь, что я способна отвергнуть шедевр только ради того, чтобы выиграть спор с тобой?» — «О, — Федя загорается, теперь он уверен, она будет читать честно, — я привезу вам много прекрасных книг». — «Много — это сколько? Пять, десять, тележку, вагон?» Он прикидывает: тележку. Мы слушаем внимательно и не смеемся. Перечисляет: Белов, Вознесенский, Солженицын... «И ты думаешь, их всех, — она опирается о стол кончиками пальцев, — будут читать через сто, двести, тысячу?..» — «Несомненно. Они показывают наше время». — «Если в тележке они, не трудись, *их* я уже знаю». — «Они показывают современные проблемы, то, что волнует людей XX века», — Федя горячится. «И чем же это люди XX века отличаются от всех прочих?» — «Например, некоммуникабельностью». — «Некомуничем?» Мы понимаем, она — нарочно. Мы смеемся вместе с нею, против Феды. «Люди не умеют друг с другом,

каждый в себе». — «Ты прекрасно объяснил, — она говорит совершенно серьезно. — Только я не понимаю, что плохого в том, чтобы быть в себе. Разве не в себе лучше? Это же су- щая гадость...» — она стряхивает с пальцев. «Но согласитесь, это — проблема». — «Это — не проблема», — она отрезает. «Интеллигенция ценит их очень высоко». — «Кто? Я не пони- маю этого слова», — у нее белые губы. «Интеллигенция, — теряется Федя, — это образованные люди, которые всем ин- тересуются». — «Все-ем? — ее глаза яростно темны. — Все — значит ничего. *Всем* интересуются только идиоты». — «Но все-таки каждое явление, по-своему», — от такой ярости Фе- дя теряется, он уже отступает, он устал. Ф. стоит перед нами, вытянувшись в струну. Смотрит мимо Феди, мимо нас, мимо... «Если им любопытно *все*, пускай они удовлетворяют свое лю- бопытство *везде*, но только там, где нет меня». Звонок. Сего- дня урок так и не начинался. Мы выходим усталые. Я думаю о том, что Федя — храбрый. Я бы так не смогла. Еще я думаю о том, что было бы лучше, если бы она ему доказала. Всем до- казала. И мне. Я иду по коридору, додумывая. Какая-то боль, ломота, суставы.

На следующий день я заболела. Температура 39,5. Меня натирают водкой с уксусом — с ног до головы. Одеяло до под- бородка. Стены ватные, звуки ватные, шершавые. Трутся друг о друга. Болеть нельзя. На каникулах репетиции. Вынимаю руки. Сухие, как мушинные лапки. Редкие машины шарят тара- каньими усами — большие сухие тараканы. Горло сухое и большое, если заговорю, как Генри Карлович. Он идет ми- мо, в высоких белых валенках, похожий на партизана. Парти- зан, говорящий по-немецки... Генри Карлович улыбается: у него есть отчество, я читаю ему Блока, потому что они оба — немцы. *Рожденные в года глухие та-та та-та-та свое- го, мы дети страшных лет России та-та та-та-та ни- чего...* Я иду на пятерку. Это не Генри, Сергей Иваныч — спрашивает неожиданно. *От дней войны, от дней свободы*

*та-та-та ответ в лицах есть...* Одеяло плоское и тяжелое. *И пусть над нашим смертным ложем...* Сморщенный шарик под потолком. *Те, кто достойней, Боже, Боже...* Сейчас она отлетит. Они входят, срывают одеяло, льют воду.

Праздники, выходные. Участковая приходит только через неделю. Я уже кашляю: сижу — кашляю, лежу — кашляю, сплю — кашляю. Уши глухнут, набухают ватой. Участковая прослушивает двухстороннюю пневмонию. Дома не справиться, нужны уколы шесть раз в сутки. Меня увозят на «скорой» в детскую больницу на Лермонтовском. В палате восемь человек. Я и малыши. Днем к ним допускают матерей. Матерям разрешено с 9 до 11. Ночью мы с малышами одни: ни врачей, ни нянечек. Врачи спят дома, нянечки в больнице, где-то недалеко от нас. Днем матери болтают, стирают под краном пеленки, развешивают по батареям. У матерей много дел — ни минуты свободной. Домой больничное уносить нельзя, свое нельзя приносить. Застиранные пеленки пахнут. Вечером матери по очереди подходят ко мне. Они кладут мне на тумбочку апельсины, которые я все равно не съем. Матери не умеют просить просто так. Им кажется, что с апельсином — вернее. Сначала они просили, теперь уже не просят, просто кладут один на другой оранжевой горочкой. Я присмотрю. Они жалуются, ты же понимаешь, у нянечек не допросишься. Я здесь уже давно. Так давно, что знаю наперед. У меня всего час. Через час они начнут плакать. Сначала Федя. Ему девять месяцев. Днем ему делают уколы в вены. Вены у него маленькие, им легче не в руку, а в голову. Они находят у виска.

Я вылезая из кровати и иду. Меня качает. Тяну из кровати. Если положить с собой, я могу заснуть и задушить его. Он маленький и дохлый. Иду и иду, взад-вперед по проходу, как на репетиции. Теперь я положу его на свою, сама сяду рядом. «Расскажи», — Наденька ждет, шепчет, чтобы не разбудить. Мы с нею взрослые. Ей четыре года. Ее привезли неделю назад. Уже вторую неделю я рассказываю ей о Шекспировском



театре, о Ричарде Третьем, рассказываю его историю. Иногда я говорю по-английски. Переспрашиваю, ты понимаешь? Она кивает тихо и важно. Я замолкаю, и только тогда Наденька засыпает. Я иду к зеркалу, стою перед зеркалом с Федей на руках. От укулов мое лицо покрыто прыщами, островки, как плесень, колонии плесени — мягкие, зелено-розоватые. Сестра говорит, что я пошла паршой. По утрам меня мажут зеленкой, как мазали мою сестренку. Я знаю: это когда зараза — в крови. Значит, и у меня. Зеленка нестойкая. Подушка в пятнах, зелено-коричневых.

Аркадий Ефимович сказал, завтра Наденьку выписывают. Она уже не кашляет. Она говорит ему, что не хочет уходить. Когда он уходит, она плачет, шепчет, что не уйдет от меня, останется со мной и будет слушать. Мама обступают, утешают. Завтра ты увидишь свою маму, они говорят свое главное утешение. Сегодня наша последняя ночь. Федя отплакал. Мы зовем его Федорино горе. «Вчера мне передали ее письмо». Наденька слушает, она знает, о ком я. В письме она называет меня *the lily of the valley*\*. Аркадий Ефимович сказал, что меня выпишут недели через три. В письме ни слова про День театра. Я уже понимаю, что это значит — в этом году Ричарда не будет. Понимаешь, если Ричарда не будет сейчас, его не будет никогда. Если я останусь в больнице, она не сможет больше надеяться на меня. Она будет думать, что я заболею в любую минуту, на меня нельзя положиться. Наденька бормочет, засыпая. Я понимаю, надо что-то сделать, но не понимаю — что. Утром за Надеей приходят. Я выхожу попрощаться. «Вот, вот, это она, рассказывала мне...» Что может объяснить бессловесная здоровая Надя? Мама смотрит на мое страшное, больничное, зеленовато-розовое лицо. Отводит глаза: «Да, да, хорошо, скорее». Наденька отворачивается, старается попасть в рукав. Она уже забывает обо мне, еще

---

\* Ландыш (англ.).

несколько шагов, и никогда не вспомнит. Мне все равно. Теперь я знаю, что делать. Я уже все решила. Если начать сегодня, к понедельнику кончится, так или этак. В пятницу врачи уходят на выходные.

Это ничего, его найдут, им придется его найти. Когда приносят обед, я отворачиваюсь: утыкаюсь в глухую стену. До еды я больше не дотронусь. Нянька ворчит, убирая. «И так вся в парше. Не будешь есть, станешь уродом». Я уже была уродом, мне не впервой. Я сплю, они привыкли, что я сплю днем. Нянечка приносит ужин. Не хочет уносить, трясет мое плечо. «Я есть не буду», — отвечаю, не оборачиваясь. Теперь приходит дежурная сестра. Трогает мой лоб. Почему ты не ешь? Не хочу.

Лампа над дверью, голая стенная лампа. Федя не плачет. Он уже здоров, его больше не колют в голову. Я встаю и тяну за собой табуретку. Ставлю перед зеркалом. Стягиваю с себя рубашку, забираюсь. Я стою перед зеркалом и смотрю на себя — всю.

Тощее туловище, ребра, соски, ключицы, темное, худые ноги. Зеркало отрезает мою голову, они могут подставить лобую. Мне трудно стоять, еще день, и я не встану. Я отвечаю за тело, на которое нельзя положиться. Прыщи на моем лице, которое отрезано. Нянька сказала, сойдут, не успеешь оглянуться. Значит, сойдут и ребра, и ноги, и все остальное. Я не пожалею о них, не пожалею, что они сойдут с меня.

Завтрак снова уносят. Мне уже не встать. Мои ребра и ноги уже почти сошли. Я слушаю, как они уговаривают меня, прежде чем унести. «Может быть, ты не хочешь больничного, может быть, тебе дать мое, хочешь котлетку? Хочешь, мы позвоним твоей маме, чтобы она принесла обед?» Я не хочу *ничего* материнского. Даже своего тела. Они уговаривают друг с другом. Нужно позвонить Аркадию Ефимовичу, помрет. Он приходит под вечер. «Почему ты не ешь? Ты что думаешь, я не найду управу? Ты вообще знаешь, как

кормят насильно?!» Он пугает меня и гладит мою руку. Чтобы любить, нужен кто-то еще, кто-то добрый. Это я уже знаю. «В больнице я больше *ничего* не буду есть». — «Ты ведь можешь умереть». — «Вы сказали, еще три недели. Столько я не буду». Теперь они все слушают, слушают, как я говорю с ним. «Сколько же ты?..» — «До понедельника. Еще один день. В понедельник я ухожу». Она устала с детьми, шепчут матери, особенно Федя, он все время плакал, каждую ночь, она носила его на руках. «Почему ты мне не сказала?» — он хватается, как за соломинку. «Где же сестры?.. Они должны были...» — он машет рукой, он мягкий человек, он знает, где были сестры. «Я хочу на свободу». На свободу, он повторяет за мной. Он сидит и думает, думает долго. Отсвет на его лице. Какой-то больной отсвет. «Хорошо, я отпущу тебя *на свободу*». Он уходит, возвращается, подает мне листок. «Вот. Я оформил. Пусть у тебя. Я приду попрощаться с тобой», — он говорит робко. Больше не пришел. Назавтра он заболел и остался дома. «Аркадий Ефимович — джентльмен, — нянька смеется, — просил передать тебе поклон. Так и сказал, передайте поклон».

Через дорожку зеленоватый фонарь, полосы веером на снегу. Окна заклеены бумагой. Запах пеленок от батарей. Я умею открывать двери. Победа гуляет в моей крови золотым соком спелых материнских апельсинов, до которых я не дотронулась. Я иду к тумбочке, распахиваю створку. Дань безутешных матерей. Гора, которую они снесли к моей постели. Темные плоды на одеяле. Толстокожие плоды, потому что пальцы мои ослабли. Я подковырываю толстую шкуру и раздираю материнские апельсины, вцепившись ногтями. Я не хочу смотреть на себя в зеркало, ни с ребенком, ни без. Никогда. Половинка апельсина в моей лалони. Я подношу ее к зубам и вонзаюсь. Я не откусываю, мну и высасываю, досасываю досуха, как хищник, как цветок-росянка. Высасываю свою жертву, чтобы отбросить пустую шкуру, как отбросила в сторону высохшее

и уродливое — свое тело. Желтый сок капает на мой больничный халат. Высыхает желтыми пятнами. Такие пятна никогда не отстирываются. Пятно на груди и подоле. Желтая, материнская кровь.

### Ручаюсь за тебя...

За неделю до смерти она подарила мне невысказанную милость. В тот день она сидела на диване, откинувшись на подушку, я — рядом, на маленькой скамеечке, совершенно так же, как устраивалась обычно, когда мы разговаривали о своем. Однако тот разговор был особым. Он не перескакивал с одного на другое по нашему всегдашнему обыкновению последних общих лет. В тот день она вызвала меня. Тема держала нас, поглощая все силы: томила и обессиливала. Мы должны были договориться об одном деле, о котором никто, кроме нас двоих, не сумел бы. Потом мы сидели, нежно улыбаясь друг другу, и вдруг она предложила мне задать ей *любой* вопрос. Сказала, что ответит на все, на все, о чем бы я ни спросила. Она знала, что делает. Она была уверена во мне так же, как я была уверена в ней. Она бы ответила, однако мои уста не разомкнулись. Я покачала головой, и она усмехнулась. Она знала, когда одарить. Возможно, окажи она эту милость накануне, до нашего с нею разговора, я спросила бы ее о многом. Например, о том, *знала ли она заранее*, что, делая своих детей самыми лучшими, она делала их и самыми худшими, лучшими и худшими одновременно. Как будто раскачивала маятник, бросая его так высоко, что в обратном полете он неминуемо достигал наивысшей точки, или, точнее, самой низкой. Не нянька — повитуха, вытягивающая клещами и добро, и зло. Потом-то она об этом знала.

А может быть, я напомнила бы ей историю нимфы Фетиды, которую незаконно и втайне считаю ее предшественни-

цей. Бессмертная, она пыталась сделать бессмертными и своих детей. А иначе зачем она испытывала их огнем времени, в котором они сгорали? Неужели она, ни на йоту не веря в свое бессмертие, верила в его божественную силу: если долгими ночами испытывать дитя, а днем кормить его амброзией особых, *сокровенных* знаний, можно сделать его неуязвимым, вырвать у времени его жало, спасти и сохранить. Сколько раз ей казалось, что победа близка, но пятка, за которую она держала, вырывалась из ее рук силой чуждой ей родительской любви, природной и нетребовательной, и дитя, глотнувшее бессмертия, ступало на общий путь, ведущий к смерти. Хуже того, иное смертное дитя, обожженное близостью бессмертного, обращаясь к этому миру, обращалось к нему со злобой и презрением.

На первой же репетиции наша сцена — ни к черту. Она стоит, поигрывая указкой, как рукоятью, стоит с застывшим лицом. Дала доиграть, не прерывая: страшный признак. Белые измученные губы. «У нас мало времени, надо восстановить, начать все сначала». По будним дням она репетирует Генриха, Макбет, танец, мои новые сонеты. Цикл о любви. Просто о любви. Этот цикл я не люблю. Ричард по воскресеньям, как всегда. По будням Костя играет принца Гарри, сцена в трактире.

В воскресенье Костя приносит бархатный камзол. Она сидит на диване, поглаживая бархат. Маленькая рука на черном — гоняет ворс. Черное, серое — цвет послушен руке. Анна за гробом — конечно, глубокий траур, но мы все-таки делаем светлое, светло-бирюзовое. Черное с небесным. Она делает набросок: высокая кокетка, разрезные рукава. Горло открыто, узкий мысик, из-под разрезов — белая ткань. Внутренние рукава плотные — обтягивают руку. Дома я роюсь в маминых запасах. Пуговицы, кнопки, старые бусы. Есть длинная чешская нитка, папа привез из *той* поездки. Мама жертвует безо всякого: воспаление легких. Никаких старых

простыней. Блестящий бирюзовый сатин из Гостиного. Кокетка, высокий пояс на подкладке, мысик из белого гипюра. Сатин, конечно, не бархат, но раскладывать надо в одну сторону. Я вышиваю пояс по кругу. Разрезы перехвачены жемчужными бусинами.

Ни в какую поликлинику я не хожу. Сонеты, костюм, Ричард, не до физиотерапии. Наша сцена быстро восстанавливается. Время от времени я чувствую слабость. Остатки болезни, бродящие внутри. Перемогаюсь, чтобы она не заметила. Мое лицо чистое, струпья сошли на второй же день. Осталась только слабость. Держусь за подоконник, как держалась в больнице. Оборачиваюсь. Костя в двух шагах. Отводит взгляд, прячет глаза. Я жду. Глаза возвращаются. От серого дворового света они сероватые, как будто она провела рукой по черному ворсу. Если бы не слабость, я поняла бы без слов. Он ждет, что я пойму. Мои глаза темнеют, чернеют, как против ворса. Он говорит, ты такая красивая, такая легкая, невесомая, такая слабая, особенно теперь, когда ты стоишь у окна после своей болезни. Я жду тихо и внимательно. Он говорит: «Я люблю тебя». Это — бархат по ворсу, нежное сероватое сияние. Сказал и смотрит, ждет ответа. Как же я отвечу на *такие* слова, если каждое воскресенье я слышу другие, от которых заходится и рвется мое сердце. Те слова бродят в моей крови, состава которой он не знает. Моя кровь больничного цвета — цвета желтого сока. Во мне другие слова, те, бессмертные, к которым я поднялась с убогой больничной койки, к которым я отвернулась от своего убогого тела. Если бы не колени, я подошла бы к нему и сказала: да, я люблю тебя. Как в *этих* сонетах. Мне легко было бы сказать это, потому что любовь — другое. Любовь — это она, а не он.

Утро Дня театра. Накануне особенная слабость. Гладила бирюзовое платье. Белая нижняя юбка, белые туфли, белый обруч на голову. Волосы будут распущены. Так она хочет, что-

бы они летели. Утром мне не открыть глаз. Надо обдумать. Медленно и внимательно. Если признаться, не пустят. Если уйду — воспаление легких. Снова. Больница. Уколы. Дети. Но. Я поднимаюсь на локте. Она. Ричард. Что это ты болтала перед больничным зеркалом? Пусть боятся те, кто боится смерти.

Она смотрит на меня. Я пришла повесить костюм. Если бы она не заметила, я бы не призналась. Она говорит: «Надо составить стулья в углу. Ты ляжешь и будешь лежать до самого выступления». Она не предлагает домой. Не предлагает выбора. Группы приходят одна за одной, сменяются урок за уроком. Украдкой смотрят в мой угол, оглядывают костюмы. Если я лежу — значит, так надо. Она ведет уроки тихим голосом, почти шепотом, они отвечают еще тише. Уходят на цыпочках. На переменах она подходит. Кладет ладонь на мой лоб, качает головой. Я поднимаюсь на локте, прижимаюсь к ней. Последний урок. Теперь надо одеваться. Сейчас придут все. Я поднимаюсь со стульев, опираюсь рукой, сползаю. Она смотрит долгим взглядом. Никакой нежности. Собранность и спокойствие. Издалека смотрит на меня в последний раз, на мою температуру, на мой лоб, на мою птичью слабость. Их больше не будет, потому что не будет меня. Будет леди Анна, леди Макбет, Ричард, Фальстаф, принц Гарри. Она будет смотреть на нас, как на себя. На себя не смотрят с нежностью.

Я вижу только спину. Узкая, длинная. Рубашка до полу, обтекает ноги, рука длинная, пальцы длинные, в руке тяжелый подсвечник с горячей свечой. Медленно ставит на пол. Леди Макбет стирает пятна, сосредоточенно трет кровь. Бой часов. Время сделать это, тихим твердым голосом. *Hell is turky!*\* Ад — тоска. Чего боятся? Разве солдат боится? Узкая спина выгибается недоуменно. Кто бы мог подумать — кисть рас-

---

\* Темен ад! (англ.)

крывается слабым цветком, — что у старика окажется так много крови! Ведет рукой по лицу, нюхает, внюхивается в гниющий запах. Гнилая кровь... Нельзя кричать, надо тихо, крик ужаснет того, кто боится. Голос хрипнет. Банко мертв. Что сделано — то сделано. Я закрываю глаза. Больше нельзя смотреть. Иначе я не смогу — свое.

Они идут один за другим, мимо меня. Уходят в свою сцену. Я не прислушиваюсь к их голосам, стараюсь не прислушиваться. Взрывы смеха. Другого смеха, не так, как в прошлом году. Она сделала по-другому. Ей больше не надо ловить их. Раньше — мы для них, теперь они — для нас. Вваливаются за кулисы. Воспаленные лица, далекие чужие глаза. Костя улыбается улыбкой принца, смотрит мимо меня. Маринкины белые зубы, хищные зубы трактирщицы, вскинутая голова, рука, упертая в бок алого платья. Я вижу то, что осталось в их лицах... Красный отсвет.

Первые такты из ее угла. Я готова — во мне пустота. Я говорю им, уговариваю, увещаваю, говорю о светлой любви таким нежным голосом, каким говорила она. О светлой любви, которой я не знаю, о том, что милая ступает по земле. Может быть, так ступала юная леди Анна, так, как она любила мужа, за гробом которого — в ярости, в бирюзовом, в жемчугах. Я хочу быть другой, нюхать свои гниющие руки, утешать своего солдата, вздергивать его душу своей запятой рукой, но я не должна пугать их. Я утешаю их всех, твержу о нежности, в которую не верю, и, сложив руки на последнем такте, дарю им свое пустое сердце. Они верят мне, потому что хотят утешения. Она приказала мне утешить.

Мы стоим в поклоне. Мои колени согнуты, голова опущена. Пусто. Глаза не застит. Я смотрю прямо в растерянное лицо Матап. Она аплодирует, протягивая ладони. Глаза Б.Г. сияют ошеломленно. Я оборачиваюсь к Косте. Даю ему руку. Он смотрит на меня с нежностью — в мои пустые глаза.



Тело вернулось. Я чувствую боль в спине, дрожащие икры. До потолка высоко, как до неба. С галереи свисают гроздьями. Нет никому дела до моей болезни, до его любви, до того, что я умею отбрасывать тело, как оболочку. Мы уходим в первый ряд. Медленный клавесин. Две пары рука об руку, легко и красиво. Два розоватых платья, два розоватых плаща. Матап успокаивается, утешается, улыбается легкости и красоте. Шаг назад — поклон, касания рук, мгновенно и точно, коротко, как выдох и вдох. То медленно оплывая, то чуть быстрее, короткими огоньками. Медленны и быстры одновременно: медленные кисти, быстрые пальцы в касании. Матап ошибается, утешившись: это не танец, что-то, чему я не знаю названия. Не мужчины, не женщины, движутся и не движутся, касаются и расходятся. Пустые глаза, танцуют в пустоте. Клавесин не полнит пространства: ни страсти, ни тоски, ни боли. Ангельские касания, ангельские лица и спины. Еще не ангельские только цепи глаз — не пускают, не дают разомкнуться. Наболевшая пустота уходящей, почти ушедшей боли. Последний взмах пальцев, и — головы в стороны, отвернутся. Незаметно скашиваю глаза. Матап аплодирует с удовольствием. В ладонях Матап радостное облегчение — все кончилось хорошо. Розовой красотой.

Я иду по набережной. Еще светло. Люди навстречу — мужчины, женщины, дети. Поравнявшись, вскидывают глаза, смотрят на меня удивленно. Так и должны. Дома никого. Иду в ванную, к зеркалу. Господи, я же забыла, забыла смыть. Белая пудра толстым слоем, как мелом. Толстые черные полосы над веками, синие тени до бровей. То-то, оказывается, они смотрели... Шла по набережной, как Фаита. Я смеюсь, отворачивая краны, хохочу, черпая воду. Тру лицо полотенцем, вглядываюсь внимательно: покрасневшие щеки, покрасневшие веки, веселые глаза. Нет никакой температуры. Нет как нет. Я смеюсь: нет больницы, нет уколов,

нет материнских детей. Безотказное лекарство, великолепное лекарство, настоящее.

Мои родители на Дне театра не были. Папа в командировке, мама на бухгалтерских курсах, ходит четыре раза в неделю. Костины были. Я не видела, но он сказал, приходили. В воскресенье маме звонит Любовь Георгиевна. Они разговаривают долго. Я не прислушиваюсь, учу домашнее чтение. Через неделю родительское собрание. У мамы опять курсы, но она пропускает. Возвращается довольная.

В понедельник после урока Ф. оставляет меня. Сижу на своем месте, она — напротив. Брови сведены, голос спокоен. «Ко мне подходили Костины родители, говорили о тебе. — Останавливает рукой. — Их беспокоят ваши отношения. О тебе с исключительным уважением. По-другому я бы не позволила. — Я вижу мгновенный излом ее рта. — Костин отец сказал, что он поговорил с Костей. Сказал, что бы ни случилось, виноват *всегда* мужчина. Сказал, что они с матерью ничего не имеют против дружбы». Но — дети взрослые, они просят Ф. обратить внимание, если надо, поговорить тактично. Снова ее мгновенный излом. «Я сказала им, что ручаюсь за тебя. Они мое поручительство приняли. Сказали, что в таком случае им беспокоиться не о чем. Потом подошла твоя мама и просила меня проследить, — что-то меняется в ее голосе, — чтобы ты ела перед репетициями». — «Что ела?» Мне кажется, сейчас она ударит меня. «Все что угодно: хлеб, салат, котлеты, все, что могла бы съесть и я, если бы с утра до ночи не занималась вами. Твоя мама сказала, что ты уходишь из дома без завтрака. Я обещала ей проследить, но *тебе* я говорю: у меня нет и никогда не будет времени заниматься твоими обедами. Я — не мать. Но если я узнаю, что ты пришла на репетицию голодная, я отстраню тебя. Ты поняла меня?» Не мать. Я поняла.

Не мне судить о том, остался ли ответ в моих глазах. Может быть, и нет, наверное, нет, потому что ничего особенного

не осталось в глазах моих одноклассников. Все шло как прежде: иностранные делегации, домашнее чтение. Крутой переход от Ричарда к родительским опасениям постепенно забывался. Мы были заняты новым начинанием района, которое администрация школы взялась выполнять с особенным рвением. Серия КВНов, посвященных союзным республикам. Районо собиралось убить двух зайцев: познакомить школьников с этнографией народов СССР, но решить эту задачу в веселой и находчивой форме. Нашей параллели — восьмым «а» и «б» — достался Казахстан. В библиотеке мы разыскивали стихи современных казахских поэтов, которые сами по себе, безо всякого нашего веселого и находчивого вмешательства, были способны украсить любой КВН. На этот эффект районские дамы вряд ли рассчитывали. КВНовское домашнее задание требовало ежедневных репетиций. Они проходили весело и безалаберно и давали соответствующие результаты. Настоящих репетиций не было. Ф. выглядела усталой. Никаких разговоров о Дне театра: как ни бывало. КВНовские репетиции оставляли ее равнодушной, и сами упоминания о них она пресекала с отчужденным спокойствием. Виделись мы редко. В школу она приходила раньше других, в столовой не появлялась. Уходила сразу же после окончания своих уроков. На переменах она оставалась в своем классе, запираясь изнутри, в учительскую не входила. Общение с коллегами она ограничивала вежливыми «здравствуйте» и «до свидания». Казалось, даже эти короткие приветствия требовали от нее сил, которых не было, потому что — тогда я впервые это заметила — она сопровождала их легкими поклонами, которые позволяли ей прятать глаза. Так, как будто она кланялась в пустоту. Исключение делалось только для Андрея Николаевича, преподавателя английского языка, который появился в нашей школе еще в конце сентября и, охотно откликнувшись на ее предложение, сыграл Фальстафа в Генрихе IV. В свои тридцать лет он казался нам человеком без возраста.

В нашей английской группе он вел технический перевод, к которому, несмотря на долгий технический опыт, относился еще хуже, чем мы, выдававшие перлы вроде «голого проводника, бежавшего по вагону» вместо приличествующих случаю электротехнических терминов. Отсмеявшись вместе с нами, он откладывал в сторону технические премудрости, оставляя их на нашу домашнюю совесть. Сам же, избавившись от нелепой необходимости вещать о проводниках и полупроводниках, доставал книжицу и читал нам вслух современных писателей, в особенности напирая на Фазиля Искандера. В отличие от Ф., Андрей Николаевич высоко ценил некоторых современных писателей, однако его второе место в нашей иерархии автоматически ставило любимых им ниже любимых ею. Вообще говоря, с Андреем Николаевичем можно было завести разговор о чем угодно: хоть об обедах, хоть о КВНе, не опасаясь жесткого и презрительного отпора. Стоило нам попросить его помощи в составлении КВНовского задания, как он немедленно включился в дело с университетским энтузиазмом. Вместе мы и написали ту знаменитую сцену в гареме, во время предварительного просмотра которой Б.Г. и наша классная, заливавшаяся краской при одном появлении Андрея Николаевича, хохотали до упаду. Отсмеявшись, Б.Г. *попросил* нас не включать эту сцену в программу.

Андрей Николаевич не был похож на учителя. Четыре года — после окончания университета и до появления в нашей школе — он работал переводчиком за границей. Очень полный, однако быстрый и энергичный, он носил окладистую бороду, невиданные заграничные пиджаки, портфель-дипломат, полный новых книг, которые скупал ежедневно и в невероятных количествах, огромный золотой перстень с черным камнем на безымянном пальце правой руки. Первое время Ф. довольно зло подшучивала над его манерой к месту и не к месту упоминать о заграничных делах и книжной всеядностью, однако трогательное восхищение, с которым он относился к ней

с первого же дня, сделало свое дело. Ее шутки стали добрее, тем более что и сам он, заметив прицельность ее юмора, стал посмеиваться над собой, а потом вдруг объяснил, что частые упоминания о заграничной жизни — это не что иное, как скудность его жизненного опыта. «О чем же мне еще остается вспоминать, кроме университета и заграницы — это единственное, что я видел. А книги... С самого детства я мечтал собрать свою библиотеку. Грешен, люблю подержать книжечку в руках», — он говорил и подмигивал так залихватски, что Ф. смеялась от души. Беспрекословно, совершенно на равных с нами, он подчинялся ее режиссерским указаниям — правда, не сразу, а после одного решительного разговора, для которого она, прервав репетицию, пригласила его выйти за дверь, — и стал великолепным Фальстафом, лучшим из всех Фальстафов, которых мне довелось видеть.

В общем status quo наконец установился: к весне они часто уходили из школы вместе и подолгу гуляли по городу. Предоставив нас нашим КВНовским репетициям и родительским заботам, она обсуждала с ним свои дальнейшие театральные планы.

Со стороны они выглядели необычной парой. Он — полный и грузный, но идущий рядом с нею веселой и широкой походкой, сильно жестикулировал, словно подкрепляя развиваемую мысль как будто чуть пьяными, чрезмерными жестами; она — маленькая, как воробышек, идущая на острых каблуках на полшага впереди, слушала его с уважительным интересом. Время от времени она бросала короткую фразу, и беседа меняла русло. Иногда она говорила сама, и тогда ее жесты становились точными и свободными, как на репетиции, а ноги заводили в самые неожиданные места: однажды она вознеслась на садовую скамейку, другой раз стремительно взошла на пандус и в мгновение ока оказалась на каменном полушарии, где и закончила монолог.

Их отношения, как это обыкновенно и бывает в женских коллективах, не могли не стать поводом для сплетен. Сплетни

ходили среди учителей. (Решительно исключаю Матап, Б.Г., Сергея Ивановича и нашу математичку.) Особую дань сплетням отдавали учительницы младших классов и некоторые англичанки, не допущенные к главным событиям школьной жизни. Мы, я подчеркиваю это особо, не сплетничали. Наше отношение к Ф., а значит, и ко всем, кто попадал в ее орбиту, исключали домыслы любого рода. До Ф. и Андрея Николаевича отголоски сплетен не могли не долетать: некоторые учительницы отличались игривой бестактностью, однако и она, и он относились к неуместной дамской игривости с легким презрением, выравставшим из более широкого и горького опыта презрения — естественного опыта тех, глухих, лет. Между собою они никогда не касались этой темы — из особой утонченной деликатности, но при случае, правда лишь тогда, когда к Ф. вернулись силы, могли позволить себе бесшабашно подыграть клеветникам. Как-то раз, выйдя из школы, они направились в сторону Театральной площади и на повороте канала заметили Валерию Павловну, идущую навстречу. Переглянувшись — в то время они понимали друг друга со взгляда, — они замедлили шаг, и Ф., привстав на цыпочки, заботливо поправила его шарфик. Изменившееся лицо скрылось за поворотом, и они долго смеялись, держа за чугунные перила. Время от времени они заходили в изразцовую булочную попить кофе с коржиком, однако каждый платил за себя. В гости друг к другу они не ходили. Прогулки, доставлявшие удовольствие им обоим, иногда затягивались до вечера, и в сумерках, сажая Ф. в трамвай, идущий к ее дому от Московских ворот, А.Н. восклицал: «Извозчик, в оперетту!» — и Ф. смеялась и махала ему рукой из-за трамвайного стекла. Может быть, именно юмор их общих бесед позволял Ф. восстановить силы после того чудовищного и плодотворного напряжения, в котором она держала себя и нас во время репетиций. Диапазон обсуждаемых тем был широк, и с той же легкостью, с какой они обменивались шутками, она могла

просто и прямо ответить на его вопрос, тем более что вопросы его были просты. Я легко представляю себе эти легкие и непринужденные переходы, потому что в какой-то степени Андрей был моим предшественником, точнее, тем из моих предшественников, которого я знала лично. В этом моем утверждении присутствует и некоторая натяжка, поскольку нас с нею объединяло не чувство юмора: в этом чувстве она неизменно мне отказывала, несмотря на то, что с годами я научилась шутить в ее присутствии так, что она смеялась. С другой стороны, в беседах с Андреем Ф. в какой-то степени была моей предшественницей, поскольку сразу же по окончании школы я вышла за него замуж, о чем упоминаю для порядка как о чистейшем случае искреннего переноса чувств.

Родители могут быть спокойны — и мои, и Костины. Боязнь, отсылавшая их по ложному следу, вела в тупик. Этого следа я не оставила. Мой тупик — другой. Так, как ее, я никогда больше не полюбила. Я любила ее всегда, и именно она за неделю до своей смерти нашла из этого тупика единственно возможный выход, изменив подпись на обороте *той* фотографии. Новая подпись соединила ее иудейскую жестокость с греческим просвещенным прозрением о различных видах любви. Этот выход я выстрадала, влюбила всей своей жизнью, однако если мне позволено будет *по-настоящему* оглянуться, то есть посмотреть на дело *исторически*, в этом соединении нет парадокса: иудейская и греческая традиции были и остались двумя равносильными источниками христианства. В историческом смысле эти источники слились тогда, когда пришло время. Поддержкой времени она так и не заручилась. «Если когда-нибудь я соберусь покреститься, ты будешь моей крестной», — так она сказала однажды, совершенно серьезно, пожалуй, за год до своей смерти. Даже теперь я не посмею назвать фразу, сказанную из нежности, предвосхищением возможных событий. Она подложила ее под мой зубок как сухую вишенку. Но это был не степной шарик, в кото-

рый она играла с догадавшейся обо всем бабушкой, а настоящая сухая вишенка, высохшая под солнцем Аллаха.

А впрочем, какой нормальный человек станет без смеха слушать мои домыслы о людских страстях? Скажет: жаль, что все так сложилось, но, положи руку на сердце, не было у тебя другого выхода, кроме жалкой игры, кроме твоего страстного и бесплодного актерства, а значит — прочь с дороги. Тебе ли, актрисе, рассуждать об истоках христианства? Знай свое место — ваше актерское место за церковной оградой, вне кладбищенской освященной земли. Ты была и осталась уродом, некрасивой дочерью, и нет нам дела до твоего зеркала, в котором ты ищешь сходства с названной *матерью*. Да, да, я киваю, мне нетрудно склонить голову перед людским судом. Этот суд не дает последнего слова, а если б дал, я бы сказала: ваши пальцы, бьющиеся в аплодисментах, всегда попадают в небо, стоит вашим ладоням разомкнуться. Ваши пальцы не знают быстрых касаний в наболевшей пустоте.

## Изгнание из рая

Весной по радиоголосам начали передавать Солженицына — «Архипелаг ГУЛАГ». Отец слушал главу за главой, по вечерам припадая к отвратительно воющему приемнику. Я была занята своими делами и, конечно, не обратила бы на это событие никакого внимания, но иностранцы, зачистившие в нашу школу с приходом весны, безжалостно заводили с нами разговоры о Солженицыне, видимо, желая нас просветить. Теряясь от их настойчивости, мы спросили Ф., и она, не высказывая своего мнения, предложила уклончивый ответ: это произведения Солженицына мы не читали. Я не могу сказать наверное, обсуждала ли Ф. солженицынскую тему с Б.Г., однако сам Б.Г., вообще-то опасливо и ответственно относившийся к политике, с нами никакого инструктажа не проводил.



Если у него и был такой соблазн, он счастливо поборол его, может быть, и из чувства самосохранения: к тому времени мы уже были, так сказать, на особом положении, и развяжи он политическую дискуссию, ему пришлось бы вести ее серьезно, что могло, учитывая нашу политическую непуганость, его уважительное к нам отношение и богатый жизненный опыт, завести в дебри. Умный человек и еврей — он не мог быть не на стороне Солженицына.

И все-таки политическая дискуссия состоялась, однако, как ни странно, с учительницей физики, которая взяла на себя скорбный труд спасения наших душ. Людмила Петровна была крепкой и решительной женщиной, доброй и порядочной в женском смысле: хорошая домохозяйка, ответственная мать и преданная жена. В молодости — а в наше время ей было уже лет сорок — она стала комсомолкой-энтузиасткой, откликнувшейся на целинный призыв партии, и всю свою дальнейшую жизнь любила вспоминать то романтическое время. Разговор завел Федька. Он просто поднял руку и сообщил, что его дедушка и бабушка каждый день внимательнейшим образом слушают радио — главы из новой книги Солженицына, и утверждают, что все это — правда. Людмила Петровна выслушала доброжелательно и принялась отвечать в том духе, что это не вся правда, а значит, и не совсем правда, потому что Солженицын вместе с водой выплескивает и ребенка. Этим ребенком был энтузиазм советского народа, не имеющий исторических аналогов, который позволил нам — она так и сказала: «нам» — завершить индустриализацию страны, победить в невиданной войне и с успехом решать грандиозные послевоенные задачи. Тут Ирка зашипела мне на ухо, дескать, с успехом можно решить, а не решать. Федя же стоял на своем и приводил другие примеры, которые запомнил из солженицынских отрывков. В результате каждый из них при своем и остался, однако они позволили друг другу (Федя самим фактом заданного вопроса, Людмила Петровна

искренним участием) свободно высказаться. Нам позиция Феди представлялась сильной: за нею стояли его бабушка и дедушка, то есть, вступив в дискуссию, он заговорил как бы и не от себя, а от тех, кто пришел бы в ужас от его длинного языка. Их воспоминания были таким же личным опытом, каким был целинный опыт Людмилы Петровны, а потому наша дискуссия выходила за рамки спора учителя с неопытным учеником. Мы сидели, развесив уши, следя за перипетиями их спора, в каком-то смысле спора поколений. Людмила Петровна не стала отрицать трагического опыта бабушки и дедушки, она прямо сказала: да, это было, но вы не должны забывать и о другой стороне медали. За пределы кабинета физики подробности спора не вышли. Администрация занималась КВНами, полным ходом идущими во всех параллелях, и новым американским учителем, который появился в нашей школе и был, уже по традиции, прикреплен к нашей группе.

Появление Стенли Лаврентьевича (отец — Лоуренс, остальное дело техники) ничего политического не предвещало. Он появился в нашей группе так же робко, как и незабвенный Генри Карлович, однако с первого же раза поразил нас едва ли не сильнее, чем мы — его. Дело в том, что Стенли потрясающе говорил по-русски. Когда мы, уже по накатанной, гнали наизусть длиннейшие куски из Шекспира, Марлоу и английских классических баллад, он отвечал огромными пассажами из Достоевского. В общем, на фоне Генри Карловича с его вальенками и остальных ни бе ни ме по-русски иностранных гостей Стенли выглядел феноменально. В отличие от Генри, теперь казавшегося нам вполне юмористическим персонажем, Стенли не занимался проверками домашних заданий, а, видимо, раз и навсегда решив, что *такие дети* не нуждаются в мелочной опеке, вдался с нами в языковые тонкости, достойные университетских аудиторий. Ф., вначале как обычно сидевшая за задней партой, все чаще включалась

в беседу, так что наши уроки все больше превращались в их диалоги, за поворотами которых мы следили с истинным наслаждением. Ее чистейшее английское произношение и его энергичное американское сплетались причудливым узором, дополняя друг друга и друг другу противореча. Их дружба и взаимное восхищение расцветали на наших глазах, так что очень скоро и Ф., и Стенли чувствовали себя так легко и свободно, что уже позволяли себе шутки, первое время касавшиеся именно произношения. Стенли любил показывать Ф. фотографии своей семьи — жена и двое сыновей, снятые на фоне великолепного дома, — и несколько раз, всегда в присутствии Б.Г., напрашивался к ней в гости. Б.Г. — эту сцену Ф. изображала перед нами — отводил глаза и разговоры в сторону. В таких случаях Ф. смотрела на Стенли улыбочиво, и он умно улыбался ей в ответ. Перед нами Ф. весело изображала невозможный визит Стенли в ее однокомнатную квартирку. «Прошу вас, проходите, да, квартира небольшая, но удобная, пять комнат», — и считала двери: входная, в туалет, в ванную, на кухню, на балкон. В ее квартиру Стенли попал через двадцать лет.

Вместе с А.Н., увлеченного просветительскими идеями (кстати, деятельность Ф. он понимал исключительно как просветительскую) и предложившего нам эти прогулки, мы водили Стенли по местам Достоевского. Лазили по следам Родиона Раскольникова, которые вели к двери старухи-процентщицы, читали идиотские надписи наших предшественников: «Здесь был Родион», или рассуждали о том, как хорошо Федька смотрелся бы в роли Раскольникова: светлый шатен с сероватыми глазами, вечно ходит с поднятым воротником серого, цвета шинельки, форменного пиджачка. Федька пыжился, грозился убить старушку и, идя по тексту, считал ступеньки вниз, под которыми Родион Романович прятал свой острый топор. Однажды мы вышли на поиски квартиры Мармеладовых. Два местных дворовых мужичка,

весьма Достоевского вида (один их вид привел Стенли в восторг: «О, в России ничего, в сущности, не изменилось!»), охотно и квалифицированно ответили на вопрос об искомой квартире. Стенли переживал период настоящего, но заслуженного счастья, венец многолетних русских штудий, апофеоз, до которого и не чаял добраться. Наша компания переходила с русского на английский и обратно, что позволяло Стенли чувствовать себя как бы в лингвистическом раю, где лев возлежал рядом с ланью.

В общем, со Стенли мы дружили, до поры до времени не замечая того, что Б.Г. ходит за ним тенью — впрочем, улыбающейся и смущенной. Через месяц Ф. оставила нас после уроков и сообщила: районо предупредило Б.Г., а он — ее. По каким-то каналам стало известно, что Стенли по роду своей деятельности связан с западным издательством, распространяющим на территории СССР антисоветскую литературу. Районо ожидало, что именно в нашей школе Стенли займется *распространением*. Искушенные районовские дамы считали, что скорее всего он примется разбрасывать ее по туалетам, иначе с чего бы им заставлять бедного Б.Г. сопровождать гостя и *туда*. Дойдя до этой подробности, Ф. ехидно хихикнула, однако мгновенно вернулась к серьезному тону: «Представьте, в каком я идиотском... Тем более Стенли отлично понимает, что я не могу не замечать *такого* присутствия Бориса Григорьевича. В общем, я хочу, чтобы вы об этом знали и в случае чего не выглядели полными идиотами». На уроках Стенли шутил, ни о чем не подозревая. Ф. сидела за нашими спинами, и только слепой мог не заметить ее зловещего вежливого молчания, когда она, не отвечая на его шутки, глядела в сторону. Гудели лампы дневного света. Мы вставали с мест и садились, аккуратно складывая руки. Через неделю его взгляд стал больным. Она не ходила в столовую, на большой перемене сдавала его с рук на руки Б.Г. Стенли уходил, не оглядываясь. Еще через неделю Ф. сказала, чтобы

мы пришли после уроков — все. Вчера Стенли подошел к ней и попросился на разговор. Говорил, что не может понять, что случилось, может быть, он — бестактность, не нарочно, он — иностранец, что-то, что невозможно знать даже у Достоевского... «Мг. Моог, — она прервала его бормотание, — когда вы собираетесь начать раздавать детям *ваши* книги?» Она спросила, и он понял, что это — уже милость. «Я ведь должна предупредить детей, они не ожидают, они привязались к вам. Дети принесут книги мне, и мне придется *разгрести* эту историю. Вы ведь понимаете это слово — *разгрести*? *Разгрести* я не стану, а значит, мне придется уйти, оставить репетиции, оставить *все*». — «О, Господи! Разве вы могли думать, что я *это* сделаю, с нашими детьми? Разве я хоть шаг?..» — «С моими детьми», — она сказала непреклонно. «Если вы прикажете, я немедленно уеду, я разорву контракт, я никогда не мог подумать заранее, что буду любить наших... ваших детей. Я никогда не был так счастлив». — «Вы уедете, а мы с Б.Г. останемся и *будем отвечать на вопросы* о вашем преждевременном отъезде?» — она спрашивала нежно, играя перед нами их страшную сцену под гудение дневных ламп. «Нет, я останусь. Вы можете быть уверены: я никогда не сделаю ничего плохого ни вам, ни детям». — «Уж пожалуйста», — она ответила равнодушно. Он продолжал вести уроки. В урочное время Ф. неизменно и вежливо поддерживала беседы, касавшиеся языка. Тень Б.Г. вернулась к своему владельцу. По школе Стенли ходил один. Я внимательно смотрела на его лицо и в его спину. Это были лицо и спина человека, изгнанного из рая.

После его отъезда Б.Г. сказал Ф., а она — нам, что Стенли оставил все свои книги в гостинице, «забыл» их в номере, но тогда я не могла оценить степени правдивости этого сообщения. Через двадцать лет Стенли написал Ф. открытку из Китая, где преподавал в каком-то заштатном колледже, выйдя на американскую пенсию. В открытке говори-

лось, что он мечтает повидаться с нею по дороге из Китая в Америку. Она, то ли из болезненной вежливости, то ли просто из любопытства, согласилась его принять. Не моргнув глазом, он осмотрел ее квартиру и принялся наслаждаться беседой. Они беседовали по-английски: русский Стенли успел основательно подзабыть. Превозмогая болезнь, тяжесть которой он так и не заметил, она угощала его выданной по карточкам гречневой кашей и слушала жалобы о трудностях его послероссийской жизни. После его отъезда она сказала мне: «Стенли состарился». Я легко подсчитала: после изгнания из рая стариками становятся через двадцать лет.

После отъезда возложенного на него иностранца глаза Б.Г., обращенные к нам, засияли неподдельной нежностью. Именно с этим выражением он попросил нас подготовить из казахстанского КВНа что-то вроде показательной программы, которой можно будет угощать *особых* гостей. Эти гости появлялись в нашей школе едва ли не с регулярностью иностранных делегаций и тоже были достойны *какого-нибудь*, как тонко и деликатно выразился Б.Г., концерта. Мы узнавали их безо всяких подсказок, так сказать, по умолчанию. Дородные дамы в темных кримпленых и светленьких блузках и более жидкие мужики в серых костюмах и с лицами под цвет. Под стать Дикому и Кабаниха — бесспорный тезис. Мы подготовили такую программу, заменив некоторые, островатые на взгляд А.Н., шуточки на более с его и нашей точки зрения тупые и в результате получили исключительный и далеко идущий опыт — чем тупее оказывалась шутка, тем искреннее был смех именитых гостей. Особый восторг (проще сказать, хохот, похожий на хохот ее первого Дня театра) вызывала имитация хлопкоуборочного комбайна: Сашка Гучков хватал за ноги Славку, и эта парочка расхаживала по сцене, якобы собирая хлопок. КВН надоел нам хуже горькой редьки, и мы с особенным весельем относились к пророческому началу приветствия:

На КВН мы вновь собрались,  
Но это, право, это, право, не смешно.  
Зачем мы с ним так рано ра-аспрошались,  
Он к нам вернулся и вернется все равно.

В последний раз он вернулся к нам весною десятого, в самый разгар *той* истории. Нам, выросшим в атмосфере безотказной и непререкаемой ответственности, не пришло в голову отказать. Я помню наши мертвеющие голоса, выпевавшие — под привычный хохот именитого зала — веселые казахские куплеты.

Я сказала родителям, что хочу поступать в театральный. Хорошо помню, что сказала «хочу», а не «собираюсь»: до разговора с нею, так никогда и не состоявшегося, я никогда бы не посмела *собраться*. Мое желание привело родителей в ужас: он вряд ли был бы большим, пожелай я стать дворником. Мои родители с актерами не знали. Единственным представителем театрального мира, которого они видели, был наш сосед Владимир Павлович Белявский, но его-то они видели каждый день. Владимир Павлович имел диплом театрального режиссера: в свое время окончил институт на Моховой. Теперь он был безработным и жил на пенсию, которую ему выплачивали как инвалиду Великой Отечественной войны. Владимир Павлович любил упоминать о своих боевых заслугах, хотя элементарные подсчеты доказывали, что к моменту полного завершения военных действий ему не было и шестнадцати. В общем, пострадавший в боях сын полка. Конечно, вряд ли кто из соседей читал его историю болезни, однако сам образ жизни Владимира Павловича наводил на мысль, что никакой он не инвалид, а паразит и жулик. В те весьма продолжительные периоды, когда у него не было другой аудитории — время от времени он вел театральные кружки в домах культуры, откуда его неизменно и довольно скоро выгоняли, — Владимир Павлович бескорыстно вещал для

коммунальных соседей, заставляя их врасплох, то есть на кухне. Я хорошо помню его стоящим под крашеной деревянной полкой, на которой с шизофренической аккуратностью были расставлены его кастрюли: строго по ранжиру, ручка к ручке. До поры до времени эти рассказы спасали Владимира Павловича от коммунальной уборки: ни у кого из соседей не поворачивался язык ткнуть такую важную птицу в ее коммунальную очередь. Так оно и шло до тех пор, пока он не совершил ужасный, можно сказать, роковой промах, после которого был изгнан с коммунального олимпа. В нашей квартире был телефон, который стоял в прихожей. Вечерами, когда его естественная, Богом данная аудитория расползлась по своим комнатам, Владимир Павлович любил поговорить. Набрал номер и произнес довольно фамильярное приветствие, он усаживался на табурет, запахивал полы грязного аристократического халата и принимался рассуждать о современном театре. Иногда он делал паузу, пережидая ремарку собеседника, а затем продолжал с новым воодушевлением. Паузы были короткими: собеседники Белявского отличались почтительной лаконичностью. Надолго занятый телефон соседей раздражал. Другому это не сошло бы с рук, но до поры до времени Владимир Павлович был Юпитером. Пора настала тогда, когда моя мама неожиданно свернула к вешалке, то есть задержалась в прихожей на несколько лишних минут. Не обратив внимания на ее присутствие, Владимир Павлович набрал номер. Автоматически она подсчитала количество набранных цифр. Мгновенное прозрение развязало ей руки, и впервые за всю историю коммунальной квартиры она сделала Владимиру Павловичу замечание, причем не просто, дескать, освободите телефон, другим надо, а в форме обобщенных наблюдений: нечего тут сидеть целыми вечерами и разговаривать с самим собой. Пойманный с поличным, Владимир Павлович впал в транс, римским взмахом запахнул полу халата и опустил трубку на рычаг. С этого времени ничто не могло избавить



павшего Юпитера от мытья мест общего пользования. Эти события окончательно сформировали представления моей матери о жизни театральных деятелей. Краеугольным камнем соответствующих представлений моего отца (их источник мне неведом) была абсолютная уверенность в аморальности всех без исключения актеров и актрис. Его представления об этих, чаще несчастных, реже счастливых, людях переросли и греческие, и римские рамки и прочно утвердились в Средних веках. Бестрепетной рукой отец выбрасывал их за любую освященную Богом и людьми ограду. В одном родители сходились безусловно: актриса и режиссер — ягоды одного поля. Правда, в какой-то степени повинуюсь естественному ходу времени и выходя за средневековые рамки, отец предлагал мне выход: получить *нормальную* профессию, а вечерами играть в самодеятельном театре. Идея, за которой угадывалось дворянское высокомерие, невесть откуда взявшееся в моем отце. В конце концов, видимо, с отцовской подачи, мама сходила в школу и поговорила с Ф. в том смысле, что они с мужем очень боятся этих моих настроений, и попросила мягко отговорить меня или, по крайней мере, не поддерживать в подобных устремлениях. Ф. заверила ее, что никогда меня в этом не поддержит, поскольку ни прежде, ни теперь не поддерживала своих учеников в выборе профессии, каковой всегда считала абсолютно личным делом, не касающимся ни родителей, ни учителей. Думаю, моя мама поняла *суть* ответа, потому что с тех пор о Ф. со мною не заговаривала. Ф. тоже молчала, однако в начале нового сезона, то есть в девятом классе, не дала мне роли в *своих постановках*, но предложила самостоятельно подготовить английскую балладу «Королева Элинор». Со стороны могло показаться, что она дала мне первое самостоятельное задание. Я одна знала, что это не так. Решение, роковым образом вытекшее из разговора с моей матерью, означало совсем другое: Ф. отодвигала меня в сторону, отходила от меня, оставляла.

Я не могу знать достоверно, почему она отвергла английский вариант баллады, а выбрала перевод Маршака, но не могу и пройти мимо этого русского выбора, который выбивал нас из традиции Дня театра: ставил особняком. Русский, в который она меня ввергла, соединял наши самостоятельные репетиции со столь же самостоятельными, но другими репетициями КВНа, и это двойное соединение (языка и самостоятельности) превращало их в ту самодеятельность, к которой склонялось сердце моего отца. Это только на взгляд Стенли русский язык мягок, шипуч и щекочет глотку. На самом деле он тверд и может встать частоколом. Но тут я снова забегаю вперед: на первых порах мне дышалось легко и весело, как под водой в хорошем скафандре. О том, что кислорода у меня столько, сколько осталось за спиной, я не имела понятия.

Ленка-леди Макбет — умирающая во грехах королева, Костя — ее косолапый и косоглазый супруг, Ленка-Оливия — слова автора, я — преступный лорд Маршал, который, сложись все иначе, той же ночью висел бы на столбе. Приглашая меня на страшное и решительное дело, король поручился сам за себя, *за себя передо мною*. Он дал мне слово в обмен на мою помощь, помощь в деле, кошунственном с точки зрения *той* эпохи. Каждый день я слышу свой голос, как будто говорю в трубку, не набрав последней цифры. Пустота окружает меня на репетициях, веселая пустота наших рассуждений. Отступаться нельзя, потому что она приказала.

Незадолго до Дня театра она попросила показать готовую сцену. Мы должны были дождаться окончания *ее* «Генриха» и выйти после них. Я была уверена, что генриховские сразу уйдут, но они не ушли. Ф. словно и не заметила: сидят и сидят. Она следила с доброжелательным вниманием. Ласковые глаза учительницы — как на чужое. Уличенный лорд Маршал воздел руки и повалился на колени перед поручившимся за себя королем. С колен я смотрела, как она смеется. Она бросала взгляды на зрителей, допущенных увидеть чужое, слов-

но, приглашая на смех. Отсмеявшись и дав отсмеяться им, она сказала, что в *этом* моем падении есть много от восточных деспотий, которые ей, конечно, близки как тирану и деспоту и как восточной женщине, но откуда это во мне, для нее загадка. «В Англии, — она смотрела на меня с презрением, — падают тише... Ты понимаешь меня?» Я поднялась и упала тише. Мое новое, английское, падение пробило брешь в русском частоколе, и нас отпустили с миром. Для пушшего спокойствия мы решили прогнать готовую сцену в зале, и тут совершенно неожиданно перегорел свет. Везде, кроме галереи, откуда он падал широкой лунной полосой. Прикинув, мы решили поставить королевское кресло в световой поток. На другой день мы рассказали об этом случае Ф., и она легко согласилась с нашей идеей.

Королева сказала, что может надеть ночную рубашку леди Макбет и так и сидеть в ней до самой смерти. Королю вполне хватало костюма Ричарда, который мог сойти за панцирь, не ползать же по сцене в латах, да и вряд ли он явился бы в покои к умирающей греметь настоящим панцирем. Плащ с капюшоном, и — хорош. Ленка подала идею перекрасить голубоватое платье Оливии в торжественный и скромный черный. Со мной малой кровью не удавалось. У родителей я просить не рискнула. Деньги нашла сама: перестала завтракать и мало-помалу скопила солидную сумму, десять рублей, которой вполне хватило на синий сатиновый камзол и синий с белым подбоем плащ. На длинный монашеский хватило не вполне. По сравнению с Костиним мой выглядел куце: псевдофранцисканский капюшон едва закрывал лоб.

Через пару недель на имя Матап пришло официальное приглашение от нескольких культурных обществ южной Англии, в котором наш театр (сцена из «Ричарда» и сонеты), его руководитель, а также Матап и Б.Г. приглашались на гастроли по четырем южноанглийским городам за счет устроителей. Соблазн был велик, и Матап закинула удочку, на которую

попался ответ: дескать, театр выехать может, но только с детьми из рабочих семей. Без надежды на успех Матап мягко предложила Ф. подготовить «Ричарда» в новом составе, почерпнув исполнителей из согласованного списка. Ф. отказалась, но слух пошел и достиг наших ушей. Мы обнаружили политическую подоплеку в самом факте своего рождения. Та зима соединила, казалось бы, несоединимые вещи: родителей и политику. Теперь, по прошествии четверти века, это соединение не кажется мне нелепым.

## Последний день театра

Конечно, она сама набросала их фасоны. А может быть, показала на себе. С привычной легкостью обвела рукава плавными широкими движениями, узким собранным жестом подчеркнула талию — ладонями от груди, и подхватила широкую юбку концами пальцев. Она умела носить воображаемые платья. Обсудила с ними и цвета, но они, они молчали до самого Дня театра. Когда они появились, когда привезли на машинах выглаженными, с иголки, внесли, подымая от пола, Ф. порозовела. Они стояли в дверях, высоко подняв руки, и розовели ее радостью, потому что теперь *нам*, отставленным, становилось ясно как божий день, что, оставив, она не ошиблась. Она сделала правильный выбор, когда, отвернувшись от нас, повернулась к ним: к 9 «а», нашим соперникам по казахскому КВНу. Их родители заказали костюмы в настоящем ателье, но сами не пришли, побоялись побеспокоить. Вместо родителей, с ними не пришедших, стояли их великолепные, неопишуемые по красоте платья: на каждое пошли, а значит, и были *куплены* метры и метры тончайшего шелка — желтого и бледно-вишневого для проказниц; черного, с жаккардовым узором для королевы-матери; белого атласа и шифона — для Джульетты. Платья проказниц держались на жестких обручах и бы-

ли расшиты мелкими бантиками и широкими волнами кружев. Они были такими *настоящими*, что Ф. легко и с удовольствием сделала вид, что не замечает их фасонов — фасонов XVIII века. Стараниями новых родителей наступающий День театра становился роскошным: не шел ни в какое сравнение с предыдущими.

Она всегда смеялась над нашей способностью путаться во временах, стоило ей задать какой-нибудь исторический вопрос. В таких случаях она выводила нас из ступора ироническим: ладно, хоть *до или после* Рождества Христова? Теперь, когда Виндзорских угораздило залететь в другой век, она смолчала, не стала утешать их. Она вообще не стала никого утешать — ни нас, оторопевших, ни их — угораздивших, но заметила их временную ошибку, иначе с чего бы ей вскидывать глаза, бросать тот самый короткий взгляд, который она бросала всегда, когда ловила ошибку во временах. Коротким, кратчайшим взглядом она спрашивала меня: *до или после*? И я, только что любовавшаяся их платьями, платьями родительской любви и почтения — прекрасными, щедрыми и ошибочными, ответила: *после*. Мой куцый францисканский плащ не принадлежал ни одному из веков. Я не ела завтраков и шла сама. За ним не стояли мои домашние, от которых в тот миг, ответив ей *после*, — я отказалась.

Я не успела ничего додумать, потому что в дверь постучали. Прибежал гонец от мальчишек из соседнего кабинета и сообщил, что Федька-Ромео забыл дома темно-синие рейтузы. Ее взгляд оторвался от меня и собрался: «И что же, — она спрашивала, как спрашивают гонца, принесшего очень плохую весть, — он собирается шастать под балконом с голыми ногами?» Софка, белая, как родительский атлас, поднималась, забыв руку в волосах, в которые вплетала жемчуг. Я опустила глаза и увидела свои ноги в ярко-синих колготках, тех самых, которые отец привез из Чехословакии, и вот теперь они доросли до лорда Маршала, и значит, и до Ромео.

Ф. поймала мой взгляд, коротко кивнула и отвернулась. «Выйди», — я спасла гонца и принялась стягивать. Стянув, я мгновенно и запоздало представила себе всю процессию, как мы идем до актового зала: белое, черное, желтое, вишневое — во всей красе, и я за ними, в синем коротком камзоле с голыми ногами, лезущими на каждом шагу из моего узкого, не вполне монашеского плаща. Я шла за ними, как призрак своей собственной жизни — до. Жалкий призрак, который носит короткие чулки в резинку. Я подошла к двери, сунула колготки и прошипела: «Принеси Костин плащ». Гонец кивнул, умчался и через минуту вернулся с плащом и Федькиным «спасибо». Призрак растаял. Я закуталась, и Софкина рука снова взялась за жемчуг. Ф. сказала, что все могут сесть в зале по правой стене и выходить прямо из зала, все, кроме Джульетты, которая должна быть на галерее. Сказала, посмотрела на меня, и я поняла, что ко мне ее «все» не относится: я буду сидеть за сценой с голыми ногами.

Господи, даже сейчас, хотя прошло уже четверть века, которые я пустила на то, чтобы найти все слова любви, я вижу, как они идут по школе, окруженные стеной онемения. Малыши, не допущенные в актовый зал, застывали столбиками вдоль стен. А.Н. возглавлял процессию. Он шел в коричневом замшевом пиджаке, на вороте широкий отворот тончайших старинных кружев, на рукавах — крахмальные белые манжеты с раструбами, как краги. За ним желто-вишневые проказницы, убранные бантами и кружевами, за ними королева-мать в черном жаккардовом шелку, окруженная черными же солдатами — убийцами ее сына (Костя шел с ними), за солдатами — нежно-сиреневые танцовщицы (Ирка, дождавшаяся своего часа), за ними жемчужно-белая Джульетта с белокурым Ромео. И в конце наш элиноровский остаток. Костя обернулся, поискал меня глазами. Я кивнула, и он отстал от солдат. Сказала, что буду за сценой до самого конца, потому что Элинор последняя, пошли кого-нибудь за своим плащом.

«Ты как?» — он спросил заботливо, и я пожала плечами: «Нормально», — но он вложил мне в руку апельсин. Мы держались всего на минуту, но когда вошли, все уже расселись. Зрители смотрели на меня и думали: *что же* должно быть под моим черным плащом, если у *всех остальных* такие платья! Я шла за сцену, усмехаясь, потому что под плащом было пусто: *ничего*, кроме голых ног и апельсина.

Уже смеются. Я заглядываю: А.Н. обнимает Тайку за талию и подкручивает ус. Проказницы щебечут. Пихнули А.Н. под рогожку и уселись на него как на сундук. Он кланяется, выводит проказниц на поклоны, подкручивает их как свои усы. Софкин голос, нежный, как белый атлас, как жемчужная корзиночка. Музыка, похожая на утренний птичий щебет. Ромео выскакивает на сцену, бежит туда-сюда... Больше не смотрю, сижу и думаю, только бы не забыл, только бы притащил колготки, мало ли что ударит в его влюбленную голову... И тут я услышала все сразу: тети-Галин шепот, ее всхлипывание, шуршание ног по лестничке, по которой он поднимается в темноте, неловко растопырив руки, как по канату. Стоит и боится надеть шума. Мои-то глаза привыкли. Глядит и не видит: я в черном плаще в темноте. Сижу и слушаю *ту* музыку: сиреневые пары, касаются кончиками пальцев — в пустоте.

Он уже разглядел, идет на цыпочках, балансирует, специально, клоун. «Ну?» — я спрашиваю. «Сейчас, — он отвечает торопливо, — отвернись». Электрическое пощелкивание, искрометные колготки, огни Эльма, тощие реи. «Вот», — он сует — комком. Они ужасно теплые, влажные от его влюбленной теплоты. Я выворачиваю и вешаю на руку, качаю, пусть они остынут. «Ты видела?» — «Твой отец там?» — я спрашиваю сама не знаю зачем, машинально, что мне его отец. Но эти колготки — все еще не остывают. «Отвернись», — я снова говорю машинально, в этой-то темноте. «Это ты делала Элинора?» Я молчу и натягиваю остывшие. Его шепот срывается в голос. Неангельская музыка кончилась. Теперь они ос-

тановились — эти *не ангелы*. «Мой отец уехал в другой город», — если бы он назвал город, было бы — в командировку, но он сказал «в другой». Уехал от него как от крошки Цахеса. Он поворачивается ко мне, смотрит на меня, хотя я еще не сказала — можно. Я молчу и молчу, про мое позорное падение, про то, как я упала на колени с грохотом, а она смеялась надо мной, потому что я упала так, как падают рабы, а должна была — как свободные, мне надо сказать, но я молчу, потому что это из-за него я присидела здесь с голыми ногами. Я жму и жму апельсин, еще чуть-чуть — и брызнет желтым. Все остыло, сейчас объявят Элинор. Ирка уже объявляет. По-английски, то, что будет по-русски, словно их родной — уже английский. Быстрые шаги по лестнице: «Давай плащ». Нагибаюсь и кладу апельсин на пол. Спускаюсь по лесенке, встаю рядом с тетей Галей. Она не смеет всхлипнуть. Лунная полоса с галереи. Что-то в моем горле — неладное, чужое: оно привыкло по-английски. Русский подступает. Сам ты — Цахес. Ленка ведет королеву.

Королева Британии тяжко больна,  
дни и ночи ее сочтены.  
И прислать исповедников просит она  
из родной из французской страны.

Я стою и слушаю начало, но слышу тишину. Это — другая тишина, не так, как на Ромео. Это такая тишина, как у иностранцев, когда мы играем для них по-английски, потому что иностранцы слышат *каждое* слово. Теперь они тоже иностранцы — теперь мы тоже играем *на их языке*. «Господи», — за спиной шепчет тетя Галя. В первый раз она понимает каждое слово. Я отбрасываю занавеску, рывком, как плащ, иду наперерез по лунному свету, блеснув белым подбоем, преклоняю колено перед королем. Мы надеваем плащи, крестимся на высокие пустые окна. У короля распятие, он прячет под



плащ. Ее лицо бледное, белее бязи, говорит, почти не разжимая, не глядя на нас, подступивших. Спасает душу ценой моей смерти. Матап застыла в ужасе, слушает прикованно. Я понимаю ее: это же школа, разве можно — про *такие* грехи. Я смотрю, как он сбрасывает капюшон и плащ. Матап спасена. Плащ — вниз — черным комком, холодным, как черное — с ее души. Швыряет распятые. Он должен был себе под ноги, но рука срывается, размахивается широко, как кинжалом, я вижу — летит в зал, как нож, и оттуда, из зала — короткий *настоящий* крик, и мгновенно — тишина. В тишине я падаю, тихо, как она учила, падаю, как распятие, которое должно было — под ноги, как свободный человек, спасенный от смерти.

Если б клятвой вчера я себя не связал,  
Ты бы нынче висел на столбе.

Свет. Оно плывет, возвращается к нам: его передают по рядам. Они хлопают, как иностранцы, потому что поняли дословно — в первый раз за три года. Ф. встает, быстро и легко. При свете я вижу ее лицо — острое и уставшее. Она выходит из зала. За нею идем мы, а они все сидят и смотрят, как мы выходим гуськом. Сначала элиновские, потом генриховские, потом танец, потом виндзорские в своих ошибочных платьях, потом А.Н. в кружевах. Все, кроме Ромео и Джульетты. Джульетта — на галерее, Ромео... Тьфу, мне же надо обратно, продираясь сквозь всех. Открыты одни двери, не войдешь, пока они все не выйдут. Стою перед дверью, как нищенка, в своем куцем плаще. С каждым из них я встречаюсь глазами. Стою и отбрасываю: одного за другим. Наконец — пусто. Поток иссяк. Пустая бочка моей славы последнего Дня театра, черной как деготь, сыгранной мною по-русски. Я подхожу к занавеске, за которой стояла. Поднимаю за край. Тетя Галя сидит перед мойкой. У нее распаренное лицо. «Господи,

я так плакала — на Федю. И ты — молодец!» — она оборачивается ко мне с похвалой. Раньше она бы не посмела, не посмела бы хвалить. Теперь она улыбается, говорит, надо же, какая история, и эта королева-изменница...

Я иду по лесенке, не боясь наделать шума. На кухне гром посуды — кухонные возвращаются к делам. Он сидит за сценой и ест апельсин, выедаёт мякоть — до корки. «Здорово получилось, это ты придумала — со светом?» — «Само». — «Здорово, что вы — по-русски. Я бы тоже лучше по-русски, чтобы все поняли...» Раньше — они для нас, теперь — мы для них. Все дело в языке, их язык сделал меня их — кухонной — костью. Я подаю ему плащ и ухожу, не дожидаясь, пока он догрызет.

«В следующий раз надо аккуратнее». Я сижу напротив нее и думаю о том, что следующего раза не будет, иностранцам-то не покажешь... «Так можно и поранить, поранить по-настоящему», — она говорит жестко. Говорит, надо же, как странно, от вашей Элинор я получила удовольствие. Это трудно, когда все знаешь, до взгляда, до жеста, это очень редко, в Ричарде не было ни разу, в твоих сонетах — два раза, когда забываешь все, что видела раньше. А потом вы заканчиваете школу, уходите и стареете. Нельзя начинать Шекспира с первоклассниками, да и с вами — нельзя. Говорит, если бы у меня был свой театр, я взяла бы одну тебя... и Софу. Когда я сижу напротив нее, я больше не знаю, что такое ненависть. Все, только что бывшее со мною, уходит не оборачиваясь, как Наденька за своей матерью. Мы одни: все дети ушли за своими родителями, все взрослые состарились — в свой черед. Мне, отказавшейся, некуда.

«Я давно хочу «Идиота». Ты — Настасья Филипповна, Андрей Николаевич — Рогожин. Деньги — в камине, ты помнишь эту сцену? Нет князя. Может быть, Федя... — она морщится, едва заметно, словно стирает тень. — Или Саша Решетин... Ты видела, как он смотрел в «Генрихе», этот его

взгляд? Никто не заметил, кроме меня. Все смотрят на другое. Даже — ты». Она не боится по-русски, значит — все неправда, все, чего я боюсь. Она справится, сладит с этим пустым и страшным, что проступает за *ним*, за ясными каждому русскими словами, с тем, что выходит мне навстречу из школьной кухонной мойки. Она смотрит мимо меня, и я решаюсь: «Но мы могли бы... — ее взгляд собирается, как будто я — гонец, но она не знает какой, — и потом, и после школы».

«Институты, свои дела, семья, дети. Ты сама не знаешь, о чем говоришь», — она усмехается, я вижу, у нее нет сил. Она говорит спокойно. У нее нет сомнения. Это — как смерть. Наша будущая жизнь — как смерть. Я молчу. У меня нет доказательств. Разве можно иметь доказательства того, что еще не случилось? Что я могла тогда? Это теперь, когда прошло столько лет... Неужели уже тогда я смогла расслышать: что-то накопилось в моем родном языке к нашему с нею настоящему времени, теперь давно прошедшему? В языке, в котором нет и не было давно прошедшего времени. Расслышать то страшное, что уже нельзя было изгнать из него, вышибить клин клином.

По дороге домой мы с Ирккой успевали посплетничать. Наша учительница по пению перекрашивает волосы чуть ли не каждую четверть. А Марина Ивановна мажет губы краснящей помадой и вытравливает волосы. Она — учительница продленного дня, но это — не главное. Главное, она организовала политический клуб «Поиск». На самом деле это никакая не политика, а если и политика, то столетней давности, как сама Марина. Она разыскивает ветеранов, которые вместе с ней воевали на фортах «Красная горка» и «Серая лошадь». Марина выкапывает их, откуда может, пишет письма, делает запросы, переписывается с родственниками. Некоторые откопанные являются лично, и мы слушаем их воспоминания. Их послушать, *там* они только и делали, что думали, причем, что характерно, о нас — о своем светлом будущем. Мой отец

тоже воевал — под Москвой и под Курском. Он не рассказывает, однажды сказал, что его рвало в кустах после первого рукопашного: сказал, нож в руке, а под ножом хруст мягкого... Представляю, что стало бы с Мариной, если бы он об этом — в классе. А по мне так лучше уж об этом, чем про светлое будущее, говорит Ирка. Марина и сама любит рассказывать, но не про будущее, а про свое светлое прошлое, которое для нее — война. Ирка говорит, дай ей волю, она бы туда и сама вернулась, и перетащила бы всех нас. Иногда она прямо-таки впадает в транс и начинает разыгрывать сцены в лицах. Форменный Шекспировский театр. Тьфу, диалоги с того света. А мы все это слушаем, сидим, как ветераны в окопах, и мечтаем о *нашем* светлом будущем, до которого еще минут двадцать, а они знай беседуют с лейтенантом, как будто он здесь, а Марина не состарилась... Я говорю, губы как у вампира. А Ирка говорит, что Марина приводит свою форму в соответствие с содержанием — соцреализм. Б.Г. Марине не перечит. Где бы он нашел еще одну такую энтузиастку, чтобы подняла политическую работу.

Тут я рассказала Ирке, что видела: после Дня Победы Марина плакала. Они все разошлись, и наши, и ветераны. И не где-нибудь, а у Ф. в кабинете. Я — за физкультурным мешком, забыла под партой. А Марина сидит за партой, все лицо в красном, в этой ее жуткой помаде, а она еще трет, а Ф. обнимает ее, утешает как Софку, помнишь, как Софка плакала после Дня театра. Кошмар, сказала Ирка.

Она утешала их обеих: юную красавицу Джульетту, убранную в белый атлас и жемчуга, и старую красногубую мымру, похожую не то на вампиришу, не то на клоуншу. Я слышу, как Ирка поправляет: клоунессу. Ну хорошо, но все равно она утешала их одинаково, шептала, поглаживая по плечам. Два диалога, но не малышовые, а как положено, в косвенной речи. Что может быть косвеннее, чем беззвучный шепот... Разве она могла *не пожалеть*, не поверить слезам, если Мари-

на Ивановна — плакавшая как Софка, как юная красавица с бледными губами, — возлюбленная лейтенанта, умерла на следующий же год, в День Победы, подпирая стенку физкультурного зала, так просто, что сначала никто не поверил, все решили, что ей душно... Вот она стоит, сияя красной клоунской улыбкой на неразмазанных губах, а потом падает на пол и умирает.

Никто из нас не был на Марининых похоронах. Потому что это был уже другой, следующий год, когда случилась наша страшная и отвратительная история. Наверное, пришли ветераны. Я не хочу слышать их слов: я-то знаю, говорить они *не умеют*. Будь моя воля, я послушала бы других: например, Меркуцио. Пускай бы он пришел, живой и здоровый, и заговорил по-русски, но так, как он один умел говорить, о королеве Маб, об этой безумной колдунье, ведающей жизнью. Пусть бы он привел доказательства своей прозорливости: вот, смотрите, два года назад я предупреждал, чем все кончится, и год назад, и месяц... Но вы же не понимаете, когда вам говорят на вашем — родном. Никто не поверил бы ему, приведи он хоть сто доказательств. Они поняли бы его дословно, как понимали мы, когда Марина несла свою несусветную чушь — про наших отцов, про ее лейтенанта. Мы понимали ее дословно и хихикали в спину, потому что родной язык — злая штука. На родном понимают сразу, а значит — не понимают главного. Если понимаешь сразу, значит, это — не главное, но оно будет застать тебе глаза, и тогда, может случиться, ты уже никогда не поймешь... То, что *стóбит* понимания, играет на чужом языке, который учат всю жизнь — и слова, и грамматику, и времена, — потому что оно *так* играет. И когда оно играет, нельзя, невозможно ошибиться, потому что бегут мурашки по коже, и ты забываешь все, что было раньше. А потом оно уходит, но остаются свидетели: она и я. Если бы я могла понять это тогда, я пробралась бы на ее похороны, чтобы,

пройдя сквозь лейтенантов, удостовериться: ее губы выкрашены *тем же цветом, каким она красила их сама*. Красный цвет — единственная воля покойной. И посмей они не накрасить!

## Скверна

Вера Федоровна — классная 9 «а». С этим фактом она никак не хочет смириться: говорит, лучше бы я — у вас. Каждый урок истории начинается с ее жалоб. Мы — продажные орбитры, всегда на ее стороне. У Веры Федоровны потрясающая фамилия — Шереметева, как дворец. Ее дочка старше нас на два года. Теперь работает секретаршей Матап и ходит по школе с огромным животом. Хотя замуж-то вышла Вера Федоровна, да еще сменила фамилию — на Быкову. Ее «ашки» для нее — красная тряпка. «Ну, как прошел классный час?» — проникновенно интересуется Славик. Вера Федоровна бросается мгновенно: «Половина не явилась. У них, видите ли, завтра контрольная по физике. Им наплевать, что Верочка ждала их два урока». Задние раскладывают физику — у нас послезавтра. Долетают обрывки: «И тогда я сказала себе, дура ты, Верка!..»

Ленка Бланк поменяла фамилию — взяла фамилию матери, Барашкова. Ее отец Бланк давно умер, а раньше был директором какого-то магазина, поэтому им и дали такую квартиру. Ленка говорит, что когда он умер, она была еще совсем маленькая, а вырастила ее бабушка — Барашкова. Конечно, мы все понимаем, почему она сменила, но никто не смеется, то есть все смеются, но не над причиной, а над тем, *что* было и *что* стало. Как Шереметева на Быкову. Ф. не смеется. Подняла бровь, когда услышала новую фамилию, переспросила: «Неужели Барашкова?» Ирка сказала, что ненавидит, из этой страны надо валить, лучше рано. Про Ленку не упомина-

ет, но я-то знаю, о чем она... Еще она сказала, что бьют по морде, а не по паспорту.

Ирка разговаривала с Ф. Долго. Сказала, что в этой стране у нее нет будущего, никаких перспектив. Ф. слушала, потом обняла и поцеловала. А потом задала один-единственный вопрос: «Кто-нибудь в нашей школе?..» И Ирка честно ответила: нет. Представляю, говорю я, что было бы с *этим кем-нибудь!* Да уж, говорит Ирка, вот уж кому не позавидуешь! Теперь Ирка ходит к Ф. в кабинет, и они разговаривают. Ирка выходит красная и счастливая. Это — Иркино счастье. Мне она больше не рассказывает.

А потом я кое-что заметила: Ф. разговаривает с Федей. Взял моду приходить к ней в кабинет после уроков, когда нет репетиций. Я видела сама: стучится, стоит у притолоки, колыхается всем тощим туловищем, смотрит преданными глазами. А у нее глаза непонятные: пустые и большие. Я по глазам поняла — не репетиция. Разговаривали долго. Я специально ждала. Потом он приходил еще. Этого я уже не видела. Я просто заметила: смотрит на меня — победителем. Мы обсудили с Ирккой, ее это тоже злит. Она говорит, что однажды зашла и — разговаривают. Ф. сидит за своим столом, Федык напротив, за нашей партией. Федык красный, мямлил, шевелил руками, как паук, а у Ф. лицо... «Какое?» — «Ну, не знаю, страдальческое». Я не могу понять, почему она слушает его, а потом Ирка говорит, у него же нет матери, живет с бабушкой и дедушкой, ну с теми, которые про Солженицына.

Мы столкнулись в дверях. Я-то пришла на репетицию, она сама назначила мне на пять. Он вылетел мне навстречу: глаза горят, пальцы шевелятся, как у идиота. Снова глянул — победителем. Я вошла и закрыла. Она сидела за моей партией и смотрела в окно. Окно было черным и совершенно пустым — занавески сняли стирать. Оно было голым. За окном темень непроглядная. Она сидела вполоборота, не глядя на меня, смотрела в эту темень. Зудел свет: белые, люминисцентные лам-

пы по всему потолку. Ноют, как мухи, висят, растопырив крылья. Она сидела под ними недвижно: оболочка, высохшая и пустая. Тогда, стоя у притолоки, я подумала: «Высосал».

Зудящий мушиный свет лился на ее пальцы. Они ожили первыми, я видела, как они вздрогнули. Она обернулась ко мне, не узнавая. На меня нашло странное, холод по щиколоткам, потому что лицо, повернутое ко мне, не было ее лицом. В глазах стояла темень, как за окнами, зияющая пустота. Как будто сейчас, на моих глазах она возвращалась из такого места, в котором нельзя оставаться... Она встала и пошла к проигрывателю. Игла лизнула шершаво, как собака, вылизала дрожь ее пальцев.

Devouring Time, blunt thou the lion's paws,  
And make he earth devour her own sweet brood,  
Pluck the keen teeth from the fierce tiger's jaws  
And burn...\*

Страшный и тихий, нежный и безысходный, безжалостный и великодушный, ровный, как каменная кладка, волнистый, как песок пустыни, горячий и непроглядный, невыразимый и исполненный безоглядных слов, незримый и плотный, как воздух, — ее последний цикл о том, против кого она с рождения и до самой смерти стояла один на один, как стена под тяжким прибоем, как цветок — под плугом. Ее последний цикл о Времени, самый длинный, в пять сонетов, под «Вокализ» Рахманинова, который она, возвратившись, отдавала мне из рук в руки, из горла в горло. Я читала его десятки раз, и в по-

---

\* Ты притупи, о время, когти льва.

Клыки из пасти леопарда рви,

В прах обрати земные существа

И (феникса) сожги... (в его крови).

(В. Шекспир. Сонет 19. Пер. С. Маршак)



следний — когда вернулась, проводив ее тело, и судорога, тогда сводившая ее пальцы, добралась до моего горла, и захлебнулась, и забулькала *этими* словами.

Ровный, как ее голос, безутешный, как моя — оставшаяся — жизнь, точный, как капля над камнем, точеный, как зубы, выгрызающие сердцевины, шершавый, как языки собак, лижущих руки, прозрачный, как пот, покрывающий лбы, любовный, как тайна, скрытая перед лицом смерти. Я больше не слышала слов, они были ватными и скрипучими, неосязаемыми, как тяжесть земли, как шуршание травы, прорастающей насквозь, как солнечная слепота — белее снега. Слова были бесчувственными, как уколы, которые делают во сне, потому что, начиная с этого мига, я уже могла без слов. Язык моего детства бежал от меня, крутясь на бегу, как щенок, и что-то другое втекало в пустую полость, жгучее, как свинец, гулкое, как уханье совы. Оно было текучим, как сметанное тесто, сочилось, как нить в игольное ушко. Я сама становилась жидкой и текучей, и в этой безъязыкой легкости мне оставалось одно, последнее усилие, чтобы понять: и я сделала его. Я посмела закрыть глаза и сползти вниз — по притолке. Я очнулась сразу. Она клонила надо мной. Ее пальцы нежно прорастали сквозь мой затылок. Я испугалась, что она поймет: я опять не ела и сама посмела упасть. Но из ее узких глаз лилась одна спокойная любовь, и я поднялась и села за парту.

Она села рядом со мной и заговорила как ни в чем ни бывало. Она сказала, что пригласила на князя *того* Ричарда, который давным-давно закончил школу, но она все-таки позвонила ему. Мы начнем репетиции через месяц — он специально возьмет отпуск, а потом будем доводить по воскресеньям. «Андрей Николаевич станет великолепным Рогожиным, знаешь, оказывается, его мать из купеческой семьи, и это — заметно, посмотри на его пальцы, видела? Если бы я могла, — она подбоченилась, смеясь над своим неподходящим телом, — я бы сама сыграла князя. Андрей Николаевич — совершенно готовый

Рогожин, хоть сейчас беги в аптеку за ждановской жидкостью. Говорит, люблю, когда полна мошна, но если надо — может и выложить. Самое трудное — князь. Свет из глаз...» Она говорит, фиолетовое платье с кружевами. Волосы забраны, оттянуты от висков, будто всегда болит голова. Они все будут превозмогать: князь — жалость, Рогожин — кровь. Ты будешь блистательно красива, чтобы Рогожин боялся тебя и ярился, как бык, а князь догорал, как свеча, чтобы гости смотрели на тебя с ужасом, чтобы ужас жужжал над тобой, чтобы гости глушили ужас гадкими, подлыми словами, чтобы судили тебя по себе, потому что не знают *другого*, — уж я позабочусь!» Я сижу и слушаю, не помня себя, потому что сейчас она забыла о времени. И А.Н., и *тот* Ричард — они никакие не школьники, но они — другие взрослые, не те, которые состарились. Значит, все-таки можно и потом, *после*... Если *оно* не сумело взять власть над ними, значит — не сумеет и надо мной.

Наши выступления шли чередой, но «Элино́р» мы больше не играли. Просто не было случая: то иностранцы, то «городские» гости, которым не очень-то покажешь про *такие* грехи, то круизные корабли, по осени заходившие в порт. В ноябре мы выступили в Макаровском училище. Понятия не имею, как они узнали о нас, но замполит училища позвонил Б.Г. и пригласил выступить, именно по-английски. Может быть, хотел, чтобы будущие торговые моряки послушали английский живьем. Ф. с нами не ездила. Поехали «Ричард» и «Виндзорские». Курсанты встречали нас во дворе. Нам отвели две комнаты. Буфетчица стучалась и предлагала кофе или чай. На «Виндзорских» смеялись не хуже наших, на «Ричарде» стояла строевая тишина. После выступления начальник училища поблагодарил нас лично. После перерыва объявили танцы. Нам хотелось уехать, но курсанты упрашивали настойчиво, и мы остались. Городских девушек пришло много, но нас приглашали наперебой. Курсанты держали спины и смотрели на нас робко. Мимо ходили офицеры, суровые, как патруль.

В начале декабря нас пригласили принять участие в городском конкурсе самодеятельных театральных коллективов. Отборочный тур проходил в театре Ленсовета. Ф. выбрала «Ромео и Джульетту» и второй танец. На отборочный зрителей не допускали. В зале заседала комиссия, человек десять. Ирка сказала, похожи на наших районских гостей. Их главная благодарила в микрофон и объявляла следующий коллектив и фамилию руководителя. Исполнители выходили безымянными. «Как крепостные», — съехидничал Федька. Наши прошли отбор без сучка и задоринки. Второй тур проходил в Большом зале консерватории. Б.Г. сказал, что мы все можем прийти. Мы явились заранее и заняли целый ряд. Жюри — девять человек во втором ряду. Зрители, в основном старшеклассники, рассаживались тесными группами. Ф. осталась за кулисами. Софку запустили в директорскую ложу заранее. Мы сидели, терпеливо пережидая номера. Узбекский танец, девочки в шароварах с корзинками винограда; волк и семеро козлят: крупные козлята в юбочках сотрясали сцену. Тимур и его команда, за ними гопак в красных штанах. Энтузиазм зрителей определялся тем, кто выступает: своим аплодировали от души.

Объявили танец. Снова название коллектива и фамилия руководителя: через микрофон имя и фамилия Ф. звучали как чужие. Девочки оттанцевали и раскланялись. Красные пятна на Иркиных щеках. Потом объявили «Ромео». На этот раз фамилии назвали. Софкины жемчуга взошли на балконе. Федька выскочил на сцену — в моих колготках. Музыка, похожая на птичий щебет. Стихла. Начали. Он успел всего несколько слов, ровно столько, чтобы они поняли, что не понимают. Он закипал за нашими спинами — их веселый шум. Поднялся до небес, заплескался неудержимым хохотом и визгом, едва Софка заговорила, нежно клонясь с балкона. За нашими спинами они выли и хохотали как умалишенные. Их хохот катился вмятыми, судорожными волнами, то нарастая, то затихая, как тяжелый приступ. На откатах мы различали сло-

ва, летящие со сцены, но эти слова, обесчещенные хохотом, уже не имели смысла — бессмысленные, опозоренные звуки. Хохот, стихавший в одном ряду, вспыхивал в другом, как чума. Белые лица Ромео и Джульетты, забывшие о любви, словно никогда не бывало, — только страх и трепет, отвратительный рыбий трепет колышущегося зала. Кончилось. Белая тень Джульетты ушла в глубину. Отхохотав, они аплодировали с покаянным энтузиазмом. Мы поднимались под хлопки.

Софка рыдала, уткнувшись Ф. в колени. Федя стоял рядом, ломая губы: первый раз в своей жизни я видела лицо обесчещенного человека. Ф. шептала над Софкой, заговаривая позор, как боль. Мы стояли, сбившись в овечью кучу. Ф. подняла на нас глаза. Она смотрела на нашу стайку, и остатки нежности, шептавшей над Софкой, уходили из ее взгляда. Глаза становились пустыми, непроглядными, как тьма. Зудящий стыд глядел ей навстречу нашими глазами: мы вернулись из того места, откуда стыдно возвращаться. Мы *были* в этом зале и, вернувшись, принесли на себе его скверну. Пустая тьма налилась каменным высокомерием: она махнула рукой, изгоняя нас.

Если бы меня спросили сейчас прямо: когда *это* началось, то, что случилось потом со всеми нами, я бы сказала — давно, раньше, задолго... Я перебирала бы все с самого начала, сбиваясь с одного на другое... Но они, если бы они наседали снова и снова: нет, все-таки когда, когда оно стало необратимым? И я сказала бы: там и тогда, в том скверном зале, в тот самый миг, когда раздался их подлый, бессмысленный хохот, их рыбье колыханье.

## Оборотни

После того зала, в котором мы оказались и из которого **вы** шли навстречу ее пустым глазам, все пошло очень быстро, быстрее, чем можно себе представить, словно время, которое

она держала своими силами, одним своим храбрым и стойким присутствием, понеслось вскачь, неудержимо стремясь к победе, в которой — начиная с того зала — оно уже не сомневалось. Время завертелось на языках, заговорило всеми голосами. Через несколько дней Ф. вызвала нас с Софкой и предложила самим подготовить сцену из «Двенадцатой ночи». Шесть девушек из свиты Оливии дурачат простодушную Виолу. Тут же, отложив в сторону исписанные ее рукой листки, она показала нам, как это должно выглядеть: «Каждый раз, когда ты склоняешься в поклоне, ты видишь одно лицо, поднимаясь — другое. Это надо разыграть четко: очередная девица выступает вперед, но тут же отступает. На ее место — другая». Подобранные восьмиклассницы были переданы мне из рук в руки с приказом — слушаться. После уроков мы репетировали с Софкой. К Ф. я ходила одна: мы готовили Рахманинова. О Настасье Филипповне Ф. больше не заговаривала. По ночам, дождавшись, когда все уснут, я читала «Идиота», все еще надеясь. В ее кабинет Федька больше не ходил. О том, что он что-то репетирует сам, я узнала от Барашковой. Мы сидели у нее дома, обсуждая последний открытый урок. Их снова принесло на домашнее чтение. На этот раз, предваряя их появление, Ф. запретила нам переводить синхронно. Урок был особенно веселым. Ф. шутила искрометно, мы хохотали. Гости хихикали, делая вид, что понимают английские шутки.

«Ладно тебе! — сказала Ленка. — Тетеньки и по-русски-то со словарем. Не могу не сказать слова благодарности за полученное... всеми нами...» — в Ленкином исполнении собирательный образ выходил замечательно. «Кстати, а ты знаешь, что Федька репетирует? Вообще не знаешь? С ним Лариска, Ленка-Элинора, Светка, мальчишки из «а». — «Ф. знает?» — первое, что я спросила. «Да вроде нет, он сказал, готовят сюрприз. Тетя Галя дала ему ключ от зала». Потом мы обсудили новогодний торт: Ольга придумала, такой приземистый ко-

нус из беже, все промазать кремом. Завтра пойдем к ней: Галка, Ирка и я. Надо эмалированный поднос и кремосбивалки.

На торт собралась уйма народа, даже Валерия Павловна, пробегавшая мимо. Ф. не пришла. Поднос с остатками торта мы снесли в холодильник к тете Гале. За подносом я пошла через два дня, после маминого напоминания. Столовая дверь была заперта. Я прислушалась и постучала. Придушенные голоса, шорох... «Кто там?» Я назвалась. Дверь распахнулась. Федька отступил на шаг, впуская. Девчонки сидели, свесив ноги со сцены, мальчишки стояли у окна. Увидев меня, вытащили спрятанные за спины сигареты. Могли бы и не прятать: сизый дым мотался в воздухе кольцами. «Мы репетируем, это пьеса одного американца, настоящая современная пьеса», — прерывая затянувшееся молчание, Федька заговорил торопливо. «Мне — за подносом», — я смотрела то на него, то на дымные струйки, вившиеся из пальцев. Он взмахнул руками, словно силился взлететь: «Понимаешь, это интересно, настоящая современная пьеса, *наши* проблемы, *естественные...*» Он выдохся и замолчал. «Зря ты — это». Я не успела понять кто. «Она же — *ее...*» Теперь я успела: «Ну?» — я спросила, обернувшись на голос. Все молчали. Что-то странное проступало в их лицах, словно это были не они — другие, которых я знала раньше, но силилась забыть. Они смотрели на меня и ждали неизбежного, непоправимого, похожего на мой позор. «Ну?» — я спросила снова. Они не посмели: *ее* холуйка, рабыня, прислужница, прихвостень, подпевала. Они просто стояли и смотрели, но эти слова, которые они не произнесли, глядели на меня из их глаз, а я стояла перед ними: убогое голоногое существо, одетое в чулки на резинках, знать не знающее ни о каких колготках, потому что в этот миг они снова чувствовали себя «высшими», а я была тем, кем — всегда. Не было ни театра, ни «Ричарда», ни сонетов. Не было ни Ф., ни моей новой жизни — все оставалось как отродясь, на своих *естественных* местах. Они содрали

с меня все, как колготки. Федька дернул плечом. На самое короткое мгновение его губы сломались, как тогда, когда он стоял над рыдающей Софьей. Я видела, в этот миг он не хотел моего позора, он все еще хотел — миром. Синеватые дымные струйки тянулись к моему горлу. Я закашлялась и, зажав рот руками, пошла к тети-Галиной стойке, за которой лежал мой поднос. Я взяла его и прижала к туловищу, как будто, защищаясь, закрывала от них живот...

Они шли мне навстречу: Ф. и А.Н. Он вел ее под локоть. Ее лицо было белым. Никогда я не видела *такого* белого лица. Я прижала поднос, как щит. Они прошли мимо, не взглянув. «Сейчас, — А.Н. говорил торопливо, — я поймаю машину, на площади...» — он бормотал. «Не беспокойтесь, — она отвечала тихо, — я вполне в состоянии...» Я кинулась в раздевалку и, повязываясь платком на ходу, бросилась следом. Догнала у площади. А.Н. помогал ей сесть в машину. Потом втиснулся сам — на переднее. Ф. скользнула пустым взглядом. Портфель выпал из руки. Под высоким фонарем плясали снежинки и падали на синюю эмаль. Я стояла, выставив свой поднос — как просила милостыню. Небо подавало снегом. Холодный металл жег голые пальцы. Белые, чужие, неузнаваемые лица кружили над площадью. Пятна темнеющих облаков неслись к Театральной вслед за машиной. На изъезженной брусьчатке следы чужих машин лежали внахлест. Она не звала меня, скользнула равнодушным, законным взглядом. Ее голос услышала у самого дома: она позвала.

Ф. открыла и кивнула, впуская: ни удивления, ни радости. «Мне показалось, я слышала — вы звали меня». В просвете комнатной двери замаячил А.Н. Восхищенное удивление воссияло на его лице. Я стягивала сапоги, топчась в грязноватых подтеках, которые принесла в ее дом на своих ногах. Она взяла меня за руку, ввела в комнату и вышла, прикрыв. В коридоре они заговорили вполголоса. Входная дверь хлопнула. Он ушел, оставляя *на меня*. На кухне зашумела вода. Она вошла

с чайником. Я взялась за горячее: на этот раз она налила мне в пиалу. Широкая стеклянная тарелка заливала стены ровным светом — ни одного темного угла. «Ты знала?» Вкус зеленого чая стоял в горле горьковатым. Горький ужас изгнания поднимался из живота. Пустое пространство моего прошлого растилалось меж мною и ею. На этом пространстве, испечатанном чужими ногами, не было ни одного моего следа. Сейчас я должна была сделать первый, и от этого шага... «Я узнала вчера. Сегодня я была в зале. Он сказал, что — пьеса, американская, из нашего времени...» Я торопилась заполнить пустое, но она перебила. «Из *нашего*?» — она заговорила угрожающе. Федькино слово, произнесенное ее устами, оборачивалось страшным. «...рассчитал великолепно», — она начала с полуслова. Пустое пространство съеживалось, заполняясь моей прожитой жизнью. Из-под чужих следов, испечатавших их время, медленно проступало *мое*.

«...за моей спиной, в моем фарватере. Знал, что они не посмеют тронуть его, а если и посмеют — я стану защищать. Он показал бы эту мерзость, они вышли бы вслед за нами, а Б.Г. ринулся бы ко мне, и, в отличие от тебя, я бы ответила — да. — Она усмехнулась с отвращением. — А уж потом, после состоявшейся защиты, я положила бы заявление на стол, потому что, даже не найдя против меня ни одного аргумента, Б.Г. понял бы все и подписал бы мою бумажку, потому что мы оба не смогли бы дальше как ни в чем не бывало». Она замолчала, подняла к губам свою чашку и глотнула.

«Вчера я вызвала Федю и потребовала — показать, — щечка дернулась брезгливо. — Выворачивался, как змея под вилами. Если он желает свободы...» — она поднялась. В темноте раздернутого окна гасли ее волосы — тускнеющим золотом. Она заговорила, не оборачиваясь: «Я понимала, что *это* будет плохо — откуда взяться? Сам он ничего не умеет. Я же с ним — до потери голоса... — ее потерянный голос стал хрипловатым. — Этой пьесе место в кабаке, не из самых взыска-



тельных. Она — на потребу. *It's about...\**» — она запнулась. Если бы она начала по-русски, она бы выговорила до конца, но теперь, не сумев выговорить, она не пожелала переводить себя — из гордости. Она отпустила подоконник и вернулась.

«Я отсмотрела. До тех пор, пока я нахожусь в школе, *это* они не покажут. Если они считают это настоящей жизнью, если *это* их волнует — пусть волнуются на ближайшей помойке. *Настоящая* жизнь, — она обвела глазами стены, — гаже и мерзостнее того, что он может себе вообразить, но уж если бы... я показала бы ему, *как это надо ставить*, чтобы у всех потекли жирные слюни... Будь он взрослым, — она заговорила звонким, неверным, не своим голосом, — я набила бы ему морду». Теперь она говорила своим, как будто, примерив на себя *тех и других*, дошла до слов автора: «Когда этот ребенок вырастет, лет через пятнадцать, он сумеет вывалить из себя все, что в нем накопилось, чтобы все захлебнулись в блевотине. Дети — страшные существа», — она замолчала и сделала глоток, держа руку на отлете. Оставляя *всех* детей, она уходила и от меня. Она снова замолчала, но слова, которые она произнесла неузнаваемым голосом, кружили надо мной — страшные и чужие. Слова влезли в чужую шкуру, обернулись ко мне изнанкой, о которой — до ее ломкого голоса — я не знала. Их изнанка означала другую жизнь, в которой не слышат слова и не протягивают колготки, чтобы — поочередно. Один из нас должен был выйти из-за занавески на свет, с голыми ногами. Он или я.

«Дети — оборотни, — она сказала очень тихо, словно боялась прервать меня. — Их лица бывают прекрасными, так, что щемит сердце, а в следующий миг они оборачиваются, и их обратная сторона — беспросветна, потому что даже дети не начинают с нуля. Я не знаю: может быть, если бы вы достались мне младенцами... Если ты думаешь, что ты — исключе-

---

\* Она про... (англ.).

ние...» Она смотрела на меня новым взглядом: восхищенным и неприязненным, словно я, сидящая перед нею, была *всеми* детьми. У меня не было времени. Время становилось мною, вливалось в меня, заливало мою пустоту: «Я сама. Я сама пойду к Б.Г. и все расскажу». — «Неужели? — она спросила высокомерно. — Как же ты пойдешь, если *уже сейчас* они считают тебя моей...» Я знала, что она сейчас скажет. То, что *они* не посмели произнести: холуйка, рабыня, прислужница, прихвостень, подпевала. Она смотрела на меня их глазами, словно это была наша первая репетиция, и она коротко, но точно проигрывала то, что я должна была *поставить* сама. В этот миг, который длился, я была всеми детьми; но и она была — всеми *ими*. Мы смотрели на пустой стол. На нем лежали листки современной пьесы, пьесы нашего времени, которую я должна была поставить в переводе. «Я знаю, — в первый раз я перебила ее. Моя рука крепко держала листки. — Я пойду не одна, с девочками, мы пойдем вместе». — «Если вы все-таки соберетесь, — она заговорила медленно, как будто обдумывала сцену, — прежде чем войти в кабинет Б.Г., позови меня. Чтобы я была свидетелем», — она смотрела вперед, дальше, чем я могла заглянуть. «Да», — теперь я ответила ясно, как должна была ответить, если бы досталась ей младенцем. Горечь и гордость проросли в моем взрослеющем сердце. «Пойдем, я провожу тебя до остановки», — она подняла глаза на часы, висевшие на стене, словно теперь, услышав мой ясный ответ, засекала время.

Закопная темнота, погасившая рыжеватые волосы, стояла по сторонам тропинки, по которой она меня вела. Бесильный свет дальних, едва горевших окон не достигал дороги. Черные кусты, облитые синеватым инеем, тянулись вдоль. Я шла, стараясь ступать ровно, но нога то и дело соскальзывала — за край. Она шла впереди. Ее ноги ходили по этой тропинке каждый день — взад и вперед: в школу и из школы.

## Остатки торта, который ели все...

К десятому классу нам было не занимать хитрости. Конечно, технический уровень нашего лингафонного кабинета был далек от совершенства, но и мы изрядно наловчились. По едва заметным шорохам и далекому пощелкиванию мы умели определять момент подключения. В те, наши времена — умение нелишнее. Уловив, прослушиваемый вещал вдохновеннее, остальные впадали в слегка расслабленное бормотание. Мы навали как всегда, близко к тексту. Иркин голос, стертый наушниками, вступал в нужных местах. Голоса, падавшие на мембрану, становились жухлыми. Живыми были только часы, висевшие на стене перед моими глазами. Ф. не смотрела на меня, не взглянула ни разу. Она смотрела вперед, выше нашей парты, как будто между ее глазами и целью лежало пустое пространство — ничейная земля. Нанизывая пустые слова, я следила украдкой. Со стороны — из моей ничейной полосы — могло показаться, что она прислушивается к одной из пар. За это говорили ее глаза: в них стояла сосредоточенная пустота, с которой она всегда слушала наши ответы. Но брови, сведенные на переносице, наполняли пустоту ожиданием: ее напряженное ожидание относилось к другому. Другое бежало в ней, как огонек по бикфордову шнуру. Скорее машинально я оглядела быстрым взглядом. Нас было восемь человек, четыре пары. Никто — ни одна из пар — не выказывал вдохновенного усердия. *Подключения* не было. Мы все вещали в пустоту. Диалог закончился. В таких случаях полагалось начинать сызнава, поменявшись ролями. «Ты на физру идешь?» — Ирка спросила, стараясь не шевелить русскими губами. Какая-то мысль, которую я не успела поймать, шевельнулась в моих наушниках.

Один раз в месяц девочкам разрешалось пропустить. Раньше Нина Ивановна настаивала на том, чтобы освобожденные переодевались в физкультурные тапочки и сидели

в зале. Мальчики деликатно не смотрели в нашу сторону. К десятому мы предпочитали отсидеться в библиотеке. Надо было только подойти с дневником, чтобы она расписалась на обороте. Своей рукой она ставила число, месяц и подпись. Я прикинула: от *моей* записи не прошло и двух недель. «Нет», — я ответила, теперь уже зная — зачем. Перевернула дневник и вынула бритву. На Иркиных репликах я аккуратно соскребала «1». Мое время было исправлено. Я сдвинула его так, как пожелала.

«А почему ты считаешь, что нам вообще надо вмешиваться? Что, она сама не разберется?» Мы сидели на подоконнике за стеллажом. Елена Ивановна ушла в столовую. Мой рассказ окончился на машине, на том, как отъехали. До этого места я выложила подробно, все, кроме того, как они смотрели на меня. О том, что была у Ф., я не обмолвилась. «Но если мы, — я заговорила горячо, уже чувствуя, что порчу дело, — отсидимся, получится — на их стороне». — «Я знаю одно: ни ты, ни я этой пьесы не видели... — Ирка вынула платок и принялась вытирать пальцы, выпачканные о пыльный подоконник. — А потом, вдруг она скажет, не просила», — Ирка дотерла пальцы. Хлопнула входная дверь. Елена Ивановна, невидная за стеллажами, прошла к своему столу. «Как ты думаешь, если бы ты однажды сказала ей, что *кто-то*, — я выделила так, что Ирка поняла, — *что-нибудь* за твоей спиной... Стала бы она дожидаться?» — стараясь, чтобы Елена Ивановна не слышала, я шипела как змея. Иркины щеки стали красными. Безжалостно я возвращала ее к *тому* разговору, смотрела, как склоняется Иркина голова. «Вдвоем?» — Ирка спросила покорно. «Надо бы еще Барашкову». Ирка вскинулась зло. «Она — староста», — я ответила решительно. Подумав, Ирка приняла довод. Барашкову мы поймали перед биологией. Ирка говорила толково. Творится безобразие, Ленка — как староста — должна что-то сделать, Б.Г. — единственный, кто может разобраться по справедливости. Ленка

слушала вполуха. На ее лице сияла идиотская радость. В первый раз после того случая Ирка заговорила с ней сама.

Мы пришли рано, в полдевятого. Стояли за углом, набираясь храбрости. Ленка сжимала пальцы на груди — замком. Б.Г. листал тетрадь. Мы входили гуськом. Он улыбнулся доброжелательно. От двери, не подходя к столу, я сказала, что разговор касается Феди Александрова, и попросила разрешения позвать Ф. «Конечно», — он кивнул и нахмурился. Ирка обернулась растерянно, взволнованная Ленка не поняла. Я выскочила за дверь. Ф. шла мне навстречу. «Мы пришли поговорить к Борису Григорьевичу, мы бы хотели, чтобы и вы», — громко, словно нас могли слышать. Ф. поморщилась, как на репетиции, когда ввали интонацию, потом кивнула и пошла за мной. Не глядя на Ирку, я встала в строй. Мы стояли плечом к плечу, как на речевке, как будто вышли на нашу сцену и встали под раскрытый занавес.

«Позавчера после уроков я пошла в актальный зал, чтобы взять поднос, на котором были остатки торта, который все ели...» Б.Г. вежливо переждал эпитетическое начало. Эти остатки были совершенно лишними — их незачем было приплетать. «Когда я пришла, они репетировали американскую сцену, Федя, Лена Перова и еще...» Со сцены я обвела взглядом *их всех*, всех, кто смотрел на меня, и перечислила — одного за другим. «Американскую?» — Б.Г. переспросил, сохраняя серьезность. Все было ужасно глупо: мое глупое бессилие. Она сидела за моей спиной. Еще секунда, и она встанет, презирая. «Там было накурено, они все курили». Я видела, как он растерялся. Что-то жалкое проступило в его лице, подобие жалкой улыбки. Он смотрел испуганно и доверчиво. Ирка дернула меня за подол. «Я взяла поднос и ушла, а потом я встретила Андрея Николаевича, и он сказал, что это был просмотр. Он и... — не оборачиваясь, я назвала ее по имени-отчеству, — они смотрели, а потом ей стало плохо, потому что это — безобразная пьеса...» — «Мы просим вас, — я услышала Иркин

голос, — чтобы вы разобрались». — «А сами вы не пробовали поговорить с Федей?» — с Иркиной подачи Б.Г. брал роль справедливого педагога. «Мне кажется, что *нам* разговаривать с Федей бесполезно. Нас он не послушает», — расцепив замок, Ленка вступила ясным и уверенным голосом старосты. Я поймала Иркин взгляд. В нем было презрение. Ирка презирала меня за то, как я говорила. «Ты, ты, давай — ты», — взглядом я молила Ирку о помощи. Что-то мелькнуло на ее губах — змейкой. «Дело в том, — она едва успела начать, но я уже поняла — сделает. — Эту пьесу они собираются показать на Дне театра, там будут гости, и если они покажут, вы... вам...» Она говорила «вы», «вам», но эти слова она обращала к нему одному. Ф. поднялась с места и пошла к двери. Я видела, как Б.Г. смотрел ей вслед. Наверное, в этот миг перед ним прошла вся его жизнь, потому что в следующий, когда он посмотрел на меня, в его глазах стоял ужас — ужас изгнания из школы, который пришел к нему от нас, его любимых детей.

Мы стояли на лестничной площадке. «Зачем ты это — прокурение?» — Ирка сморщилась. «Сама не знаю». Теперь я действительно не знала. Что-то отвратительное, похожее на теплые колготки, прилипло к моим рукам. «Зачем вы вообще... Ей стоит только пальцем...» — Ленка бормотала, глядя на нас. Круглое Ленкино лицо покрывалось испариной: «Может, он хотел свое выразить, — Ленка подобрала слово. — Она же не позволяет ничего *своего*, не дает пикнуть». — «Ты уже однажды пикнула, еще хочешь?» Ленкина испарина выступила каплями: «Но что же мне делать, что же мне теперь, если я так чувствую, чувствую себя русской!» — «Да уж, — сказала Ирка, — можно сказать, осчастливила собою целый русский народ», — она вытерла руки о передник.

Мы отзывали их всех — по одному. Ирка объясняла спокойно: что случилось, как мы рассуждали, какое решение приняли, какой вышел разговор. Иркина память была точной, как магнитофон. К концу дня мы успели переговорить со все-

ми *нашими*. То, что Ф. стало плохо, сражало наповал. Костя сказал, что хорошо бы набить Фedyке морду. Никто не спросил меня, зачем — про курение. Мишка сказал, что Федя совсем оборзел. В общем, нас поддержали. Ирка была права. Никто не усомнился в том, что Б.Г. разберется по справедливости. До Федькиных ушей подробности дошли мгновенно. Б.Г. вызвал Федьку и Ленку. Барашкова видела, как они входили в кабинет. Сновала челноком взад и вперед — от нас к ним и обратно. Об этом знали все, но делились исправно. Барашкова говорила, что держит руку на пульсе. Больше она не ныла. На следующий день Б.Г. посмотрел сцену. После просмотра напрямик направился в кабинет Ф. Барашкова клялась, что пробыл там недолго. Ф. молчала. На уроке она говорила о герундиях. По дороге домой Ирка сказала: кажется, рассосалось.

### Язык материнской ненависти

Скорее всего, Ленка сама рассказала матери. Я так и вижу: сидит в углу, зубы стучат. «Курили?!» — господи, матери было от чего — в ужас: дело к выпускным. «Нет, нет, мы — нет! Они все наврали!» — «Но это же... Они могут — четверку по поведению, ни в один институт!» А может, и не рассказала. Может, позвонил кто-то из родителей. В общем, так или эдак, но на следующий день Перова в школу не пришла.

На звонок я вышла в халате и белом головном платке — после мытья. Она вошла: «Я хочу поговорить с твоей матерью». Мама уже выходила из комнаты — навстречу. Подобрав шубу, Алла Георгиевна села на мой диван и объявила, что хочет разговаривать без меня. Я вышла в другую комнату. Алла Георгиевна заговорила — ясно и громко: из нашей комнаты нам с сестрой было слышно каждое слово. «Я пришла сообщить вам, что ваша дочь и еще две девочки, — их она не назва-

ла, — ходили к Борису Григорьевичу с доносом на мою дочь. Мою дочь оклеветали, сказав, что она курила. Дело приобретает резонанс, который может завершиться четверкой по поведению. Вуз будет закрыт. Конечно, я надеюсь решить с администрацией, Борис Григорьевич — человек разумный. Но раз уж так вышло, возможно, по недомыслию вашей девочки, было бы лучше, если бы она *сама* пошла к Борису Григорьевичу, сама отказалась от своих слов». — «Они избьют тебя смертным боем», — сестра шепнула и поехала.

«Это — трагедия, если девочка вступает в жизнь с доносом на совести. Поймите, еще не поздно помочь им обоим — и вашей дочери, и моей». Мама молчала. «Среди детей *попроще* за такие дела — бьют, но моя дочь и ее друзья...» Я подобралась к двери и прильнула к щели. Мама сидела, опустив глаза. На скулах вскипал румянец. «Конечно, *сама* я против подобных методов, но иногда именно жестокие меры помогают спасти от большей беды, привить нормы интеллигентного поведения». Я встала и вышла к ним. «Вы хотите сказать, что меня надо избить смертным боем?» — я говорила совершенно спокойно, как будто найдя нужное выражение, перевела синхронно с языка ее материнской ненависти. «Я хочу сказать, — с каждым звуком ее голос подымался, — что интеллигентная девочка должна отдавать себе отчет». Что-то споткнулось, как будто выпало главное слово, и теперь, стоя перед ними, я теряла синхронный темп. Ее слова, ровные, как камешки, катались у меня во рту. Они были гладкими и жирными, как будто смазанными чужой слюной. Мама кивала, не подымая глаз. Содрогаясь от неведомого отвращения, я сглотнула жирное. Все вскинулось и поплыло перед моими глазами: оно плыло синхронной строкой, в которой не было ни одного пробела, ни одного забытого мною слова. Ее слова были переводом, но я знала подстрочник. Я узнала его сразу.

«...Ты — урод, не как все дети, эта только ссыт, снимай с себя все обоссанное, нарожают уродов...» Она говорила со



мною на грубом языке моих дневных нянь, но другой, нежный язык, язык моих ночных воспитателей — страха и тоски — поднимался над моей головой: я слышала его шорох. «...Нет у тебя ни матери, ни отца, ни сестер, ни братьев. Вот ты стоишь одна на всей земле...» — снова, как бывало, они ловко выбрали время, чтобы спуститься ко мне на помощь.

«То, что я сказала про вашу дочь, — это правда, я видела сама, и никто не заставит меня отказаться». Я смотрела на нее, полную материнской ненависти, потому что теперь она была совершенно права: я доносила на ее дочь. Не тогда, а *теперь*. «Ты — мелкая тварь, ты просто завидуешь Лене, потому что она — из другой семьи, из другой...» — она задохнулась, подбирая слово. Опережая губы, ее родной язык рвался на свободу: скверный язык, который был и *моим* — родным. Слова ее материнской ненависти ложились в мое сердце, потому что оно было *по ним* — было их родной колыбелью. Ему, а не Ф., я досталась с младенчества. Я смотрела на нее терпеливо, не давая закрыться глазам, но что-то, чему я не знала названия, хохотало во мне звериным хохотом скверного зала... Я смотрела, как моя мать поднимается и идет за нею. «Не бойся, я буду с тобой, я — покараю. При мне они не станут бить тебя», — сестра подошла и села рядом — на мою постель.

## Выстрел

Я — дурацкая деревянная кукла, которую несет между небом и землей — мальчики внизу, девчонки — за спиной. Я — пустая деревянная кукла, у меня деревянное лицо, поэтому я не помню удара. Я помню только руку, которая размахнулась: «Я запрещаю тебе, запрещаю ходить к *ней*, если я узнаю, что ты была *там!*..» Оно хохочет во мне звериным хохотом, пока я хватаю пальто и повязываюсь красным платком — поверх белого. Тупорылые автобусы несут меня среди ночи. Намерт-

во, до последнего вдоха, до белых мух я помню *их* уроки: мне нельзя — до утра. Надо прямо сейчас. Доехать и предупредить.

Она должна была удивиться, но она не удивилась. Ни позднему часу, ни больничному виду — в халате и белом платке. Я села на диван и начала, задыхаясь, как Ленкина мама. Пустые стены, стол, заправленный белой скатертью — как простыней в приемном покое. «Успокойся», — она берет меня за руку. Я больше не задыхаюсь: сижу и рассказываю по порядку, все, как было, *настоящими* словами, потому что она знает *их* язык. Она молчит, смотрит куда-то вдаль — выше ничейной полосы. Конечно, я плакала, пока бежала по холоду, бежала по узкой тропинке мимо дальних домов, в которых — люди, терла щеки шерстяными варежками — и битую, и небитую, и теперь, в ее приемном покое, они покрывались зудящей паршой. Не было моих сил сладить с руками: они тянулись чесать и чесать. Огонь горел в моих щеках, мало было одной руки, я вырвала вторую — из ее рук. Она сидела передо мной в белом больничном свете. Ее лицо было скорбным и чистым. «Завтра моя мама пойдет к Б.Г. и еще, — ногти соскребали со щек последние струпья, — она сказала, что запрещает мне ходить к вам».

Он добежал. Темный взрыв полыхнул в ее глазах, осветив меня тяжелым заревом. Не мать — я сама, по своей безоглядной, беспредельной любви выговорила ей *всю* правду, но на ее языке эта правда была оскорблением. Не мать — я сама вырвала мою руку из ее испытующей руки. «Я хочу остаться у вас, я никого не люблю, кроме вас...» — я кричала. Она подняла меня над огнем и, размахнувшись, кинула в пламя. «Тебе нельзя, — она смотрела в огонь с каким-то задумчивым сожалением. — Сейчас мы поедem вместе, я отвезу тебя сама, я объясню ей. Вставай», — она приказала, и я не посмела ослушаться. Что я могла сделать против ее решенного сожаления? Она вводила меня от себя, передать из рук в руки мате-

ри *чужого* ребенка. Белый больничный платок сполз на затылок. Я потянула его вперед, покрыла голову огненно-красным, как мои паршивые щеки, как Маринины мертвые губы. Врач, она выписывала меня в мир недолеченной. Ф. пошевелила огонь и распахнула дверь. Мы вышли из дома и пошли по тропинке. Мы шли как тогда, но теперь она шла рядом. Мои ноги не скользили. Тропинка была слишком узкой — вдвоем не поместиться. Я шла по темной полосе — по темно-сиреновой тени кустов, насаженных вдоль.

Мама открыла. Она смотрела на нас совершенно спокойно, словно после сегодняшней истории это была обязанность Ф. привести меня домой. Как будто Ф. была нянькой, которую она сама приставила ко мне и теперь собиралась выгнать, сменив милость на гнев. Ф. заговорила тихо и ласково: «Я привезла вам вашу девочку. Мне надо объяснить вам». Они сели по обе стороны — пустой стол, покрытый нарядной клеенкой — вазы с фруктами по темно-синему полю: яблоки, груши, виноград. Пустой сад. Ф. не приказывала мне, она взглянула, и я поднялась. Сестра спала. Она говорила тихо, я не смела прислушиваться.

Дверь открылась. Теперь, после их тихого разговора, лицо моей матери было растерянным. «Может быть, вы попьете компоту», — мама посмотрела на меня, как будто искала поддержки. Я бросилась к подоконнику за кастрюлей. Ф. не сказала ни да ни нет. Мама разливала по чашкам, зачерпывая со дна райские сухофрукты: яблоки, груши, изюм — высушенные и вываренные. Потом мама сказала, что теперь она знает, что ответить Борису Григорьевичу. Знает достойный ответ. Одеваясь в прихожей, Ф. сказала, будет лучше, если завтра мама не пустит меня в школу, она так и сказала: мне — не ходи, а ей — не пускайте, несколько дней. «Завтра не ходи», — сказала мама, как будто мне было мало слышанного. Я добралась до постели и уснула мертвым сном. Я уснула быстро, я не успела подумать: как же она одна, глубокой ночью?..

Следующим вечером телефон зазвонил в первый раз. Торжественная Барашкова выложила последние новости: Ленкина мать пришла домой, набросилась на Ленку, и Ленке пришлось выложить, что они курили, и мать всыпала ей по первое число и не пустила в школу, а вместо нее пришла сама и — прямиком к Б.Г., о чем они там, никто не знает, но Ленка позвонила Лариске, а Лариска — дальше, и многие решили с тобой не разговаривать. Тем более, после уроков пришел Б.Г. и сказал, что история заходит слишком далеко. Вовлекаются родители. Сказал, что посмотрел пьесу и *лично он* не видит в ней ничего ужасного, правда, там есть несколько реплик, которые он, сложись все по-другому, *посоветовал* бы исключить, убрать, не меняя сути, это — нормальная практика и во взрослых театрах... Я держала трубку и косилась на телефон, как будто это был телеграфный аппарат и из него — прямо в мои глаза — лезла узкая желтоватая ленточка. На ленточке были другие, не Ленкины слова. Тут, стрекотала Ленка, Федька страшно оживился и сказал, что, конечно, он готов убрать, ему и отец говорил, что — так всегда, просмотры перед премьерой. А Б.Г. сморщился, просто *ужасно*, и говорит: ситуация сложилась так, что *теперь* он принял решение — снять безоговорочно. Что касается всего остального, тут Ленка сказала, что это он, наверное, про курение, все вопросы решены, ни на каких оценках не отразится. А когда Б.Г. ушел, *это* и началось. Все кричали, что таких, как ты, надо убивать, и посмей ты явиться в школу, я это к тому, чтобы ты не приходила. А кстати, ты опять, что ли, воспаление?.. (Я молчала.) Между прочим, тут Ленка заговорила таинственным шепотом, я сама видела, потом, когда Б.Г. ушел в свой кабинет, Ф. пошла к нему и вышла *ужасно* бледная, а Б.Г. как выскочит за ней, как побежит рядом, а она ему так отвечает, вопрос решен, я слышала. «Ладно, все, завтра я приду». — «Приде-ешь?» — я слышала, что она *ужасно* обрадовалась. Я пришла. Английский был первым. Мы стояли под дверью. Все молчали, отво-

дя глаза. Ф. открыла, увидела меня и сказала: «Входите». Она дождалась, пока войдут, и закрыла дверь. Мы остались одни в коридоре. «Убирайся отсюда вон, чтобы я не видела тебя!» В ее глазах стояло дальнейшее негаснущее зарево. Я пошла. Дверь хлопнула, как выстрел. Теперь, когда прошло четверть века, я знаю, как он называется, этот выстрел, в мой деревянный затылок.

А потом телефон зазвонил во второй раз, и Ирка сказала: сегодня на английском был разговор. Ужасный. У Ф. было такое лицо! Сказала, что в нашей школе все происходит быстрее. Ну, в общем, те — позже, когда уходили, а мы — не успев уйти. Говорила долго, целый урок, Ирка сказала, все не запомнить, но главное, что-то такое, что вроде бы мы все — дело ее рук, а дело наших — то, где мы остались, Ирка помедлила — в помойке... Тут она стала о тебе... Ирка замолчала, дождалась, пока я спрошу. Я молчала. В общем, она предупреждает всех: если кто-нибудь, словом, взглядом или чем там еще у вас есть, посмеет на тебе вымещать, она обещает этому кому-нибудь, что найдет способ расправиться с ним, *«расправиться»*, вы запомнили это слово, можете сообщить его своим родителям, мне все равно». Ну вот, сказала Ирка, теперь можешь приходить.

А потом телефон зазвонил в третий раз, и Ирка рассказала, что Федя и Ленка пошли к Б.Г. и попросили взять их в его группу, а за ними увязалась Барашкова, потому что, так она сказала Ирке, в целом не одобряет методов Ф. А Б.Г. предложил им найти кого-нибудь из своей группы на замену, чтобы добровольно перешел к Ф., но никого не нашлось, потому что все давно знают, что у Ф. — другие требования, они в таких условиях никогда не жили. Но они все равно перешли, Б.Г. согласился, потому что Ф. пошла к нему сама и попросила. *Как-то* узнала, что они просят. Ну, сказала Ирка, теперь-то на оценках и отразится, тут-то они все и *заблещут*. Интересно, если они в последнем полугодии

получат пятерки, что им, и за год пятерки выведут? Да, кстати, в субботу — родительское собрание. Мама пошла. Вернувшись, она сказала: «Подходил Б.Г., спрашивал о твоём здоровье, а потом говорит, может быть, вы хотите поговорить со мной, может быть, у вас какие-то вопросы? Я ответила, у меня вопросов нет».

Я лежу, отвернувшись к стене. Стена: темные узоры золотом, тусклым, как меркнувшие волосы. Длинная рубашка обтекает ноги, пальцы длинные тянутся к щекам. Стена — больничное зеркало. Мне не отойти, не встать на стул. Теперь так и буду глядеться, любоваться вспухшими щеками, к которым тянутся мои руки — чесать. Коричневые пятна на подушке. Лента стрекочет, лезет толчками, прочная, как веревка — не разорвать. Голоса, голоса — страшнее, чем телефонная пустота. Я расчесываю и думаю, господи — это уже было. Кто-то, с кем *оно* расправилось. Господи, вот — я: теперь *оно со мной*. Я сделала это. Я сама выбрала его скверну, чтобы защитить ее. Нельзя кричать, крик ужаснет тех, кто спит. Вымой руки, надень ночное, нельзя быть таким бледным. Это их слова, это — они. Они снова пришли: страх и тоска, колотят в мои ворота — мой вечный детсадовский ад. Я поднимаю свечу... Окно закрыто, мальчики внизу, девочки за спиной. Задуваю желтое — мне больше не нужен свет.

## Сила и слава

В школу я пошла в понедельник. *Никто не посмел*. Может быть — между собой, но со мной — никто. Я попросила Костю, чтобы он пришел вечером. Сказала: я не люблю тебя. Он протянул руку. «Не смей!» *Он* не смеет касаться моих расчесанных щек. Такого, как он, я не полюблю никогда. Против всего мира. Я — не леди Анна. Я — не Настасья Филипповна. Я — урод. Мне не впервой.

Во вторник Ф. оставила нас с Костей — предупредила, завтра придет фотограф. Б.Г. попросил, в школе должны остаться наши фотографии. Она говорит равнодушно: «Сказал, что хочет сделать специальный театральный стенд, рядом с музеем боевой славы. Для будущих поколений». Слова Б.Г. она произнесла с такой силой, словно нас уже не было. Фотограф пришел днем, нас сняли с уроков и выделили пустой кабинет. Ф. пришла с нами, сидела в углу, не вмешиваясь. Фотограф сказал: «Начинаем», — и мы встали как на выход, потому что думали, будем играть, а он щелкать в нужных местах, как мы привыкли с иностранцами, но он сказал — не надо. «Вы просто выберите позы, наиболее, ну, выигрышные — ключевые сцены». Ф. пожала плечами, едва заметно, он не видел: «*Your beauty, so snazzy, bid me farewell\**», — она перечислила скороговоркой. Мы вставали, изображая одну за другой, застывали бессловесно. Она смотрела мимо нас, как будто теперь — безъязыкие — мы больше не были ее творением. Фотограф бормотал и щелкал: «Хорошо, хорошо, следующая». Потом поблагодарил и сказал, что принесет через пару дней, отдаст прямо в руки Б.Г. В пятницу Ф. принесла. Мы снова остались после урока, и Ф. принялась вытаскивать из конверта, все в двойном экземпляре: достанет, посмотрит внимательно, передаст нам. Фотографии шли по круту, как будто связывали нас в последний раз: четыре сцены, фотографии-близнецы. Я смотрела внимательно, но не так, как смотрят на фотокарточки: я не видела, как я вышла. Что-то другое, непохожее ни на Ричарда, ни на Анну, смотрело на меня с этих черно-белых картинок. Я смотрела на них так, как будто они уже висели на стенде нашей преданной славы, смотрела глазами других детей, которые придут за нами. Этим детям Б.Г. расскажет о нас. Он заговорит, перечисляя наши победы, и слова, которые он произнесет, заго-

---

\* ...твоя красота... скажи мне до свиданья... (англ.).

рятся огненными буквами на его классной доске. Он запомнит лучшее и забудет худшее, как будто примет нас за свою молодость и ушедшее счастье, как принимала Марина свою войну. А однажды, стараясь оттянуть опрос, они сумеют разговорить его, и он скажет, глухо и не вдаваясь в подробности: была одна сцена, не вполне подходящая для школьного театра, но, в сущности, все решилось миром, с теми детьми всегда можно было договориться.

Я все угадала, как мне было не угадать, ведь в тот миг я была первой из тех, новых детей, которые уже шли за нами. Я смотрела на нас чужими глазами, но видела больше, чем могли увидеть новые дети, потому что стояла посередине: я была переводчиком, о котором, применительно к своим предкам и потомкам, однажды заговорила Ирка. Мы все были переводчиками: мы знали язык, на котором еще не говорили наши предки и так и не заговорили наши потомки. Мы знали много слов, потому что стояли на вершине, на которую поднялись трудами Ф. и с которой начинался наш долгий путь вниз. Это только так говорят, что восходить тяжелее, а вниз летят как на крыльях, глотая годы...

Новые дети лжи не заподозрят: он сумеет дать им правильное объяснение на том языке, который станет их родным. Он найдет слова, которые станут *хорошим* объяснением: она ушла потому, что нашла новую школу поближе к дому, и они поверят *в это*, потому что идущие за нами — они будут сильнее нас. А потом он состарится, и, милостью Мапан, его оставят вести продленку у малышей, и тогда он возьмется делать *настоящий* музей нашего, давно прошедшего времени, и юные следопыты, которые никогда не переведутся в нашей школе, примутся собирать материалы. Они разошлют письма и, разослав, будут исподтишка смеяться и над ним, и над нами, как смеялись мы — всего лишь за одну *эпоху* до их смеха — над красной Марининой славой, которую она размазывала клоунской помадой по своим старым и страшным губам. Они будут



смеяться, как все дети, которым довелось родиться там, где смеются над мертвыми, над мертвой славой прошедшего времени. И царство, и сила, и слава... Гибнущее царство.

Уже через две недели Ф. сообщила Б.Г., что в этом году, по причине плохого самочувствия, она не сумеет подготовить полномасштабный День театра, но если кто-нибудь из учителей пожелает... Ни один из наших англичан не решился.

Я прихожу к ней изо дня в день. Как ни в чем не бывало она продолжает репетировать со мной этот — самый длинный — цикл, в пять сонетов. Мы работаем, не разговаривая о постороннем, каждый раз начиная заново, потому что *это* — совсем другое, труднее и важнее «Двенадцатой» с ее девицами-оборотнями и веселыми подменами. Снова и снова, как будто показывая, *что* можно успеть сделать и *после смерти*, она гонит меня назад, на вершину, как пастух, который на закате дня гонит свою скотину через перевал. Она стоит, глядя мимо меня своими сияющими глазами, как будто видит за перевалом новое стадо, выходящее ей навстречу из-за моей стертой, натруженной спины. Я осталась последней, последней уцелевшей перед ее глазами из всего вероломного выводка, который она все эти годы гнала и гнала перед собой. Теперь я знаю, почему она выбрала меня: ходом вещей, за который я уже вряд ли отвечала, я прошла ее вершину и теперь безудержно уходила вниз — в мою собственную, настоящую, обреченную жизнь. И все-таки я уходила медленнее, чем остальные, я ступала неровно, и она, может быть, чувствуя это, погнала меня назад. Нет, она не пыталась спасти и сохранить. Она уже не верила, не могла верить, что я удержусь на высоте. Она видела оседающее пламя, в котором я, не прошедшая испытания, догорала на ее глазах. Но она обещала Б.Г. новый цикл и, значит, должна была его подготовить, а самое главное, она знала, что на меня, уже охваченную пламенем, она может еще положиться. Тогда, в наши последние школьные месяцы, она полагалась на меня в особом смысле: на тот ко-

роткий промежуток времени я становилась единственным переводчиком между ее жизнью и жизнью настоящей. Покорная ее воле, я еще, один-единственный раз, могла взойти на вершину бессмертия, в которое она не верила. На короткий миг я могла устоять, но внутри меня уже бушевал вирус смерти. И об этом — о негибаемой воле смертоносного времени — я могла, глядя с ее высот, говорить и плакать не понаслышке. Я могла, а значит, и должна была говорить с *ними*, как смертельно больной со смертельно больными. Ей они больше не верили, *мне* — должны были поверить. Слова, которые она, слово за слово, вкладывала в мои уста напоследок, становились ее и моим свидетельством, потому что пустота, из которой она однажды возвратилась, теперь ожидала меня, ощериваясь пастью. Я слышала гул земли, на которой стоят ноги. Я горела во времени и, послушная ему, возвращалась с ее вершин на прожорливую землю, чтобы быть проглоченной землею — в свой черед. Я была последней и подходящей, потому что те, кто шел за мной, еще не умели считать часов и не знали, *как* ничтожны бывают события, играя которыми отвратительная ночь глотает храбрый день просвещения. Новое же, сладчайшее, еще не готовое и не проглоченное потомство, казалось, ждало явления Ф., чтобы начать свой первый храбрый день. Оно было моим потомством, потому что шло за мною, а я оставляла его; на их храбрость она и рассчитывала. Она было полна сил: кто как не она имел право рассчитывать на будущее. Им, готовым идти через перевал, она была погонщиком и свидетелем будущей славы. Я никогда не посмею спросить ее, задать ей этот вопрос: знала ли она, что конечное число выводков, идущих ей навстречу, уже отмерено? Думала ли, что однажды из-за стертых натруженных спин ее самого последнего — сладчайшего и вероломнейшего — выводка ей навстречу выйдут другие, на дневную храбрость которых она уже не сможет положиться? Я слышала в своей крови шевеление гордости жизни, я входила во Время, в котором все ста-

новится болезнью: молодость и любовь, удовольствие и радость, гордость и горечь, потому что все, что ни возьми, побеждает или проходит. Я еще не вошла в него, но *тогда* ко мне стоило прислушаться, потому что моими устами говорило *предсознание*. Оно было сильнее дневного разума, а разум — мой бедный, отчаявшийся лекарь — задумал оставить меня.

В марте у Б.Г. был юбилей — 50 лет. Мы написали поздравление, конечно, по-английски, шекспировским языком, с *thee* и *thou*\*. Костя с Сашей Решетиным приготовили такой ватманский лист, чтобы он выглядел как старинный манускрипт — они подмазали его толчеными грифелями и слегка обожгли края. Манускрипт был скручен в полую трубку и запечатан сургучом на плетеном шнурке. В день юбилея мы пригласили Б.Г. в рекреацию и зачитали приветствие, а потом вручили манускрипт. Б.Г. развернул и замолчал. Потом он заплакал. Сказал, что любит нас *всех* и никого из нас не забудет, и никого из будущих учеников не полюбит больше, чем нас. Нам было легко и радостно слушать его слова: на пороге расставания он говорил нам правду, и к этой сиюминутной правде с легкостью присоединились бы *все* наши учителя — все, кроме Ф. В той рекреации ее не было. Она не произнесла бы этих слов, потому что уже надеялась на тех, кто идет за нами. *Всех* она могла любить лишь на пороге встречи.

«Двенадцатую» мы показали в конце мая — на последнем звонке. Тогда же я в первый и последний раз прочитала им новый цикл. Это был совсем другой зал, не похожий на тот, который бывает в День театра. Этот был залом праздничного прощания. Родители дождались последнего дня. Они дождались десять лет, чтобы выхватить нас из учительских рук. Выросшие дети принадлежали им. Об этом говорили растерян-

---

\* *Thou* (*уст., поэт., библ.*) — ты. (Косвенный падеж — *thee.*) (*англ.*).

ные улыбки учителей и торжествующие — родителей. Родители восседали плотными рядами, и первый учительский ряд, в центре которого по традиции сидела Матап, казался полупрозрачным: сквозь несомкнутые учительские плечи заслуженным и долгожданным торжеством светились родительские улыбки. Под вспышки родительских фотоаппаратов мы отыграли «Двенадцатую». Родители, не понявшие ни слова, аплодировали от души. Я вышла одна и встала, дожидаясь вступления. Оно не начиналось долго, может быть, целую минуту. В последний раз я стояла на *ее* вершине. Гордость замерла в моей крови, горечь не разжимала моих губ. Не было никого пред моими глазами — ни детей, ни родителей. Бескрайняя пустыня будущей жизни лежала у подножия. Я повернула глаза вовнутрь, и тотчас же мои гордость и горечь сомкнулись, как две ладони в тишайшем смирении, — и звуком их единения вступила музыка. В тоске и печали, не смея обернуться туда, где оставалась она, я пошла вниз по каменистому склону, и все камни мира вонзились в мои босые ступни... Я сама выбрала его скверну. Было тихо, когда я замолчала. Я возвратилась и увидела Б.Г. Он сидел в первом ряду прямо передо мною. Он плакал беззвучно, не поднимая ладоней к глазам. Плакал, как та, давняя кружевная, приехавшая в чужую страну, чтобы услышать *свое*. Никто, кроме меня, не мог видеть его слез. Но я, которая могла видеть, смотрела мимо. Свидетели не плачут. Я была свидетелем: в тот самый миг Ф., сидевшая на своем обычном месте в углу, встала и пошла к двери. Я смотрела на нее и знала, что она уходит от меня навсегда. Что-то исказилось, нарушилось безвозвратно, сбилось как не бывало: не было голоса, говорившего во мне: «Ты будешь с нею всегда»... А потом, когда она вышла, я вернула глаза к его слезам, потому что в его слезах начиналась моя *собственная* жизнь, которую я еще надеялась прожить.

Даже теперь, когда наша с нею общая жизнь уже прошла, я не могу представить себе, что стало бы с нами, если б тогда

я бросилась за ней и, догнав — вскарабкавшись назад по каменистому склону, — умолила не бросать меня. Может быть, она и сжалилась бы надо мной, как делала всякий раз, когда я, не дожидаясь ее слова, сама отворачивалась, отрекалась, отступалась от всего, против чего сдвигались ее восточные брови. Почему же тогда, в мои семнадцать лет, я не смогла отвернуться от общего праздника? Его дальние искрометные огни, похожие на электрические огни Эльма, пощелкивали в долине, в которую шли мои ноги. Этот праздник обещал стать теплым, влажным от влюбленной теплоты, в нем было столько влекущей и ненадежной правды, что ее уход, которым она перерезала пуповину, показался мне незаслуженным и безжалостным — родила и оставила.

«Твой отец там?» — так я когда-то спрашивала Федьку, пережидая, пока остынут наши с ним общие колготки. Они были репетицией другого остывания. Тогда его отца не было в зале, в который мы глядели, припав к бархатной щели. Теперь мне не надо было припадать. Не разорванная завеса — тяжелый бархатный занавес, распахнутый на всю ширину — от земли до неба, — и в этой долине, призывно лежавшей у самой земли, дрожали веселые голоса наших родителей. Что бы я ответила, подойди он ко мне и спроси: «Твоя *мать* там?» Если бы она позволила мне умолить ее, она бы испортила все дело: она никогда не позволяла себе портить дел.

Мы начинали наш общий праздник. Родители расстарались: шампанское, торты из «Норда», лимонады... Мы пировали, танцевали и показывали праздничные программы. Каждый класс подготовил свою: куплеты из школьной жизни, которые мы распевали на мотив романса. А.Н. аккомпанировал на рояле. Куплетов было много, больше, чем я теперь могу припомнить. Господи, как же они смеялись! Я помню их лица, искаженные смехом, так же ясно, как помню свое сердце, искаженное гримасой веселья.

Ее я увидела еще один раз, на экзамене, когда она сидела в комиссии и с учительским равнодушием слушала наши пересказы. Мы *все* отвечали отлично. Ей было не за что волноваться: ее работа была сделана. Остальное зависело от нас. Дождавшись своей очереди, я поднялась и пошла к столу, где сидели они: Матап, Б.Г., А.Н. и она. Я отвечала машинально, почти наизусть, ни на секунду не задумываясь. Я переводила, едва Б.Г. успевал закончить предложение — синхронно, взлетая с языка на язык. Она смотрела на меня теплым взглядом, равнодушнее которого мне так и не довелось увидеть. После экзамена мы не виделись семь лет.

### Изрезанная луковка

Мы все *поступили*. Родители правильно сделали, в свое время определив нас в эту школу. Памятные слова Сергея Ивановича, которыми он предостерегал нас от экзаменационного легкомыслия, сбылись ровно наоборот. Ф. ушла из нашей школы, говорила, устроилась поближе, кажется, на взрослые курсы. Об этом я узнала краем. Помню свое удивление: неужели она ставит Шекспира со взрослыми? Я прикинула, два года, которые они учатся на этих курсах: в лучшем случае язык шестиклассников. О том, что они могут играть по-русски, я не подумала. Русский язык, опороченный нашей историей, отдавал позором, пеплом и прахом, который я не смела шевелить. Еще через несколько лет мы все помирились. Подробности давней школьной истории размывались временем, которое, для своей мимолетной выгоды, умеет быть милосердным. Мы успели обзавестись взрослой памятью, и она, по-своему играя обрывками школьных воспоминаний, представляла их по своему произволу, как детские кубики. Встречаясь, мы с удовольствием узнавали об успехах и сочувствовали неудачам. В те годы, до отказа заполненные личными

и профессиональными надеждами, которые и сбывались, и не сбывались, мы предпочитали не оглядываться на наш рухнувший мирок. Его обломки, лежавшие за нашими спинами, казались далеким — едва ли не чужим — воспоминанием. Однако стоило разговору вильнуть в *ту* сторону, и наши глаза отводились и опускались, как будто в запоздалом и тайном испуге — разбередить. Была еще одна, не так-то легко объяснимая странность: все мы — кто в большей степени, кто в меньшей — взирали на окруживший нас мир с высокомерием, словно по зрелому размышлению и трезвому расчету вступили с ним в некий договор, похожий на брачный, в который с нашей стороны вносилось благородное первородство — наш рухнувший мирок иудейской жестоковыйности и греческого просвещения. Со своей стороны мир — второй участник брачного договора — привносил простоватую, но соблазнительную жизненную силу, обладание которой мы надеялись обратить в свою пользу. Однако этот брак, если продолжить мое весьма приблизительное сравнение, время от времени обнаруживал свою шаткую основу: немногие из нас научились разговаривать с избранником на его языке. Я не хочу быть неверно понятой: если я и упомянула о том, что наши разговоры могли вильнуть в *ту* сторону, это не означает, что мы *обсуждали* ту историю. Для наших глаз, всегда готовых отвести и опуститься, довольно было и косвенного упоминания. Так отводятся глаза членов английского семейства, посвященных в давнюю, но смутную историю, касающуюся не то потери чести одной из старших дочерей, не то неблагоприятного поведения племянника.

Я отлично помню, зачем пришла к Барашковой: за учебниками. Я собиралась заняться частными уроками. По тем временам дело прибыльное, но рискованное — как раз подospel закон о частном предпринимательстве. Однако мне нужны были деньги на размен квартиры: к тому времени мы с А.Н. расстались. Учебников английского в открытой продаже не

было, но Ленка, сделавшая довольно быструю карьеру и ставшая к тому времени завучем английской школы, пообещала мне взять с десятка книжек в своей библиотеке. Свое обещание она выполнила, и вот теперь я сидела у нее в гостях и пила чай, с удовольствием косясь на пухлый сверток. Ленке я была благодарна. Разговор вращался вокруг училок, находившихся в Ленкином подчинении. «Это что-то ужасное, — жаловалась Ленка, найдя в моем лице понимающего слушателя, — объясняю, объясняю — ни в одном глазу», — Ленка заговорила по-английски, приводя примеры учительской необразованности. Я слушала язык, состоявший из известных мне слов и выражений, но с некоторым трудом улавливала общий смысл. Он проседал под тяжестью ее голоса. Сказанное ею хотелось выдохнуть. Грешным делом я посочувствовала училкам. «Ты устраиваешь своим теткам контрольные уроки?» — я спросила по-русски. «Директриса требует: после меня приходят районские методисты, — Ленка ответила, и здесь мы обе опустили глаза. — Да, кстати, — Ленка помедлила, — ты знаешь, Ф. преподает в школе — где-то у Техноложки». Она вышла далеко за рамки и теперь замолчала. Я вздохнула, перемогая духоту. Духота Ленкиного языка не отпускала меня. «В какой? Ты знаешь номер?» — я спросила и, услышав свой голос, подивилась его спокойствию. Ленка задумалась, прикидывая. Мой слух, испытанный семью годами одиночества, терзало Ленкино бормотание. Она перебирала номера школ, словно подыскивала свободное место, как будто я — неудачница, пришла к ней по старой памяти и она, облеченная житейской властью, искренне стремилась помочь мне — пристроить. «Нет, на какой-то Красноармейской, я могу посмотреть завтра, по общему списку...» — «Не надо», — события последних лет: развод, необходимость обмена, английские группы — обретали смысл. Они вставали в правильный ряд. Я засмеялась легкости задачи: найти одну из десятка-другого улиц. «Ты что же, так и не виделась



с нею — все эти годы?» — Ленка приняла мой смех за разрешение продолжить. Я поблагодарила за учебники и поднялась.

Прочесывая Красноармейские квартал за кварталом, я придирчиво осматривала фасады, словно рассчитывала найти нечто, похожее на нашу школу — беловатый фасад, трехстворчатые окна, бетонный козырек над крыльцом. Ничего похожего. Я уже отмела две, на которых стояли неведомые мне номера, но не было и следа надписи о преподавании ряда предметов, когда, мельком оглядев старый бугорчатый фасад, украшенный каменными вензелями, наткнулась на искомое. Доска, висящая справа от высокой входной двери, во всем походила на нашу. И только надпись, совпадавшая дословно, отличалась цифрой — этот номер был во второй сотне. Я оглянулась, толкнула высокую дверь и вошла. Длинная лестница, ведущая на второй этаж, была замкнута узкими стенами, над которыми нависал потолок. Я поднималась, медленно и осторожно дыша, словно в любой миг меня могли застать и выгнать. Вестибюль оказался маленьким и темноватым. В углу, под желтым кругом горящей настольной лампы, сидела нянечка. Я подошла и, сглотнув, произнесла имя и отчество. Желтоватый круг светился потерянной свечной желтизной. Она еще могла сказать: «Такой нету, — но, взглянув равнодушно, дневная нянечка приняла меня за родительницу и назвала номер кабинета. — На втором, идите, подождите там. Звонка еще не было, минут через десять». Дойдя, я встала в простенок напротив.

Отсюда, из моего простенка, я видела массивную дверь, увенчанную застекленным окошком. Детские урочные голоса едва просачивались сквозь дверные щели. Я различала монотонные интонации вечного пересказа. Ее голоса я не слышала: может быть, она не вступала. Положившись на нянечку, я ждала терпеливо. Он грянул над моим ухом и, вскинувшись, я разглядела: металлический куполок, внутри которого билось звончое жало. Замолкло. Детские голоса поднялись

за дверь, она распахнулась, и стайка шестиклассников, высыпающих мне навстречу, побежала к лестнице. На бегу они оглядывали меня с мимолетным интересом, принимая за чужую родительницу. В этой школе с родителями не здоровались. Я стояла, не двигаясь. Коридор опустел. Мои глаза, прикованные к двери, теряли надежду. Нянька перепутала, дневная нянька, глухая дура. Дверь открылась сама. Ф. шагнула в коридор. В руке она держала ключи. Ее лицо было бледным и усталым. Глаза скользнули по стене и, дойдя до простенка, остановились. Вежливое удивление, проступившее в ее лице, вжало меня в стену. Молча она отступила в сторону и распахнула дверь, приглашая.

«Как ты поживаешь?» — она спросила обреченно, едва мы сели. Институты, семьи, дети — она готовилась выслушать весь старческий набор. «Мне сказала Барашкова, что вы — здесь». — «Ты хорошо выглядишь», — она отозвалась благодарно, понимая, что избавлена. «Вы не взяли сумку, вы шли в столовую?» Она посмотрела на меня внимательно и кивнула: «Да, через двадцать минут репетиция, — она взглянула на часы. — Уже через пятнадцать». У нее не было секретаря, чтобы сообщить мне об окончании аудиенции. Что-то холодноватое проступило в ее глазах: сейчас я должна была спросить о том, что она репетирует, и тогда, вежливо ответив на мой вопрос, она смогла бы встать и распрощаться. «Если я узнаю, что ты пришла на репетицию голодная, я отстраню тебя», я вспомнила, так она ответила на заботу моей матери. На заботу обо мне. В этой школе родительницей была я. «Вы уже не успеете поесть, это из-за меня. Я пришла без предупреждения. Вот, — я открыла сумку и вынула пирожок, — только он с луком, я купила у метро». Она протянула руку. Я видела, как она дрогнула, ее протянутая рука. Лампы дневного света сложили крылья под потолком. Окна, затянутые желтоватыми шторами, были узкими и высокими, совсем не похожими на наши. Она взяла пирожок и, развернув, надку-

сила. Я сидела перед ней молча, словно высохшая, пустая оболочка: кусочек сухого теста без начинки. «Почему ты не приходила?» — она спросила другим голосом, как будто только теперь, когда я возвратилась оттуда, где нельзя оставаться, она увидела меня. Я молчала. Мы обе знали ответ, мне не надо было отвечать. «Я пришла спросить разрешения прийти». Она кивнула, понимая. «Если бы я пришла к вам домой, вам было бы неудобно выгнать меня сразу, а здесь», — я улыбнулась слабо, как улыбаются после болезни. «Я бы не выгнала тебя», — она сказала неуверенно. «Можно я приду?» — «Да, — она ответила собранно и деловито и снова взглянула на часы. — Дня через два, на той неделе, я сама позвоню тебе, мне только что поставили телефон, но еще не дали номера, и ты придешь, оставь мне свой». Я написала на клочке, поднялась и вышла.

Мне позвонили через неделю, когда я уже отчаялась дожидаться. Простоватый женский голос окликнул меня по имени и представился ее соседкой. «Вот, звоню из автомата, — голос был обиженным. Я еще не успела ни удивиться, ни испугаться. — Она дала номер, никого нет, и я-то зашла случайно, дверь была открыта, «скорая» оставила, они ушли и не заперли, а она не смогла встать, так и лежала с открытой дверью...» — «Где лежала?..» — «На кровати, как они оставили, сделали уколы и уехали, им-то что, а потом она — без сознания, я-то пришла случайно, вижу, дверь открыта, а на столе — бумажка, номер, я взяла и говорю: «Позвонить?», а она говорит, не надо, а потом говорит, позвоните, говорит, она сама пришла, а потом говорит, идите, звоните, только не отсюда...» — «Я сейчас, я только в магазин, за едой, покормить, а что можно?» — «Сама, что ли, не знаешь? Рóстишь детей, рóстишь, а потом их — ни сном ни духом, — соседи звонят-вызванивают, я и не знала, что у нее есть, тьфу». Она бросила трубку.

Я приехала быстро. Дверь была не закрыта. Соседка, сделавшая свои выводы, верно рассудила, что у меня, при таком

раскладе, может и не быть ключа. Я вошла, заперла входную и, сунув сумку в угол, приблизилась к ее двери. «Не входи сюда. — Я услышала ее тишайший, совершенно беспомощный голос. — Я не хочу, чтобы ты видела меня — так». — «Я принесла, сейчас, я приготовлю, чтобы вы съели...» Она молчала. Я ждала, припадая к дверной щели. «Булки, кусочек». Я кивнула, забыв о том, что она не может видеть меня. На кухне я быстро поставила чайник, вынула продукты и, оглядевшись, нашла кастрюлю для бульона. Чайник закипел скоро. Я заварила, отрезала булки, положила кусочек масла на блюдец. Подойдя к двери, я постучалась. «Нет, — она сказала непреклонно, — оставь все на кухне». — «Я могу просто приоткрыть и подать...» — «Нет», — она оставалась непреклонной. «Я не буду смотреть на вас, я войду и поставлю, я не подниму глаз». Она молчала. Я приоткрыла дверь осторожно. Опустив глаза, словно жрец, чей единственный взгляд — неосторожный и дерзкий — карается смертью, я медленно подошла и поставила. *Но пока из Парижа попов привезешь...* — оно всплывало само собой, вертелось на губах, я повторяла и повторяла, пока пятилась к двери, не поднимая глаз. Белое пятно кровати. Мои глаза, закрытые капюшоном францисканца, самозванный монах. Уже из коридора, снова припав к щели, я сказала, что поставила варить бульон и дождусь, пока он... «Хорошо, — она соглашалась покорно, — возьми табуретку и сядь там, чтобы я могла слышать тебя». Чашка стукнула едва слышно. Я сидела, трудно сглатывая слюну, как будто кусочек булки, положенный к ее кровати, не лез в мое горло, и теперь, сглатывая, я помогала ей проглотить. «Твой пирожок был вкусный, на репетиции я благоухала луком, — она пошутила из последних сил. — Я упала в тот же день, когда ты... Пришла после репетиции... домой... и упала. Доползла до кровати, вызвала по телефону. Они включили. Приехали, уколы, а потом — не помню... Потом они исчезли. Я все время видела тебя, твои волосы развевались, как в Ричарде...

Последнее, что видела, умирая...» Она лежала одна в сцене своей смерти: «A hourse, a hourse! A kingdom for a hourse!» Меня не было. Если бы они заперли дверь, если бы не соседка... «Вы не умрете», — я сказала тихо, боясь потревожить ее даже судорогой в моем жалком горле. Она не ела неделю. «Нет, конечно, не умру, особенно если ты будешь кормить меня пирожками...» Что-то размягчалось во мне, наполнялось, как будто я действительно была кусочком сухого теста, а она, беспомощно лежавшая на кровати, могла наполнить меня, начинить маленькой изрезанной луковкой, способной спасти от смерти. «Господи, — я подумала, — Господи, я пришла в школу, нашла, в тот самый день...» — «Ты пришла в тот самый день, — ее голос шелестел, теплея, — твой пирожок — последнее, что я...» Тело возвращалось ко мне — мое отброшенное тело. Я шевельнулась на табурете. «Возьми ключ и иди, я потом встану и выключу сама. Иди». Я не посмела остаться.

По-настоящему она больше не встала. Инсульт, который она пережила одна, сказался на вестибулярном аппарате. Еще некоторое время после она надеялась вернуться к работе, администрация новой школы ждала ее терпеливо, приходили новые ученики: первое время она не пускала их дальше порога. Потом, превозмогая поднимавшуюся тошноту, она делала попытки спускаться по лестнице на прогулку. Я водила врачей, утешая их чем могла. Однажды, решив, что была — не была, мы ездили на прием к знаменитому экстрасенсу, которого мне не удалось заполучить на дом. Попытка ничем не кончилась: выяснилось, что Ф. не поддается гипнозу. Потом пришел черед мануального терапевта, который оказался довольно вульгарным субъектом, похожим на тренера: он сулил полное выздоровление и, похихатывая, обещал найти ей старичка-женишка. Она терпела. Потом мы добрались до института Поленова, в котором по тем временам был единственный в городе сканер, способный снимать токи головного мозга и находить поврежденные участки. В этот институт стояла по-

луговая очередь, но мне, вломившейся в кабинет заведующего отделением, хватило получаса проникновенного разговора, чтобы доктор, извиняясь за то, что не может положить ее прямо сейчас: «Пожалуйста, простите, но сегодня просто нет, нет ни одного места», — взял ее на отделение назавтра и, сделав необходимый электронный анализ, поставил диагноз. Через неделю, когда я пришла к нему на разговор, он долго показывал мне снимки и диаграммы, объясняя, что пораженный участок головного мозга — мелкий сосуд под черепом в затылочной части — в принципе, можно прооперировать, но вероятность благоприятного исхода не превышает 50 процентов, а остальные 50 приходятся на перспективу растительного существования, поскольку рядом, в непосредственной близости, находятся какие-то особые центры, которые можно повредить. Опустив глаза, он объяснял, что все дело во времени, безнадежно упущенном, вот если тогда бы, сразу, в течение двух-трех часов — сюда, к нему и под капельницу... Надеясь подкупить упущенное время, я сулила ему большие деньги, приняв сказанное за намек, и он, совершенно искренне расстроившись, спрашивал меня: «Ну почему, почему *вы* считаете меня уродом, способным вымогать деньги в *этом* случае? Если бы я мог, я сделал бы все, поверьте, то, что вы рассказали мне... Пойдемте», — он показал мне молодую женщину в соседней с нею палате, которая после операции не узнавала своих детей. Я передала Ф. разговор, рассказала о неузнающей, и, коротко обсудив, мы отказались от операции. Не покладая рук мы делали попытку за попыткой, и каждая заканчивалась ничем. Иногда ей становилось лучше: стирались синеватые тени под глазами, щеки становились бледно-розовыми, очищались обметанные губы. Тогда она могла принимать гостей, по-прежнему стремившихся к ней в дом со всех концов. Эти гостевания, как правило, заканчивались ухудшением, ей становилось худо прямо на их глазах, но они, обманутые ее ровным голосом, так и не дога-

дывались об этом. Иногда — хуже. Тогда она не могла никого видеть, кроме меня, да и на меня-то смотрела с трудом. В такие времена я сидела на скамеечке у ее постели.

Мир, для меня сократившийся до пределов ее комнаты, стремительно расширялся, однако ощущение неотвратимости надвигающегося, которое сопровождало мою юность на протяжении последних лет нашей школьной жизни, не отпускало меня. Конечно, в первую очередь это разраставшееся и крепнущее ощущение было следствием ее болезни, хотя временами, когда ей становилось лучше, я еще надеялась на спасение. Легкомысленная надежда на выздоровление, которую я, сидя у ее кровати, не могла побороть, давала мне силы. Я верила в ее победительность, и эта вера, с годами не слабевшая, позволяла мне шутить и смеяться, смешить ее и ухаживать за нею. Время от времени, как будто приоткрывая наш бархатный занавес на узкую щелку, мы смотрели наружу, словно тайком следили за новыми сценами, которые ставило *настоящее время* на своем Дне театра. Восточная деспотия, к жизни в которой она, может быть, не вполне осознавая это, готовила нас, стремительно уходила в прошлое. Империя рушилась. Под волнами временного прибоя, как песчаные берега, размывались ее границы. На наших глазах кончался СССР — огромный и бесталанный Крошка Цахес. Уходили феи, десятилетиями расчесывавшие его волосы. Нечесанные, неприбранные пряди падали на его широкий лоб. Иностранцы, долгие годы глядевшие на дела их — фрейлинских — рук, больше не приходили в восхищение. Однако одновременно с гибелью Империи заканчивался и наш мир, наша новая эпоха Просвещения, маленьким островком которой был школьный, навсегда ушедший в прошлое мирок. Ее болезнь совпала с этим временем. Неприглядные черты настоящего, наступление которых она когда-то сдерживала одним своим присутствием, беспрепятственно перешагивали через *все* пороги, до неузнаваемости меняя людские голоса. Время от времени слушая

речи, лившиеся из радиоприемника, она мучилась одномерностью голосов, называя их *plane*\*. Эти голоса, словно никогда не имевшие корней или вырванные с корнем, звучали так, как будто у них не было прошлого. С ними она не желала разговаривать. «*Эти*, — она говорила слабым голосом, опираясь на подушку, — *не станут отапливать улицу*». И все-таки, может быть, по своей всегдашней выучке, она к ним прислушивалась, и лицо ее, измученное годами боли, в такие минуты становилось острым и отстраненным. В ее глазах вставала черная зияющая пустота, словно она видела: из-за плоских голосов, как жесткая пена со дна купели, поднимаются другие. До их нерастворимой, выпадающей кристаллами бесовщины она не дожила. Слабость болезни не позволяла ей бороться со скверной наступавшего мира, первые следы которой мы принесли в ее чистый дом на своих ногах. Ее сил хватало лишь на то, чтобы с той же жесткостью, с какой она прежде изгоняла оскверненных, отворачиваться от скверного мира — изгонять себя. «Если он желает свободы, пусть обеспечивает ее сам, за свой счет». Свою свободу она всегда обеспечивала сама.

Иногда я думаю о том, что мог же найтись кто-то, родившийся на просторах гибнущей Империи, кто мог попробовать и без нее. Тогда, в нашем давнем прошлом, когда она была еще очень близко, стояла рядом, на страже, об этом думал Б.Г., пытаясь спасти День театра, однако никто из наших англичан так и не посмел. Теперь-то я знаю: *то* время безнадежно упущено.

Жизнь моих одноклассников складывалась по-разному, так, как и должны складываться людские жизни. Злоба дня захлестывала всех одинаково, однако — и это я знаю доподлинно — у многих из нас хватило сил ей сопротивляться. Под требовательными глазами нашей учительницы мы прошли

---

\* Плоскими (англ.).



выучку, теперь я сказала бы, монастырской жизни. Оказалось, что противоядие, которое она, готовя нас к жизни в огромной и жестокой Империи, протягивала на кончике кинжала или шпаги, в некоторых случаях действует и после распада. Мы узнали язык, которого не знали наши родители и вряд ли будут знать дети, а значит, никто не потребует от нас переводческих услуг. Однако нашим потомкам, которые в своем мире справятся и без нас, никто не даст противоядия. Они войдут в большое время беззащитными. Иногда я думаю о том, что все мы, прошедшие через ее руки, и вправду были крошками Цахес. В конце концов — и от этого никуда не денешься — нас хвалили за то, что не было делом наших рук. Теперь мы стареем: у моих одноклассников семьи и дети, и никто из нас не играет Шекспира. Однако что-то, чему я не знаю названия, осталось — то, что не застит наши глаза. Добро и зло, вытянутые из нас ее руками, осталось *нашим* добром и злом. Редкие из нас подчинились *другому*. Впрочем, об этом судить не мне. «Ты — добрая», — так она говорила мне, чуть-чуть насмехаясь.

Она умерла через десять лет. Ее родительница — смерть дождалась своего часа, чтобы вырвать ее из моих рук. Десять лет болезни вместили множество событий — время, живущее за пределами ее квартиры, шло своим чередом. Мир менялся, иногда в лучшую, чаще в худшую сторону, однако эти изменения шли как бы не на наших глазах. Наш мир, в котором мы с нею жили после ее, она говорила — смерти, был наполнен другими заботами, меньшая часть которых приходилась на естественные тяготы болезни, а большая — на наши с нею разговоры, расцветавшие год от года. Она сделала так, как хотела, — создала свой мир, независимый от времени, который мог бы быть совершенным, если бы не ее неизлечимая болезнь. Замкнутый в пространстве ее комнаты, он время от времени размыкался телевизионным экраном. Она наблюдала за внешней жизнью и делилась своими наблюдениями со

мной. Эти наблюдения отличались жесткостью и провидческой силой формулировок, в верности которых мне ни разу не пришлось усомниться. Однако чаще мы разговаривали о том, что нам всегда было ближе, и эти англо-русские разговоры частенько уводили нас в выси и дали, из которых мы возвращались с трудом и неохотой. Наши глаза были прикованы друг к другу, мы глядели друг на друга, приноравливаясь к будущей наболевшей пустоте.

То, что я больше не могу отвечать ей по-английски, выяснилось очень скоро. Сначала, занятая делами ее болезни, я не обращала на это внимания, может быть, втайне надеясь, что все изменится. Потом я пеняла на свое русское горло, неспособное отрешиться от семи лет прошедшей вдали от нее жизни. Потом я смирилась с этим, как смиряются с безнадежно упущенным временем. *Те, кто достойней, Боже, Боже, да узрят царствие Твое.*

Я дошла до конца. Со смирением, единственно оставшимся на мою долю, я исписала страницы и страницы. Те, кому доведется прочесть написанное, могут думать, что мы, *moral and physical wrecks\**, почили на обломках нашего мирка, как на лаврах. Я знаю вас, я узнаю вас с одного взгляда, меня не обманешь. Вам, называющим любовь рабством, а рабство — любовью, нет и никогда не будет доступа в ее — совершенный и обреченный — мир.

---

\* Моральные и физические обломки (англ.).

## СОДЕРЖАНИЕ

Время женщины .....	5
Крошки Цахес .....	193

*Литературно-художественное издание*

**Чижова Елена Семеновна**

**ВРЕМЯ ЖЕНЩИН**

**Романы**

*Заведующая редакцией Е.Д.Шубина*

*Младший редактор Т.С.Королева*

*Технический редактор Т.П.Тимошина*

*Корректоры И.Н.Волохова, О.Л.Вьюнник*

*Компьютерная верстка Н.Н.Пуненковой*

ООО «Издательство Астрель»

129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»

141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96

Электронные адреса:

[www.ast.ru](http://www.ast.ru)

E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)

Издано при участии ООО «Харвест».

ЛИ № 02330/0494377 от 16.03.2009.

Республика Беларусь, 220013, Минск, ул. Кульман,

д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

E-mail редакции: [harvest@anitex.by](mailto:harvest@anitex.by) ✓

ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».

ЛП № 02330/0150496 от 11.03.2009.

Республика Беларусь, 220600, Минск, ул. Красная, 23.

Издательская группа АСТ представляет

Алла Боссарт  
**ЛЮБОВНЫЙ БРЕД**



Истории, рассказанные Аллой Боссарт в этой книге, – криминальные, коммунальные, инфернальные – о любви как роде недуга, который поражает всех: молодых и старых, красавиц и инвалидов, бомжей и олигархов, священников и мелких бесов...

«Вся книга – именно любовный бред с невозможностью очнуться; а дочитаешь до конца и лишь тогда поймешь, что неотступно влекли тебя по тексту не перипетии и повороты сюжетов, а мастерство рассказчика, прозаика Аллы Боссарт».

*Дина Рубина*

«Боссарт пишет прозу, лишенную не только вторичных, но и первичных половых признаков – с обеих сторон сразу. Пишет так, что любой мужик позавидует – правильно, от плеча, вкладывая весь вес тела, как учили нас драться старые товарищи».

*Александр Кабаков*



**Елена Чижова** – коренная петербурженка, автор пяти романов. Питерская тема определяет и психологию, и характеры ее героев. Точнее – героинь, ибо Чижова отдает предпочтение женским характерам, женским судьбам. Два ее романа «Лавра» и «Преступница» вошли в шорт-лист премии «РУССКИЙ БУКЕР», «Время женщин» был удостоен этой престижнейшей из наград.

Судьба главной героини – жесткий парафраз на тему народного фильма «Москва слезам не верит». Тихую лимитчицу Антонину соблазняет питерский «стиляга», она рождает дочь и вскоре умирает, доверив девочку трем старухам «из бывших», соседкам по коммунальной квартире – Ариадне, Гликерии и Евдокии. О них, о той жизни – хрупкой, ушедшей, но удивительно настоящей – и ведет рассказ выросшая девочка, художница...

*«Время женщин» замыкает собой всю трагическую «дочернюю» тему XX века, прогоняя перед глазами читателя целую вереницу сирот – от Таньки Безочередовой из пастернаковского «Доктора Живаго» до Веры Щегловой из романа Дины Рубиной.*

**Елена Погорелая**

*Я не плаксив, но какая-то спазма в горле появилась при чтении этой книги. Давно забытое чувство.*

**Сергей Гандлевский**

ISBN 978-5-17-065697-4



9 785170 656974

[www.elkniga.ru](http://www.elkniga.ru)